ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

Вл. ВОЙТИНСКИЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИН
1924

Вл. ВОЙТИНСКИЙ

ГОДЫ ПОБЕД И ПОРАЖЕНИЙ

КНИГА ВТОРАЯ

НА УЩЕРБЕ РЕВОЛЮЦИИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕ[illegible]
БЕРЛИН
1924

— Могут услышать . . .

— А мне что? Наплевать! Вы бы послушали, что у нас, в окопах, говорят. Иной офицер все до слова слышит, а нам все равно. Пускай попробует донести! Первая пуля ему!

Сечкин был настолько возбужден, что у меня шевельнулась мысль, не пьян ли он.

Свернул с ним в боковую тихую улицу, стал расспрашивать его подробнее о настроениях на фронте. Не мог узнать сдержанного, осторожного рабочего-меньшевика, так все кипело теперь в нем.

Он говорил об измене командного состава, о царе, о царицах, об ужасах артиллерийского огня, об убитых и изувеченных и все повторял:

— Скоро конец! Солдаты у нас прямо говорят, — если к весне мира не будет, на Петроград пойдем . . .

Вечером я рассказал товарищам о своей встрече с Сечкиным, передал его слова о фронтовых настроениях. Товарищи слушали недоверчиво, — казалось неправдоподобным, чтобы подобные настроения были широко распространены в армии.

Может быть, случайно попался такой полк, такой участок фронта? . .

Но если существуют такие участки, такие полки, то не означает ли это, что близок 12-ый час революции?

Уже давно живя в смутном, тревожном ожидании чего то, в близость революции мы все же не верили, как не верил в близость ее никто в России.

Незаметно поднялся прибой, незаметно сгустились в небе грозные тучи. Уже грохотали вдали раскаты грома, уже пенились волны в потрясенном войной народном море, а буря, неизбежная, долго жданная буря все еще казалась далекой . . .

Берлин

Ноябрь 1922 г. — март 1923 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

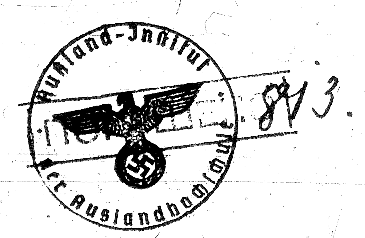
Замеченные опечатки:

Стр. 61, после 9 строки выпала строка: вызывая нароставшее с каждым днем раздражение против

Стр. 121, 8 строка сверху напечатано привлекли, следует читать привлекла.

Стр. 143, 5 строка снизу напечатано Октяббристы, следует читать Октябристы.

Стр. 211, 23 строка сверху напечатано знал, следует читать узнал.



Набор типографии Г. Гольдберга

Печатано у Гемпеля и Ко., общ. с огр. отв., Берлин

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В СТРОЮ

1906—1907 гг.

После разгрома революционного движения 1905 года Россия стояла на перекрестке двух исторических путей. Манифест 17 октября и положение о Государственной Думе напоминали о происшедшем историческом сдвиге. Но еще не выяснилась глубина этого сдвига, и потому загадочным представлялось будущее России.

Суждено ли ей было мирным, эволюционным путем изжить те вопросы, которые вызвали потрясения 1905 года? Или эти вопросы должны были остаться неразрешенными, обостряясь все больше и больше, — до нового взрыва, до новой катастрофы, более грозной, более разрушительной, чем только что пережитая страной?

Силы, от действия которых зависело решение этих вопросов, столкнулись вокруг Государственной Думы.

Первая Дума — «Дума Народного Гнева», под гегемонией к.-д. партии.

Вторая Дума — с ее блестящей с.-д. фракцией.

И за нею — третье-июньская Дума Столыпина.

Таковы главные вехи пути, пройденного Россией за 1906—1907 г.г., за годы, утвердившие в стране господство беспросветной реакции и направившие к пропасти колесницу царизма.

Революционная история этих двух лет, с первого взгляда кажущихся такими тусклыми на фоне охваченного заревом, прорезываемого молниями неба 1905 года, история этих двух лет полна глубокого внутреннего драматизма. В настоящей части моих воспоминаний я хочу отметить сохранившиеся в моей памяти черты событий этого переходного времени.

Эти два года я работал в петербургской с.-д. организации. Я пережил непосредственно то, что переживала за это время с.-д. партия, наблюдал изблизи настроения рабочей массы, и был значительно менее осведомлен о делах других партий, о настроениях других общественных слоев.

Отсюда односторонность материалов, которые сохранились в моей памяти. Отсюда и другая особенность моего рассказа: о событиях общенационального значения и размаха мне придется говорить так, как они преломлялись в сознании людей, в кругу которых я вращался и с которыми делил не только горе и радость борьбы, но и навыки мышления.

I. БОЙКОТ

Первые впечатления после тюрьмы. — Реакция. — Общественные настроения. — Союз приказчиков, Центральное Бюро профессиональных союзов и Совет Безработных. — В петербургской организации Р.С.-Д.Р.П. — Доклад Н. Ленина о выборах в Государственную Думу. — Точка зрения меньшевиков. — Конференция петербургской организации. — Предвыборная кампания в городской курии. — Рабочие и крестьяне перед выборами. — Выборы. — Перед партийным с'ездом. — Конференция ремесленного района. — В части. — Стокгольмский с'езд.

На другой день после освобождения из Крестов*), я отправился в Университет.

В аудиториях шли лекции. По коридору бродили группы студентов. В канцелярии царила деловая суетня. Казалось, краткая буря пронеслась над старым, видавшим виды зданием двенадцати коллегий, — и умчалась вдаль, не оставив по себе следа.

Меня обступили, поздравляли с освобождением, расспрашивали о тюрьме. Я отвечал, что превосходно отдохнул и поправился в заключении, что в одиночке мне не было скучно, и что, вообще, чувствую я себя, как нельзя лучше.

Товарищи недоверчиво смеялись, — им казалось, что тюрьма должна быть страшнее.

В свою очередь, я принялся расспрашивать о том, что произошло на воле за последние два месяца. В ответ сыпалось:

*) Я был арестован с Петербургским Советом Рабочих Депутатов 3 декабря 1905 г. и вышел на волю в конце января 1906 г. См. «1905-ый год».

Эти два года я работал в петербургской с.-д. организации. Я пережил непосредственно то, что переживала за это время с.-д. партия, наблюдал изблизи настроения рабочей массы, и был значительно менее осведомлен о делах других партий, о настроениях других общественных слоев.

Отсюда односторонность материалов, которые сохранились в моей памяти. Отсюда и другая особенность моего рассказа: о событиях общенационального значения и размаха мне придется говорить так, как они преломлялись в сознании людей, в кругу которых я вращался и с которыми делил не только горе и радость борьбы, но и навыки мышления.

I. БОЙКОТ

Первые впечатления после тюрьмы. — Реакция. — Общественные настроения. — Союз приказчиков, Центральное Бюро профессиональных союзов и Совет Безработных. — В петербургской организации Р.С.-Д.Р.П. — Доклад Н. Ленина о выборах в Государственную Думу. — Точка зрения меньшевиков. — Конференция петербургской организации. — Предвыборная кампания в городской курии. — Рабочие и крестьяне перед выборами. — Выборы. — Перед партийным с'ездом. — Конференция ремесленного района. — В части. — Стокгольмский с'езд.

На другой день после освобождения из Крестов*), я отправился в Университет.

В аудиториях шли лекции. По коридору бродили группы студентов. В канцелярии царила деловая суетня. Казалось, краткая буря пронеслась над старым, видавшим виды зданием двенадцати коллегий, — и умчалась вдаль, не оставив по себе следа.

Меня обступили, поздравляли с освобождением, расспрашивали о тюрьме. Я отвечал, что превосходно отдохнул и поправился в заключении, что в одиночке мне не было скучно, и что, вообще, чувствую я себя, как нельзя лучше.

Товарищи недоверчиво смеялись, — им казалось, что тюрьма должна быть страшнее.

В свою очередь, я принялся расспрашивать о том, что произошло на воле за последние два месяца. В ответ сыпалось:

*) Я был арестован с Петербургским Советом Рабочих Депутатов 3 декабря 1905 г. и вышел на волю в конце января 1906 г. См. «1905-ый год».

— В Москве сколько народу погибло! . .
— А на железных дорогах. . .
— А в Прибалтийском крае. . .

Эти сообщения как-то отскакивали от моего сознания. Отчетливо воспринял я лишь общее настроение товарищей, — настроение подавленности, уныния.

Совет Старост действовал в прежнем составе. Энгель, Виленкин, Крыленко, — все продолжали старостинствовать. Но как непохожа была их работа на нашу деятельность в революционные дни! На первом плане стояла теперь студенческая столовая. Товарищи об'яснили мне, что доверие студенческой массы к левым партиям будет зависеть от того, насколько успешно справится нынешний состав Совета со своими деловыми задачами.

Просили и меня приняться за исполнение старостинских обязанностей. Я обещал, что буду посещать заседания, но признался, что новое направление работы не вызывает во мне энтузиазма.

Вообще, не понравилось мне в Университете, — я был еще во власти настроений 1905 года, которые не мирились с воцарившимися здесь новыми веяниями.

То же чувство неудовлетворенности испытал я и на явке Петербургского Комитета. За время моего заключения большевистская и меньшевистская организации в Петербурге об'единились. Явка у них была общая, но антагонизм между обоими течениями сохранился, и работники того и другого направления мало соприкасались друг с другом.

Ко мне подошла секретарша большевиков Надежда Константиновна (жена Ленина) и спросила меня о моих намерениях. Я ответил, что готов приняться за работу, но сперва хочу осмотреться. Кстати справился, существует ли еще наша «ораторская коллегия». Оказалось, что «коллегия» давно развалилась, так как с декабря прекратились митинги, и она осталась без дела. Уговаривая меня идти в район, Надежда Константиновна жаловалась, что партийная интеллигенция отлынивает от работы.

Товарищи изображали положение партии в мрачном свете: работа замирает, организация рассыпается, в заводских районах уныние, кружки не собираются, о митингах рабочие не хотят и слышать.

Были на явке и рабочие. Они тоскливо сидели в сторонке, ждали «литературы». С одним из них я разговорился. Спрашивал его о настроениях на заводе. Рабочий говорил нескладно и вяло, но одна его фраза запала мне в память:

— Больно огорчаются наши, что семеновцев прозевали. . .

Общее впечатление, вынесенное мною и вполне отчетливо врезавшееся мне в память, было, что партия разгромлена не столько внешними полицейскими преследованиями, сколько тем моральным ударом, который испытала она в декабре, когда убедилась в своем бессилии помочь восставшей Москве.

Чувствовалось, что глубокая грань легла между сегодняшним днем и 1905 годом. С жадностью набросился я на газеты, стараясь осмыслить происшедшие перемены.

* * *

Ясной картины декабрьских восстаний газеты не давали. Внутренний смысл событий заслонялся отдельными эпизодами, непомерно разросшимися на газетных столбцах.

Как началось восстание? Кто об'явил его? Имело ли оно шансы на успех, или с самого начала носило в себе зерно поражения и смерти?

На эти вопросы газеты не давали ответа. Но я нашел в них обильный и потрясающе яркий материал о том, что происходило после московского восстания.

Революция была разбита. И правительство мстило за пережитые минуты слабости.

Безобразной жестокостью были отмечены действия усмирителей. Газеты приводили приказ полковника Мина

по лейб-гвардии Семеновскому полку: «Арестованных не иметь и действовать беспощадно. Каждый дом, из которого будет произведен выстрел, уничтожать огнем и артиллерией».

В глубине России шла расправа с крестьянами. Газеты много писали о подвигах Филонова в Полтавской губернии и Луженовского в Тамбовской губернии. Но чувствовалось, что лишь случайно — благодаря открытому письму В. Г. Короленко и выстрелу М. Спиридоновой — эти два имени привлекли к себе всеобщее внимание, чувствовалось, что десятки Филоновых и Луженовских гуляют по России.

Всего больше зверства проявляли усмирители в Прибалтийском крае, где карательные отряды под командой немецких баронов расправлялись с крестьянами латышами и эстонцами. В газетах мелькали названия городков, имений и мыз с краткими пометками: расстреляно столько-то.

В больших городах бессудные убийства были реже. Но и здесь обыватель вечно чувствовал висящую над его головой угрозу. Шла спешная ликвидация «свобод» и расправа с участниками движения 1905 г.

Начались литературные процессы. В Петербурге, в первую очередь, были пущены дела газет, поместивших декабрьский манифест Совета Рабочих Депутатов об отказе от уплаты налогов и о финансовом бойкоте правительства.

Но для широких слов населения всего чувствительнее была предпринятая правительством «чистка». Сотнями и тысячами изгонялись со службы сельские учителя, врачи, заподозренные в прогрессивном образе мыслей, городские и земские служащие. Особенно много уволенных было среди почтово - телеграфных служащих и железнодорожников. Эта политика проводилась и по отношению к рабочим: в Петербурге все еще продолжался об'явленный в ноябре 1905 г. частичный локаут казенных заводов.

Но успокоение не наступало. На смену массовым выступлениям пришли единичные стычки, террористические

акты, нападения на полицию и на войска, вооруженные сопротивления при аресте. От Читы до Варшавы, от Риги до Тифлиса раздавались револьверные выстрелы, рвались бомбы.

В таком размере, в таких формах это было новое явление, непохожее ни на боевые выступления Народной Воли, ни на террористические акты предреволюционного периода.

И потому, что это явление было новое, непохожее на известные до сих пор формы революционной борьбы, трудно было сразу осмыслить его.

Что представляли собой происходившие по всей России вооруженные схватки?

Теперь мы знаем, что это были последние искры догоравшего костра, последние брызги народной волны, разбившейся о твердыни царизма, результат поражения революции и бессилия массового движения. Но тогда мы этого не знали. Тогда революционные выстрелы и взрывы бомб казались напоминанием о том, что наступившее затишье в любой миг может смениться новым под'емом.

Это поддерживало в рядах правительства страх перед революцией. И страхом, в значительной степени, определялась его политика: беспощадно расстреливая крестьян и рабочих, оно, вместе с тем, искало опоры в «умеренных» общественных кругах, боялось взять обратно уступки, данные манифестом 17 октября, готовилось созвать Государственную Думу.

Рабочее движение в Петербурге было приглушено, придавлено, но не убито реакцией.

Кровавая волна декабря 1905 года миновала Петербург: у правительства не оказалось здесь предлога для массовых расстрелов. Потери арестованными среди петербургских рабочих были не очень велики. Главным бичем были здесь расчеты с заводов и безработица.

Борьба с рабочими при помощи «костлявой руки голода» велась беспощадно. Деятельное участие принимал в

ней «Союз Русского Народа»: при его помощи составлялись «черные списки». Это вызывало крайнее озлобление среди рабочих.

За Невской заставой 27 января рабочие произвели вооруженное нападение на гнездо местного отдела «Союза Русского Народа», трактир «Тверь». В наполненную «союзниками» комнату трактира была брошена бомба. Другая бомба и залп револьверных выстрелов встретили черносотенцев в сенях. Были убитые и раненые. В результате, Невский район был надолго очищен от черной сотни.

Были и другие боевые выступления рабочих — преимущественно заводской молодежи — против черносотенцев.

Порой проявлялось среди петербургских рабочих раздражение против революционных партий: отказывались идти на массовку, рвали доставленные на завод прокламации. Это была р е а к ц и я, — но не в смысле возврата к настроениям догапоновского периода, а в смысле глубокого разочарования в себе самих.

Аграрные беспорядки по прежнему вспыхивали то здесь, то там. Но карательные отряды встречались колокольным звоном, и деревни, накануне громившие помещиков, предлагали хлеб-соль чиновнику, приехавшему для наблюдения за экзекуцией над ними.

Эти толпы крестьян, часами выстаивающие на коленях в снегу, эти подношения хлеба-соли палачам-усмирителям — ничего более трагичного, более безнадежного не показывала русская жизнь!

Настроение армии представлялось неясным.

Солдатские беспорядки прекратились. Но не было ли обманчивым это видимое спокойствие? Примирилась ли армия со своей ролью слепого орудия реакции?

Неистовства Мина и Римана при усмирении Москвы вызвали брожение в офицерской среде. Участились случаи отставки офицеров и даже самоубийства, в результате столкновения голоса совести и требований присяги.

Но несравненно больший интерес представляли настроения солдатской массы, а об них никто не знал ничего: казарма была, теперь, как неприступной стеной, отгорожена от «воли». . .

Поразительны были происшедшие за два месяца изменения группировок в среде городского населения.

Время гегемонии пролетариата среди городской демократии прошло. Пролетариат, разбитый в неравной борьбе, лишенный ореола октябрьских побед, не мог внушать мещанским группам то почтение, с которым они недавно относились к нему. Интеллигенция отошла от революции. Никто не вспоминал уже о Союзе Союзов. Революционное студенческое движение казалось достоянием истории.

Но с реакцией общество не примирилось. Быстро оформлялась, кристаллизировалась новая, третья сила, враждебная и революции, и реакции: все более выступал вперед либерализм. Он чувствовал себя наследником революции в ее борьбе с «бюрократией», наследником реакции в ее попытках положить конец революции.

Конституционно-демократическая партия уверенно шла к гегемонии и, — как ей казалось, — к власти.

На декабрьском с'езде она окончательно отмежевалась от социалистических партий и от революции и провозгласила свою верность монархии. Но она сохранила независимость по отношению к правительству Витте-Дурново и вела против него энергичную кампанию в своих газетах и журналах.

Рядом с конституционалистами-демократами, правее их, появились новые партии. «Союз 17 октября» казался одно время серьезным соперником Партии Народной Свободы. Но его убивала близость к правительству, делавшая его в глазах общества соучастником всех преступлений власти. «Партия Правового Порядка» обанкротилась еще быстрее.

Наоборот, «Союз Русского Народа» окреп. Широко раскинулась сеть союзнических чайных. Появились открытые на «темные деньги» отделы.

Эта погромная организация с ее привеском в виде «Партии Правового Порядка» и с немощным, путающимся на каждом шагу «Союзом 17 октября» была единственной общественной опорой правительства Витте - Дурново.

Помимо нее правительство имело за собой лишь штыки.

Можно ли было верить в устойчивость, незыблемость такого положения?

* * *

Каждый раз, когда я приходил на явку Петербургского Комитета, товарищи напоминали мне о моих приятелях из приказчичьего союза и уговаривали возобновить сношения с ними. Приказчики, по закону 11 декабря, получили право участия в выборах в Государственную Думу по городской курии, и существовало мнение, — правда, ни на чем не основанное, — что от их голосования будет зависеть исход выборов[1]). Между тем, влияние в этой среде оспаривали у социалистов буржуазные партии, в особенности, кадеты.

Дней через пять после моего выхода из Крестов я принялся за работу в союзе приказчиков.

Здесь не чувствовалось того уныния, которое поразило меня в Университете и на явке Петербургского Комитета.

Для приказчиков, работавших в союзе, реакция, аресты, казни — все это было что - то далекое; а непосредственно ощущалось ими то новое, чего раньше не было в их жизни, — собрания, борьба за праздничный отдых, широкие планы об'единения всех торгово - промышленных служащих в единую семью. . .

1) В действительности, торгово-промышленные служащие составляли среди избирателей городской курии меньше 10 процентов.

Здесь у движения не было вчерашнего дня, а потому не было ни могил позади, ни разочарования.

Передовые приказчики об'единились в тесный кружок, признававший себя ячейкой Р.С.-Д.Р.П., и в его руках сосредоточилось руководство движением.

Перед союзом стоял вопрос о формах организации. Трудность заключалась в том, чтобы в рамках одного союза об'единить торговых служащих всех специальностей. Приходилось прибегнуть к делению на секции. Но при большом числе секций союз распылился бы, а при ограничении числа секций состав их получался чересчур разнородный. Остановились на образовании трех основных секций (мануфактуристов, с'естников и всех остальных специальностей).

Пытались привлечь в союз и интеллектуальную аристократию приказчичьего мира, служащих книжных магазинов, но те уже организовались отдельно и не хотели сливаться с нашим огромным, но неустроенным союзом.

В кружке родилась мысль о приказчичьем профессиональном журнале. Нашлись и средства, и охотники взять на свое имя разрешение — с риском последующей «отсидки».

На петербургское купечество появление первого №-ра «Голоса Приказчика» произвело впечатление разорвавшейся бомбы. В рынках купцы гонялись за разносчиками, отнимали у них №№. На «хозяйских квартирах», против которых «Голос Приказчика» открыл поход, хозяева производили форменные обыски, разыскивая ненавистный журнал. А когда приказчики пытались протестовать и напоминали о «свободе слова» и «неприкосновенности», в ответ слышалось:

— Ты и читай, что хочешь, — хоть «Биржевые», хоть «Листок». И пиши, что хочешь, — хоть за царя, хоть против царя. А против хозяина писать не смеешь, пока хозяйский хлеб жрешь.

Это был полный успех!

И руководители союза сознавали, что этим успехом они обязаны тому, что взяли верный, социал-демократический тон. Это сплотило наш кружок...

В это время в Петербурге замечался упадок, отлив энергии среди тех групп пролетариата, которые вынесли на своих плечах главную тяжесть борьбы предыдущего года. Наоборот, новые слои пролетариата, слабо затронутые предыдущим движением, обнаруживали большую активность. Это перемещение центра тяжести движения отчетливо чувствовалось в «Центральном Бюро профессиональных союзов», куда я был делегирован союзом приказчиков.

Здесь сходились представители всех профессиональных союзов, обсуждали вопросы движения, вырабатывали общую тактику. Отсюда слабые союзы получали юрисконсультов, инструкторов, врачей, руководителей для профессиональных журналов[1]) и т. п. А в отдельных случаях Центральное Бюро принимало на себя руководство стачечной борьбой в той или иной профессии, устраивало сборы в пользу бастующих, вело переговоры с хозяевами.

Преобладали в Бюро представители ремесленных профессий и мелкой промышленности: в этих кругах идея профессионального об'единения пролагала себе путь быстрее и легче, чем на фабриках и заводах. Заметен был уклон движения в сторону культурничества и легализма.

Руководили Центральным Бюро меньшевики, особенно, Гриневич, Рязанов и усердно примазывавшийся к партии В. Святловский. Большевиков было мало, человек 5—6. Эсэров, насколько помню, не было вовсе. Но фракционные разногласия не выступали наружу: в Бюро бывали горячие споры, но не по линии фракционного деления.

Работа среди приказчиков не могла занять все мое время. Наряду с ней, у меня вскоре оказалось другое, по-

[1]) Помнится, только извозчики поставили свой «Голос Извозчика» своими силами, без всякой помощи интеллигенции. Но этот журнальчик закрылся на 2-ом номере.

сравненно более ответственное и более захватывающее дело. В Петербурге началось движение безработных, образовался Совет Безработных, поставивший своей задачей борьбу за городские общественные работы; движение увлекло и работающих, завязалась борьба петербургского пролетариата с Городской Думой, и, почти неожиданно, эта борьба увенчалась победой, — были созданы столовыя для безработных, а затем появились и работы. Это было крайне своеобразное движение, и в памяти участников его никогда не сотрутся картины борьбы за «хлеб и работы».

Мне пришлось, в течение двух лет, принимать близкое участие в этом движении в качестве председателя Совета Безработных, и в другом месте я постараюсь восстановить все, что я видел и пережил на этой работе. Но это — особая тема, слишком большая, слишком сложная и слишком близкая мне, чтобы касаться ее попутно, в рамках общих воспоминаний. Здесь я хочу лишь отметить, что благодаря работе в Совете Безработных, у меня установились связи с рабочими во всех частях города, а вместе с тем и тесная связь с большевистским центром, который — главным образом в лице Ленина — с первых же дней заинтересовался движением безработных и помогал мне в проведении кампании даже тогда, когда Петербургский Комитет колебался и, боясь «авантюры», вставлял нам палки в колеса...

Но и об этом эпизоде — в другое время и в другом месте.

Перехожу к жизни петербургской партийной организации.

* * *

В начале 1906 года наша организация переживала глубокий кризис, который зависел не только от настроений «текущего момента», но и от более общих, более глубоких причин.

До 1905 года партия представляла собою, в смысле организационном, сеть рабочих пропагандистских кружков. В 1905 году кружки рассыпались: не было возможности вести пропаганду в замкнутой группе в 8-10 рабочих, когда пропагандистские темы обсуждались открыто перед многотысячной толпой. Так распалась в дни «свобод» подпольная партийная организация.

В дни под'ема сила идейного влияния с.-д. партии на рабочих заслоняла от глаз ее организационную слабость. Теперь же, в период упадка, когда ряды партии поредели, восстановление партийной организации становилось вопросом о том, быть или не быть социал-демократии в России. Но восстановить организацию на основе старых пропагандистских кружков было невозможно: время пропагандистской партии миновало, рабочие не хотели возвращаться в кружки слушать пропагандиста. Но ничего не выходило из попыток заменить подпольные кружки открыто действующими партийными клубами: эти клубы закрывались полицией, и всякая попытка их легализации «явочным порядком» приводила лишь к новым арестам.

Итак — снова подполье. Значит, опять кружки. Но перед партией вставал вопрос: чем занять эти кружки, которые определенно не хотят собираться для пропагандитских, теоретических разговоров? Решалась эта задача привлечением ячеек периферии к разработке тактических проблем, стоящих перед партией. Но по всем вопросам этого рода в партии существовало два взгляда — большевистский и меньшевистский. Каждый отдельный рабочий и каждый кружок должен был ознакомиться с обеими точками зрения. Отсюда — необходимость «дискуссии» между большевиками и меньшевиками на всех собраниях партийных ячеек. Лекция пропагандиста заменялась в порядке дня рабочего кружка спором между двумя пропагандистами! Решение задачи получалось парадоксальное. Меньшевики пытались уйти от него путем разделения сфер влияния — по районам, подрайонам и отдельным заводам. Но большевики упорно настаивали на дискуссиях, надеясь этим путем утвердить свое безраздельное господство в организации.

Петербургский Комитет состоял в то время из равного числа большевиков и меньшевиков. Голоса делились пополам; если одна фракция высказывалась за определенное положение, другая спешила высказаться против. Спасением было лишь то, что иногда тот или иной член Комитета не являлся на заседание; тогда у одной из фракций оказывался перевес, и стоявшие в порядке дня вопросы получали определенное решение.

Понятно, что при таких условиях Комитет был неспособен руководить партийной работой. Коррективом являлась городская конференция, составленная из представителей районов. Но эта конференция была слишком громоздка, и созывать ее было нелегко. Впервые она собралась, если память не обманывает меня, в начале марта. Позже собрания ее происходили не чаще, чем раз в месяц, а иногда и реже.

Таково, в самых общих чертах, было состояние петербургской социал-демократической организации, когда перед ней встал вопрос об отношении к выборам в Государственную Думу.

* * *

В конце января вопрос о Государственной Думе еще представлялся отвлеченным, академическим — почти в такой же мере, как вопрос о будущем «Временном Правительстве»: неизвестно было, когда соберется Дума, да и вообще соберется ли она. Но 12 февраля появился манифест, назначавший на 27 апреля созыв народных представителей. Теперь нужно было без всякого промедления решить вопрос о выборах.

Впрочем, у большевиков было уже готовое решение этого вопроса.

Дело в том, что еще в декабре 1905 года был созван общепартийный с'езд Р.С.-Д.Р.П. Он не состоялся вследствие вспыхнувшего восстания. Но часть делегатов большевиков все же успела собраться и составила фракционную конференцию, которая вынесла ряд резолюций, в том числе и по вопросу об отношении к Государственной Думе.

Эти резолюции были приняты в момент, когда многим казалось, что вооруженная борьба народа против царизма лишь начинается и будет в дальнейшем непрерывно развиваться, принимая все более решительный характер. В феврале положение было уже не то. Но декабрьская резолюция о Государственной Думе (предлагавшая бойкот выборов) являлась для большевиков исходной точкой рассуждения. Не требовалось рассматривать вопрос в целом заново, достаточно было выяснить, должна ли быть сохранена в силе эта резолюция, без всяких оговорок, или в нее следует внести те или иные изменения?

Этому вопросу был посвящен доклад, прочитанный партийным работникам - большевикам Лениным.

Доклад состоялся в середине февраля в одной из классных комнат Тенишевского училища. Слушателей было человек 100—120, — наполовину рабочие, наполовину партийцы - интеллигенты. Были приняты всевозможные предосторожности для ограждения собрания от внезапного набега полиции.

Мне приходилось и раньше встречаться с Лениным, но здесь я впервые мог оценить его, как докладчика по вопросу о революционной тактике.

Говорил он, с внешней стороны, не блестяще, — без образов, без пафоса, без длинных периодов, без эффектных цитат. По нескольку раз повторял одну и ту же мысль, одними и теми же словами, — будто повторными ударами молота забивал гвозди в головы слушателей. Порой долго останавливался на положении, которое было само по себе очевидно. И все же его речь ни на миг не казалась скуч-

ной. Основной особенностью ее была непоколебимая уверенность оратора в том, что он знает, каким путем итти, и что иного пути нет и быть не может. Ленин почти не снисходил до возражений противникам. Он приводил их аргументы лишь для того, чтобы заметить: «Да ведь это смешно, товарищи! Они и сами знают, что это смешно. Это для малых детей ясно». О меньшевиках он отзывался с открытым презрением, называл их «либеральными дурачками».

Ленин отстаивал безусловный бойкот Государственной Думы. Положение рисовалось ему в виде дилеммы: или конституционное строительство — или революция; или Дума — или восстание. Принять один путь — значит отказаться от другого пути. Кто за революцию, тот должен быть против Думы; кто за Думу, тот против революции. Свою мысль он формулировал еще и так: все дело в том, в каком году мы живем, — в 47 - ом или в 49 - ом? Если мы живем в 49 - ом году, нужно идти к избирательным урнам; если у нас 47 - ой год — то никаких выборов, ничего, что отклоняло бы народ с единственно прямого, единственно правильного пути восстания! И далее сыпались соображения о том, что 48 - ой год еще впереди: об'ективные задачи революции не разрешены; классы, составляющие силу революции, не удовлетворены; революционная борьба продолжается — в партизанской форме, — и подавить ее правительство бессильно.

Но это были скорее иллюстрации, подтверждавшие мысль докладчика, нежели доказательства. Вообще, Ленин избегал доказательств. Он не рассуждал, а приказывал.

Выставив определенное положение, он делал из него выводы, потом делал выводы из этих выводов, и так дальше. Все — в порядке строгой дедукции, все — с непререкаемой уверенностью, со снисходительным смешком и презрительным замечанием по адресу противника.

От этой манеры веяло огромной силой.

Много раз впоследствии слышал я Ленина, но ни разу особенности его речи не представлялись мне в столь отчетливом виде, как на этом его докладе в защиту бойкота Государственной Думы.

И не на меня одного, на всех слушателей его доклад произвел неотразимое впечатление. Казалось, что и вопроса не могло быть о пересмотре тактики по отношению к Государственной Думе.

Разумеется, нужно оставить в силе резолюцию декабрьской конференции!

Разумеется, бойкот!

После доклада Ленина были прения, но прения особого рода: «оппоненты» во всем соглашались с докладчиком и лишь приводили новые соображения в пользу его выводов. Говорили о московском восстании, о безработице, о настроениях в деревне. Докладчик принимал все эти замечания, подчеркивая их значительность.

Мы расходились не только уверенные в спасительности бойкота предстоящих выборов, но и полные надежды, что эта тактика вернет нас к золотым октябрьским дням.

* * *

Вступая в избирательную кампанию с лозунгом бойкота Государственной Думы, мы надеялись сорвать Виттевскую Думу, подобно тому, как была сорвана в 1905 году Дума Булыгина. От этих надежд вскоре пришлось отказаться. Уже в марте стало ясно, что бойкот проходит исключительно в рабочей курии, и что нечего думать о том, чтобы помешать созыву Думы в назначенный срок. Из средства «срыва» Государственной Думы, бойкот превратился в форму борьбы с «конституционными иллюзиями», являющимися помехой для восстания.

Меньшевики в вопросе о Государственной Думе заняли другую позицию.

Я не знаю, как вырабатывалась их тактика и как обосновывалась она на меньшевистских собраниях. Но на межфракционных дискуссиях меньшевики отстаивали свою точку зрения как-то неуверенно, — будто сами сомневались в правильности ее, и это представляло разительный контраст с прямолинейной, решительной аргументацией Ленина.

Вопрос об участии социал-демократии в выборах меньшевики отделяли от вопроса об участии в Государственной Думе. Они не предлагали участвовать в Думе, но не предлагали и не участвовать в ней, — а просто обходили этот вопрос, как несвоевременный, еще практически не поставленный жизнью.

Для меньшевиков все сводилось к вопросу о поведении на первых стадиях выборов. И здесь они противопоставляли бойкоту свою тактику: выставление кандидатов, избрание уполномоченных и выборщиков.

В пользу этой тактики, — в пользу участия в выборах, но отнюдь не в пользу участия в Государственной Думе, — приводились соображения трех родов: 1) относительно агитации и политического воспитания народных масс, 2) относительно мобилизации революционных сил, 3) относительно реорганизации партии (путем создания легальных избирательных комиссий и комитетов).

Каждый довод в отдельности казался довольно убедительным. Убедительными представлялись также соображения о неосуществимости в широком масштабе активного бойкота выборов и о недостаточности пассивного бойкота.

Но все эти аргументы превращались в ничто, лишь только противники ставили меньшевикам вопрос:

— Что же, в конце концов, вы предлагаете? Идете вы в Государственную Думу или нет?

На этот вопрос у меньшевиков не было ответа.

И Ленин побивал меньшевистскую тактику полубойкота, заявляя:

«Тактика массовой партии пролетариата должна быть пряма, ясна, проста. Выборы же уполномоченных и выборщиков без выбора депутатов в Думу создают запутанное и двойственное решение вопроса. С одной стороны, признается легальная форма выборов по закону. С другой стороны, «срывается» закон, ибо выборы производятся не в целях осуществления закона, не в целях посылки депутатов в Думу. С одной стороны, начинается избирательная кампания; с другой стороны, она обрывается в самом важном (с точки зрения выборов) пункте, при определении непосредственного состава Думы. С одной стороны, рабочие ограничивают свои выборы (уполномоченных и выборщиков) нелепыми и реакционными рамками закона 11 декабря. С другой стороны, на эти рабочие выборы, заведомо неполные и неверно отражающие передовые стремления пролетариата, возлагается задача осуществить эти стремления помимо Думы (в форме какого либо нелегального представительства или нелегальной Думы или Народной Думы и т. п.). Получается бессмыслица, выборы на основании несуществующего избирательного права в несуществующий парламент»[1]).

Эта аргументация производила впечатление на рабочих.

* * *

В пользу большевистской тактики бойкота была не только ее «простота, прямота и ясность», но и настроения рабочих.

Бойкотистские настроения — результат усталости, разочарования, пассивности — были в то время разлиты в воздухе; отголоски их можно было встретить даже в умеренно-либеральной среде, которая несколько позже об'явила бойкот провокацией и злостным измышлением большевиков.

Правительство, со своей стороны, делало все, чтоб убить в радикальных кругах всякую охоту участвовать в выборах. Особенно грубо вмешивалась администрация в выборы по крестьянской курии. На этот счет Дурново дал земским начальникам точные инструкции: через «доверенных лиц» следить за теми из ораторов, которые, «ставя себе целью проникновение в Г. Д., обольщали бы крестьян несбыточными надеждами на даровое наделение частно-владельческими земельными участками»; удалять их, как беспокойный элемент, через тех же «доверенных людей»; поступать точно также с «крикунами»; озаботиться накануне выборов о недопущении в помещения для выборщиков лиц, зарекомендовавших себя со стороны неблагонадежности; обращаться, в случае надобности, к содействию воинской силы и т. д. и т. д. Инструкция заканчивалась приказанием: «Все сие подлежит строгому выполнению, не вызывая нареканий со стороны населения».

Подобные мероприятия укрепляли недоверчивое, враждебное отношение к будущему подтасованному народному представительству.

И будто нарочно для того, чтоб еще более усилить эти настроения, в самый разгар избирательной кампании был издан закон, угрожавший тюремным заключением за призыв к бойкоту Государственной Думы. Этим правительство признало, что оно *боится* бойкота Государственной Думы. Какое еще требовалось доказательство того, что тактика бойкота — самая правильная, самая революционная?

Все эти обстоятельства привели к тому, что предложения большевиков легко восторжествовали в партии.

Для решения вопроса об избирательной тактике социал-демократии в Петербурге, в первых числах марта, в Финляндии — кажется, в Териоках — была созвана общегородская конференция районных делегатов.

[1]) Из статьи Ленина «Государственная Дума и социал-демократическая тактика», помещенной в «дискуссионной» брошюре «Государственная Дума и социал-демократия». Стр. 3-4.

Участвовало в ней человек 50—60, преимущественно рабочие. Защитниками противоположных платформ выступали Ленин и Ф. Дан. Прения были непродолжительные, — с самого начала выяснилось, что большинство собрания за бойкот.

Конференция приняла резолюцию, предложенную Лениным: бойкот выборов и использование избирательной кампании для агитации.

Но избирательная кампания в Петербурге началась до конференции, еще в феврале. И с первых же дней мы вели ее под лозунгом бойкота.

* * *

Застрельщиками в предвыборной кампании в Петербурге выступили конституционалисты-демократы. Они открыли избирательную кампанию критикой действий правительства, при чем в начале пытались фиксировать внимание избирателей на двух фактах: на истязаниях М. Спиридоновой и на казни лейтенанта Шмидта.

Первые речи к.-д. ораторов были построены по такой, приблизительно, схеме:

«Вот, граждане, что творится в России. Можете ли вы одобрить подобные порядки? Нет? Так не голосуйте за тех, кто эти порядки поддерживает, голосуйте за нас, ибо мы эти порядки изменим».

Партия ожидала, что в предвыборной борьбе ей придется иметь дело, главным образом, с противниками справа.

Но правые вызова не приняли. Ни один из них не поднялся на трибуну.

В то же время против к.-д. выступил противник слева, и им пришлось повернуть фронт в эту сторону.

Помню первое предвыборное собрание.

Большой зал — кажется, Соляного Городка — переполнен. В передних рядах — черные визитки, просвечивают лысины, поблескивают очки. Позади — публика попроще и помоложе, немало студентов и курсисток. На эстраде, за длинным столом, устроители собрания, — районный избирательный комитет партии Народной Свободы. Тут же, за особым столиком, полицейский чиновник.

Говорит докладчик. Длинно, красноречиво высчитывает преступления власти. Заканчивает свою речь приглашением высказаться тем, кто несогласен с развитыми им положениями.

Я прошу слова.

Начинаю с вопроса: не бесполезное ли занятие доказывать, что наше правительство никуда не годится? Это все давным давно знают. Поговорим лучше о способах изменить положение.

— Вы, обращаюсь я к докладчику, обещаете, что эта задача будет разрешена без участия народа, Государственной Думой, если в Думе будет ваше большинство. А мы говорим — эта задача будет разрешена народом, без Думы, и при том лишь тогда, когда Думу графа Витте постигнет та же участь, какая постигла Думу Булыгина...

Собрание принимало призыв к бойкоту настолько сочувственно, что докладчик и его единомышленники должны были сосредоточить все красноречие на защите участия в выборах.

На следующих собраниях повторялась та же картина. А в дальнейшем, кадетские ораторы прямо начинали с полемики против бойкотистов.

Защитниками бойкота выступали, главным образом, большевики. Эсэры в избирательной кампании почти не участвовали; меньшевики выступали мало и, повидимому, без определенного плана. Выступлений беспартийных бойкотистов я совершенно не помню.

Кампания сводилась к борьбе между к.-д. и нами.

Должен признаться, что силы наши были неравны: со стороны партии Народной Свободы выступала целая плеяда ученых профессоров и блестящих адвокатов — Ми-

люков, Набоков, Родичев, Винавер, Кедрин и др.; большевизм же был представлен полудюжиной молодых агитаторов-митингеров. С нашей стороны чаще всего выступали: Абрам (Крыленко), Николай (Коновалов), я и Свидерский. Из товарищей, не входивших в «ораторскую коллегию», выступали И. Гольденберг и П. Румянцев — первый с исключительным успехом, второй весьма неудачно.

Самым опасным нашим противником был Милюков. Он импонировал слушателям, и рядом с пожилым профессором защитники бойкота не могли не казаться задорными мальчишками. Серьезным противником был также Набоков.

Зато праздником для нас были выступления «тверского Мирабо» Ф. И. Родичева. Несмотря на свои преклонные годы, Родичев держался на трибуне не лучше и не хуже, чем любой из нашей «коллегии»: «ляпал», не взвешивая слов, возмещая недостаток мысли избытком темперамента. Мы обыкновенно выпускали против него Абрама (Крыленко). Противники были как будто созданы друг для друга. Но на стороне Абрама была молодость — неоценимое преимущество в споре, принимающем форму петушиных наскоков. А Родичев — в отличие от других к.-д. ораторов — вел спор именно в этом тоне.

В виде образчика его выпадов, достаточно привести, как он изображал движение 1905 года.

— Пока мы шли все вместе, восклицал он, мы были непобедимы. Но в октябре социал-демократы отделились от освободительного движения, чтобы провозгласить социал-демократическую республику.

Это не было случайной обмолвкой: о «социал-демократической» республике он говорил десятки раз.

Отличался Родичев также в спорах о судьбе будущей Думы.

В основе тактики к.-д. партии лежала уверенность, что правительство должно будет уступить голосу общественного мнения, выраженному Государственной Думой.

Выступая против «конституционных иллюзий», мы ставили представителям партии Народной Свободы вопрос:

— Что помешает правительству разогнать вашу Думу, если она откажется служить орудием его политики?

Этот вопрос должен был бы подвести вплотную к самой существенной задаче момента, к задаче организации общественных сил для борьбы с царизмом. Но углубиться в изучение этой задачи столкнувшиеся в предвыборной борьбе партии не могли: к.-д. не видели этой задачи, так как хотели вести борьбу против «бюрократии» без народа; мы проходили мимо этой задачи, так как не считали, чтоб она была связана с вопросом о Думе.

Таким образом, спор сводился к почти анекдотическому вопросу:

— Может или не может правительство разогнать Государственную Думу?

И вот тут то выступал на сцену Родичев. Один аргумент казался ему наиболее убедительным, и он повторял его повсюду:

— Сияет крест над Казанским собором... Трудно ли сбросить его с высоты? Но нет безумца, который дерзнул бы на это преступление.

В ответ мы напоминали об иконах и хоругвях, расстреленных 9 января.

Посещавшая предвыборные собрания публика знала заранее: Родичев здесь, — значит, будет о кресте говорить; а потом — большевик об иконах; а потом — помощник пристава сделает предупреждение о закрытии собрания за богохульство...

Трудно сказать, кто имел больший успех в ходе описываемой кампании. Пожалуй, защитникам бойкота аплодировали громче, чем защитникам участия в выборах. Но сомнительно, чтоб эти аплодисменты исходили от избирателей. Дело в том, что на петербургские предвыборные собрания весной 1906 года мог приходить кто угодно. Это были не собрания избирателей, а митинги граж-

дан, и именно не избиратели проявляли на них наиболее радикальное настроение.

В общем и целом, первая избирательная кампания мало дала для политического воспитания и организации петербургского населения. Но она встряхнула столицу. Обыватель осмелел.

* * *

В рабочей курии предвыборная кампания прошла тускло и вяло. Бойкотистские настроения царили здесь безраздельно.

Большевикам нечего было агитировать за свою тактику. Меньшевики не пытались защищать свой план. Эсэры не показывались. Не было борьбы, то есть, того, что составляет сущность всякой избирательной кампании.

Устраивались все же и нелегальные заводские митинги и легальные рабочие собрания. Но на них говорили о чем угодно, только не о Государственной Думе, которая меньше всего интересовала рабочих.

Обслуживать эти собрания приходилось нашей «ораторской коллегии». Часто выходило так, что прямо с заводского митинга нужно было ехать на «кадетское» собрание. Это было очень неудобно, так как условия конспирации и установившегося этикета требовали, чтоб на митинге оратор был в высоких сапогах и косоворотке, а на избирательном собрании — в крахмальном воротничке и брюках на выпуск. Я приспособился: на завод приезжал в косоворотке, поверх жилета, имея в кармане про запас воротничок и галстух; а после митинга, на явочной квартире, выпускал брюки поверх сапог, одевал воротничок, а косоворотку заворачивал в газету и засовывал в карман. В этом виде я более или менее удовлетворял требованиям, которые пред'являлись на «буржуазном» собрании оратору-большевику...

Отсутствие всяких следов предвыборного оживления среди петербургских рабочих составляло яркий контраст с шумной избирательной кампанией в городской курии. По газетам и по рассказам приезжавших из провинции товарищей, у меня осталось впечатление, что в других городах контраст между рабочей и городской курией был менее ощутителен. С одной стороны, в провинции рабочие проявляли больше интереса к Государственной Думе. С другой стороны, там предвыборная борьба в городской курии была менее оживленной, чем в Петербурге.

Что касается до крестьянской курии, то о предвыборной кампании в ней мы знали очень мало. Социал-демократическая партия не могла уделить даже малых сил работе в этой области.

Пошучивали:

— О крестьянской курии товарищи эсэры позаботятся. Мужичек — это по их части.

Но и социалисты-революционеры, стоявшие на платформе бойкота выборов, широкой кампании в крестьянстве не вели. Из известий, появившихся в печати, складывалось представление, что крестьяне относятся к Думе с интересом и подходят к ней как-то по своему, вне всякого влияния партий и партийных лозунгов.

Деревня, не обсуждая вопроса о том, участвовать ли в выборах, или нет, сразу решила участвовать, но решила не по-кадетски. На сельских и волостных сходах выносились приговоры с требованием земли. В этих приговорах звучала надежда на Думу, порой даже надежда на царя, но с этой надеждой странным образом уживалась мысль о необходимости поддержки народных представителей народными массами.

Как представляло себе крестьянство поддержку, которую оно заранее обещало своим депутатам, сказать трудно. Повидимому, идея была неясная, не додуманная до конца неповоротливой, медленной мыслью мужицкого мира: красный петух, погром, бунт с вилами и топорами...

Так тремя раз'единенными руслами протекала предвыборная кампания в первую Думу: расцвет либерализма

в городской курии; смутные революционные мечты в деревне; ни надежд, ни иллюзий в рабочих кварталах.

* * *

В середине марта состоялись в Петербурге выборы от рабочих. Заводские районы были наводнены полицией и войсками. Ожидали кровавых столкновений. Но день прошел спокойно.

Кое где, накануне, после работ, были устроены у заводских ворот летучие митинги; проголосовали резолюцию: «в выборах не участвовать». В других местах ограничились распространением листков и сговором по мастерским.

На многих заводах в назначенное для избирательного собрания место не явилось ни души. Там, где были опасения, что черносотенцы и «любимчики» мастеров, за спиною рабочей массы, проведут выборы, рабочие приходили на избирательное собрание и требовали голосовать предварительный вопрос, «производить или нет выборы?» Вопрос разрешался отрицательно, председатель об'являл собрание закрытым, и рабочие расходились.

Ни речей, ни споров. Лишь кое-где картина скрашивалась неожиданными искорками юмора.

На одной фабрике (кажется, у Паля) кто-то заметил:

— Раз приказано выбирать уполномоченного, нужно выбирать.

В ответ раздалось:

— А ну-ка, собаку Розу в уполномоченные выберем!

Предложение понравилось. Проголосовали, выбрали и составили протокол.

На другом заводе «выбрали» заводскую трубу. Было еще несколько выходок в этом роде.

Результаты выборов по рабочей курии мы учли, как победу нашей тактики. На следующий день, на городских предвыборных собраниях, мы указывали на эти результаты

в доказательство того, что за Государственной Думой не будет опоры народных масс.

Помню подробность: ораторы-большевики ссылались на «собаку Розу», как на мерило презрения рабочих к будущему парламенту. Но эта ссылка, казавшаяся нам весьма ядовитой, принималась городской аудиторией с ледяной холодностью. А кадетские ораторы отвечали:

— Если таковы результаты вашей агитации, то об этом можно лишь пожалеть, а радоваться здесь нечему.

Спустя два-три дня появилось официальное извещение — не помню, градоначальника или губернатора — о результатах выборов по петербургской рабочей курии. По этому сообщению выходило, что бойкот прошел далеко не повсюду, что приблизительно на половине фабрик и заводов выборы были произведены. Сперва мы думали, что это — полицейская выдумка. Но нет! На собрание уполномоченных, действительно, явились «представители» полутораста фабрик и заводов, — и это на точном основании закона 11 декабря. Ибо этот закон за голосующую единицу принимает, как известно, не рабочего, а п р е д п р и я т и е, — и ничто не мешало администрации признать представителем завода кандидата, получившего хоть два-три голоса.

И вот, в то время, как рабочие считали, что у них выборы сорваны, кучка черносотенцев, где нибудь, в отдаленной мастерской, открывала собрание и производила выборы.

В общей сложности, из 200.000 петербургских рабочих приняло участие в выборах тысяч 5—6, едва ли больше.

На выбранных «уполномоченных» рабочие смотрели, как на ставленников полиции. Иным из них пришлось, во избежание неприятностей, расчитаться с завода; другие приходили на работу с револьвером в кармане, в сопровождении дружинников из Союза Русского Народа.

Впрочем, вскоре об этих «рабочих-выборщиках» забыли.

Сведения, поступавшие из других городов, говорили, что и там рабочие более или менее единодушно бойкотируют выборы.

Полнее всего был проведен бойкот в Польше, где социалисты не задумывались пускать в ход револьверы и силой заставляли меньшинство подчиняться решению большинства.

Там, где бойкот не поддерживался «боевыми» действиями, повторялась — с небольшими уклонениями в ту или другую сторону — петербургская картина.

В глухой провинции, как общее правило, крупные предприятия бойкотировали выборы, а мелкие в выборах участвовали.

Всего слабее проводился бойкот на Юге.

В итоге, состав рабочих «выборщиков» оказался пестрый: преобладали среди них черносотенцы, но были и революционно настроенные беспартийные, были и социал-демократы — правда, в ничтожном числе.

Я хочу отметить здесь одну характерную черту: известия об избрании черносотенцев не вызывали в нашем кругу ни удивления, ни тревоги, — такие выборы доказывали лишь, что по рабочей курии никто, кроме черной сотни, в голосовании не участвовал; наоборот, на сообщения об избрании «примыкающих к социал-демократам» и социал-демократов мы реагировали, как на весть о срыве забастовки нашими же товарищами.

На другие избирательные курии тактика бойкота не оказала заметного влияния.

В частности, в крестьянской курии, если память не обманывает меня, не было отмечено ни одного случая сознательного уклонения от участия в выборах.

Интерес, проявленный крестьянами к выборам, не только не поколебал в нас уверенности в правительности принятой нами тактики бойкота, но явился для нас лишь свидетельством того, насколько сильны в русской деревне «конституционные иллюзии». Казалось, что до преодоления

этих иллюзий нечего и думать об участии крестьянства в революционном всенародном выступлении. И потому, по мере того, как выяснялись результаты выборов по крестьянской курии, все острее вставала перед нами задача разоблачения связанных с Думой иллюзий.

Торжеством «конституционных иллюзий» завершились и выборы по городской курии: здесь почти повсюду победа осталась за партией Народной Свободы. . .

* * *

Первая стадия выборов закончилась в Петербурге 20 марта. Государственная Дума должна была собраться 27 апреля.

Наша партийная организация была в это время занята подготовкой к общепартийному с'езду. Шли дискуссии по «платформам» двух фракционных течений.

Большевики отстаивали ту линию, которую установила их декабрьская конференция. Во главу угла ставилась необходимость и неизбежность в ближайшем будущем вооруженного восстания.

Отношение к Государственной Думе определялось несовместимостью подготовки восстания и конституционного строительства. Дума представлялась силой антиреволюционной, так как, питая в стране конституционные иллюзии, она должна отвлекать народ от восстания.

Много внимания уделялось «партизанским боевым действиям». Нападения на полицию, отстрелы при задержании, экспроприации, террористические акты, оценивались, как симптом продолжающейся революции и пролог восстания. Отмечалось, что подобные выступления необходимы для боевого воспитания и военного обучения партийных боевых дружин.

В общем и целом, большевистская платформа была проникнута бунтарски-повстанческим духом, который сторонникам ее представлялся революционно-марксистским пониманием текущего момента.

Платформа, выдвинутая меньшевиками, в центре задач партии ставила вопрос об использовании Государственной Думы для политического воспитания и организации пролетариата, а также, само собой разумеется, для усиления революционного натиска против самодержавия.

Вопросом большой важности признавалось создание в самой Думе опорного пункта в виде с.-д. фракции (или группы).

Это был полный разрыв с той тактикой, которой следовали меньшевики во время выборов. Это был также скрытый разрыв с идеей вооруженного восстания — по крайней мере, в том виде, как воспринималась эта идея обоими течениями партии в 1905 году.

Положение большевиков в предс'ездовской борьбе с меньшевиками оказалось значительно труднее, чем в той борьбе, которая незадолго до того велась на почве вопроса об отношении к выборам в Государственную Думу. На этот раз меньшевики имели успех.

Возможно, что этому успеху способствовали испытанные рабочими неудачи, которые, как будто, говорили против тактики, которой они до сих пор придерживались. Московское восстание окончилось поражением... Бойкот ни к чему не привел... Государственную Думу сорвать не удалось... Все это учитывалось партийными рабочими.

Были, вероятно, и другие моменты, которые не остались с достаточной отчетливостью у меня в памяти. Во всяком случае, перед с'ездом меньшевики собрали чуть ли не больше голосов, чем большевики.

* * *

Та партийная ячейка, в которой я работал, — приказчичий кружок — высказалась единогласно за большевистскую платформу. Представителями кружка на конференцию ремесленного района выбрали меня и одного приказчика-гостинодворца.

Конференция собралась в помещении какого-то танцкласса на Загородном проспекте. Присутствовало человек 30. От меньшевиков должен был выступать докладчиком Мартынов, оппонентом ему назначили меня.

Но не успели мы открыть собрание, как нагрянула полиция — помощник пристава, полдесятка околоточных, дюжина городовых. Не было, впрочем, ни команды «руки вверх», ни угроз оружием. Помощник пристава ограничился вежливым приглашением:

— Прошу вас, господа, не двигаться с места. Прошу пожаловать для об'яснений г. устроителя собрания.

Мы решили заявить, что собрались для танцев. Вести переговоры отрядили меня и приказчика.

— Вы устроители собрания? обратился к нам помощник пристава.

Отвечал приказчик:

— Какого собрания? Сошлись просто знакомые потанцовать.

Помощник внимательно оглядел нас и сказал:

— Непохоже. Публику, которая для танцев и которая для политики, отличить не трудно.

Приказчик обиделся:

— Почему, скажите, пожалуйста, не могу я провести вечер в танц-классе?

Полицейский снова оглядел его и заметил примирительно:

— Про вас я не говорю. А только дамы ваши неподходящие. Здесь ошибки быть не может.

Это было так неожиданно, что некоторые из наших расхохотались, и наша попытка конспирации была сорвана. Тогда мы решили не давать полиции никаких об'яснений и предоставить ей самой разбираться, что у нас за собрание.

Компрометирующие бумажки мы успели уничтожить, документы на жительство у всех были в порядке. Значит, не было оснований волноваться.

Помощник пристава приступил к переписи задержанных. Составив список, он переспросил:

— Все тут?

— Все.

— Так! Значит, — он вынул из кармана бумагу и прочел отчетливо, — «Конференция ремесленного района при Петербургском Комитете Р. С.-Д. Р. Партии».

Было ясно, что мы выданы провокатором.

* * *

Из танц-класса нас отправили в ближайший участок; оттуда, женщин — в Литовский замок, а мужчин — в арестный дом при Московской части, где мы разместились в трех довольно обширных и весьма грязных камерах.

Было далеко за полночь, когда мы улеглись на нарах. Несмотря на обилие клопов, заснул я сразу. Кажется, и товарищи не могли пожаловаться на бессонницу.

Но утром поднялись в довольно скверном настроении. Думали, что всех, на лучший конец, ждет административная высылка. Для семейных это представлялось катастрофой. Чтоб отвлечь товарищей от черных мыслей, я предложил приступить к дискуссии. Мартынов поддержал меня. Желавшие принять участие в обсуждении платформы собрались в кружок на нарах, и мы открыли собрание.

Мартынов говорил путанно, так что было трудно уследить за его мыслью. Но аргументация его была интересна. Все внимание он сосредоточил на рекомендуемых большевистской платформой «партизанских действиях» и на их влиянии на различные общественные силы. Основную ошибку большевиков он видел в том, что они строят свою тактику, не считаясь с «общественным мнением». В таком виде, его мысль была открыта для нападения со всех сторон, и слушатели-большевики остались вполне удовлетворены тем, как я «разнес» ее. Но Мартынов не был ни в малой степени смущен. Свое второе слово он начал так:

— Очевидно, здесь никто ничего не понял из того, что я говорил...

И он принялся об'яснять, что понимает он под «общественным мнением». Опять говорил длинно, запутанно, с бесконечными отступлениями в сторону. Слушателям его речь в защиту «общественного мнения» решительно не понравилась. Недовольны были даже рабочие-меньшевики. Но на меня слова Мартынова произвели некоторое впечатление, и я отвечал ему много сдержаннее, чем в первый раз...

Спорили мы с Мартыновым до вечера, продискутировали еще и весь следующий день, — до ночи.

Для товарищей, следивших за нашим спором, смысл его сводился к тому, чтоб как-нибудь скоротать время. Но для меня эта дискуссия имела значение, о котором Мартынов, по всей вероятности, и не подозревал: впервые мне пришлось задуматься над различием большевистской и меньшевистской тактики, и я почувствовал, что нельзя отмахнуться от меньшевизма, как от «мелко-буржуазного соглашательства». В частности, я понял, что идеализируя «партизанские действия», мы становимся на скользкую почву, что эта тактика может выродиться в пагубный для революции авантюризм. Короче, эта тюремная дискуссия нанесла чувствительный удар моему большевизму.

Окончилось наше заключение раньше, чем мы ожидали: дня через 2 или 3 нас всех выпустили без допроса. Повидимому, столь благоприятным оборотом дела мы были обязаны тому, что при обыске в руки полиции не попалось никаких «вещественных доказательств», и квартиры у всех оказались чистые. Таким образом, для создания «дела» не было никаких материалов, кроме оговора провокатора. А провокатор, на наше счастье, оказался не серьезный — из начинающих [1]), — так что полиция не больно полагалась

[1]) У нас были подозрения на одного суб'екта, явившегося на конференцию от несуществующего кружка и исчезнувшего при появлении полиции.

на его показания. Единственным последствием этого ареста для меня было то, что я не попал на предс'ездовскую общегородскую конференцию, а равным образом не попал и на партийный с'езд, собравшийся в Стокгольме в апреле и вошедший в историю российской социал-демократии под названием «об'единительного».

* * *

О работах и решениях стокгольмского с'езда я узнал из доклада Ленина, прочитанного им петербургским партийным работникам большевикам.

Доклад был ярко полемический: на с'езде восторжествовало мелко-буржуазное, оппортунистическое крыло партии; мелкие хозяйчики из «Бунда» и крестьяне с Кавказа подавили голос чисто пролетарских российских организаций, представленных большевиками; с'езд принял ряд меньшевистских резолюций и избрал Центральный Комитет, в который вошло 7 меньшевиков и всего 3 большевика.

Все постановления с'езда вызывали более или менее резкую критику докладчика, но всего хуже была резолюция о Государственной Думе, которая между прочим, признавала желательным, чтоб «при наличии с.-д. депутатов, работающих в партийной организации и подчиняющихся ее указаниям, в Думе была образована с.-д. группа». Этим решением партия заявляла готовность признать своими представителями людей, прошедших в Государственную Думу более или менее случайно, под флагом беспартийности, а порой и с прямым нарушением партийной дисциплины. Были все основания ожидать, что думская группа будет состоять из антибойкотистских, а следовательно, и антибольшевистских элементов.

Опасность увеличивалась тем, что выборы в Думу не повсюду были закончены. Между прочим, предстояли выборы в губерниях Тифлисской и Кутаисской, где меньшевики расчитывали провести своих кандидатов. И относительно предстоявших выборов резолюция с'езда говорила: «Всюду, где еще предстоят выборы и где Р. С.-Д. Р. П. может выставлять своих кандидатов, не вступая в блоки с другими партиями, она должна стремиться провести своих кандидатов в Думу».

Таким образом, меньшевики, захватившие после с'езда в свои руки Центральный Комитет партии, должны были получить еще новое оружие — легальное, думское представительство!

При таких условиях Ленин призывал большевиков быть готовыми «внести революционные поправки действием» в оппортунистические решения с'езда и в имеющие последовать еще более оппортунистические директивы Ц. К., а главное — зорко следить за будущей думской группой.

С.-д. группе в Государственной Думе предстояло иметь против себя не только классовых врагов пролетариата, но и значительную часть собственной партии.

II. ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ.

Открытие Государственной Думы. — Наше отношение к ее первым шагам. — 1-ое мая. — Ответный адрес на тронную речь. — «Против измены кадетов». — Декларация правительства. — «В отставку!» — Законодательная работа. — Рабочая группа. — С.-д. фракция. — Вопрос о думском министерстве. — Депутаты и петербургские рабочие. — Организационные попытки. — Под'ем. — Последний конфликт. — Разгон Государственной Думы. — Свеаборг и Кронштадт. — Июльская забастовка.

27 апреля должна была открыться Государственная Дума.

Шли слухи, что в этот день будут закрыты не только правительственные учреждения и учебные заведения, но и фабрики и заводы. Петербургский Комитет обсуждал, как реагировать на эту попытку буржуазии привлечь рабочих к чествованию Думы. Решено было об'явить, что 27-ое апреля рабочие своим праздником не признают, и, в случае, если в этот день не будет обычной работы, использовать его для устройства митингов под лозунгом Учредительного Собрания.

В это время большевистскому центру удалось наладить в Петербурге легальную газету «Волна»[1]). Первый номер ее, вышедший накануне открытия Государственной

[1]) За время существования первой Думы большевики выпускали последовательно газеты: «Волна», «Вперед» и «Эхо»; у меньшевиков за то же время сменились: «Невская Газета», «Курьер» и «Голос Труда».

Думы, намечал тактику пролетариата в новой политической обстановке. В основе этой тактике лежала все та же мысль о необходимости борьбы с конституционными иллюзиями. Эту борьбу газета начала с выступления против празднования дня открытия Государственной Думы.

Тем не менее, день 27 апреля оказался для Петербурга подлинным праздником, и нужно признаться, что в этом празднике принимали участие и пролетарские элементы[1]).

Фабрики и заводы работали, местами работали демонстративно, так как рабочие отказались от предложенного администрацией праздника. Но мелкие препринимател и распустили своих рабочих и служащих. Были закрыты и магазины. В толпе, переполнившей улицы, было много приказчиков, были и рабочие. Местами они терялись среди «чистой» публики, местами собирались в отдельные группы.

Депутаты с'езжались в Государственную Думу после приема в Зимнем дворце. Публика встречала их криками «ура». Особенно горячие приветствия раздавались по адресу депутатов-крестьян: чем более деревенский вид был у депутата, чем резче выделялась среди городских пиджаков и пальто его свитка, чем шире была у него борода, тем громче гремело «ура» навстречу ему. И не только демократическая часть публики, но и обыватели, голосовавшие 20 марта за партию Народной Свободы, смотрели с умилением и надеждой на шествовавших в Государственную Думу мужиков. Не помню, были ли среди депутатов-крестьян лапотники, но не сомневаюсь, что лапти имели бы в этот день ни с чем не сравнимый успех.

Здесь и там, депутаты обращались к гражданам. Речи были кадетские: призывы к спокойствию, обещания, что Государственная Дума осуществит все чаяния народа.

Депутаты-крестьяне угрюмо молчали. Прием во дворце, — роскошь двора, в связи с пустой речью царя, — произвел на них тяжелое впечатление.

[1]) «Волна» отрицала этот факт, но без достаточных оснований.

Но неожиданно выступил перед толпой рабочий-депутат Михайльченко.

Шахтер из Екатеринославской губернии, он сам толком не мог рассказать, как попал в Государственную Думу. Партия проводила в Екатеринославской губернии бойкот. Но кампания велась слабо, рабочие не повсюду знали, что именно предлагают им социал-демократы. Заводы и рудники выбирали своих уполномоченных без предварительной агитации, вслепую, но выбирали «передовых», «сознательных». И отказываться нельзя было, — масса сочла бы это за трусость. Так Михайльченко попал в уполномоченные, потом в выборщики, а там, на губернском собрании, при поддержке выборщиков-крестьян, оказался выбран в Государственную Думу.

Простой парень, мало развитой, но смышленный и революционно настроенный, он чувствовал себя не в своей тарелке на торжестве 27 апреля. И вот он обратился с бесхитростными словами к толпе, в которой заметил рабочие лица.

Говорил о том, что не по своему желанию попал в Думу, которую бойкотировали передовые рабочие. Просил верить, что хотя он и в Думе, но это ничего не значит, — на деле он все такой же рабочий, каким был всю жизнь. Рассказывал о приеме в Зимнем дворце: «Они нам свое богатство, золото в глаза тычут. Да кем это золото добыто? Нашим потом, нашей кровью . . .»

Это выступление произвело впечатление даже на бойкотистов, которые готовы были освистать всякого депутата-рабочего, как штрейкбрехера. Михайльченко простили его избрание в Государственную Думу.

* * *

Наша партийная организация приняла первую Думу, что называется, «в штыки».

Позже, в протоколах об'единительного с'езда, я прочел доклад П. Б. Аксельрода по вопросу об отношении к Государственной Думе. «Мы не можем относиться к Думе огульно отрицательно, то есть, чисто нигилистически, говорил Аксельрод. Мы сделали бы величайшую и грубую ошибку, если бы при самом появлении ее на свет, еще прежде, чем она успеет чем-нибудь проявить себя, устроили ей враждебную встречу со стороны рабочих масс. Хуже того, мы покрыли бы себя позором и скомпрометировали бы идущие за нами слои пролетариата, если бы мы встретили вступление Думы в жизнь демонстрациями с возгласами вроде «Ату ее» [1]).

Среди петербургских большевиков господствовало именно то настроение, против которого предупреждал партию П. А. «Волна» с первого № старалась развенчать, дискредитировать Думу. И это правилось рабочим. У них со времени выборов осталось представление: «За Думу — значит против нас. За нас — значит против Думы».

Должен признаться, что и я был всецело во власти этих настроений.

На третий или на четвертый день после открытия Государственной Думы, я зашел в редакцию «Волны». Душой редакции был Н. Ленин, не только руководивший газетой, но и писавший в ней почти все ответственные статьи. Кроме него, в газете работали И. Гольденберг, П. Румянцев, Орловский, Ольминский, Алексинский, Бонч-Бруевич и др. Я тоже числился ближайшим сотрудником, но писал мало, так как был завален практической работой.

И на этот раз я пришел без статьи, — просто, чтоб поговорить с товарищами, узнать новости.

Когда я вошел в «святая святых» редакции, в тщательно огражденный от внешнего мира редакторский кабинет, Ленин упрекнул меня за то, что я ничего не даю в газету. Я ответил, что слишком занят Советом Безработных, а к тому же не знаю о чем писать. Тогда Ленин предложил:

— Пишите о Государственной Думе. Берите отчет последнего заседания и жарьте!

[1]) См. протоколы, стр. 233.

Я взял отчет. Но там не было ничего, кроме выборов президиума: прения о способе намечания кандидатов и баллотировки, а затем самая процедура выборов. Процедура оказалась сложной: сперва намечались записками кандидаты, затем шла баллотировка шарами.

Писать тут было решительно не о чем. Но мне поведение кадетов показалось возмутительным: как смеют они заниматься какими то баллотировками, когда еще не об'явлена амнистия, не разрешен ни один из «проклятых вопросов» русской жизни! И тут же, в редакции, я набросал небольшую статейку, в которой высмеивал кадетов за то, что, очутившись в Государственной Думе, они занимаются подачей записок да катанием шариков.

Написал и подал листки Ленину. Тому статья понравилась, и он положил резолюцию:

— Пойдет.

Но И. Гольденберг заинтересовался названием статьи («Шарами или записками») и пожелал просмотреть ее. Ознакомившись с рукописью, он сказал мне:

— Помилуйте, товарищ Петров, чего вы к кадетам придпрастесь? Ведь будь мы в большинстве, нам пришлось бы точно так же выбирать президиум, и споров у нас было бы еще больше! Кадетов ругать нужно, но подождите, чтоб они дали повод...

Я согласился с этим и взял обратно рукопись. Но Ленин остался недоволен.

— Жаль, сказал он, статейка хорошая. А кадетов сколько мы ни будем ругать, все мало.

Тут в дело вмешался Румянцев и стал просить мою статью для «Вестника Жизни». Я не хотел печатать ее. Но Румянцев настаивал, Ленин поддержал его, — и я уступил. Так эта статейка, вместо того, чтоб попасть в корзину, очутилась в № 5 «Вестника Жизни».

* * *

В связи с открытием Государственной Думы, обозначился в России общественный под'ем.

Выступила на сцену трудовая группа. Появление ее сразу увеличило вес Государственной Думы, окрылило связанные с ней надежды.

И в рабочих кругах началось оживление. Прошло оцепенение, навеянное декабрьским поражением. Теперь рабочие охотно шли на собрания, приглашали к себе на заводы и фабрики партийных агитаторов. Рабочие митинги проходили с под'емом, заставлявшим вспоминать о лучших днях 1905 года.

Этот под'ем сказался в день 1-го мая.

Кажется, никогда этот день не праздновался петербургским пролетариатом так дружно, как в 1906 году. Бастовали почти все крупные заводы и фабрики, большая часть типографий, много ремесленных мастерских; была закрыта часть магазинов. Были и митинги, и манифестации с красными знаменами и революционными песнями. Настроение рабочей толпы было праздничное, ликующее. Контраст с унынием, которое еще так недавно царило в заводских районах, бросался в глаза.

Новинкой дня были выступления на заводских митингах депутатов - крестьян и рабочих. Их встречали восторженно.

День ознаменовался многочисленными столкновениями с полицией и казаками. Были избитые. Но до стрельбы дело не доходило...

В этой обстановке общего под'ема и оживившегося рабочего движения начинала работу первая Государственная Дума.

* * *

Перед открытием Думы, депутаты были приглашены в Зимний дворец, где Николай II обратился к ним с краткой речью. Дума решила ответить на тронную речь адресом.

Это решение начать работу с верноподданической манифестации, было принято единогласно и без прений — ни в ком из депутатов оно не вызвало ни возражений, ни сомнений.

Но когда комиссия, избранная для составления ответного адреса, закончила свою работу и представила свой проект на утверждение Думы, проект этот был встречен в левых кругах резкой критикой.

Наибольшее раздражение вызвало отсутствие упоминания о всеобщем, равном, прямом и тайном избирательном праве. Затем, было отмечено, что адрес уделяет мало внимания рабочему вопросу, что вопрос о земле изложен в чересчур общих выражениях, так что остается неизвестно, должны ли крестьяне получить землю бесплатно или за выкуп. Все эти упущения были поняты, как уступки кадетов крайним правым.

Меньшевистская «Невская Газета» писала:

«На выборах кадеты искали союза с массой против октябристов и правительства. Теперь они заключают союз с октябристами, а завтра заключат с правительством против народных масс».

Большевистская печать выступила еще резче.

Казалось бы, допущенное в проекте адреса умолчание о том, что требуемое Думой всеобщее избирательное право должно быть прямым и равным, не давало оснований для столь суровой критики, тем более, что докладчик думской комиссии Набоков заявил, что его партия обязуется в ближайшем времени внести в Думу проект о всеобщем, равном избирательном праве.

Казалось бы с другой стороны, что думское большинство могло бы найти в этом вопросе такую формулировку, которая удовлетворила бы левые круги или хотя бы смягчила их оппозицию проекту адреса. Но ни малейших шагов в этом направлении кадеты не сделали.

Как резкость левых, так и неуступчивость кадетов об'яснялась, повидимому тем, что весь адрес, в целом, независимо от его частностей, был неприемлем для демократии, и улучшить его в этом отношении не могли никакие частные поправки. В самом деле, весь адрес, с первой строчки до последней, был проникнут монархическим настроением; ко всем вопросам он подходил с точки зрения упрочения царской власти.

«Главною язвою нашей государственной жизни, говорилось в адресе, является самовластие чиновников, отделяющих царя от народа»...

«Позор бессудных казней, погромов, расстрелов, заточений» вызван после 17 октября теми, «кто преграждал народу путь к царю»...

«Только перенесение ответственности перед народом на министерство может укоренить в умах мысль о полной безответственности монарха»...

«Только единение монарха с народом является источником законодательной власти»...

Это была основа думского адреса, в этой монархической декларации была вся суть первого выступления Государственной Думы. Политически беспомощная, трудовая группа не разобрала этого и, во имя единения оппозиции, присоединила свои голоса к адресу[1]). Но вне Думы народные массы, в частности, рабочие, инстинктом почувствовали смысл этого выступления, — и отсюда поднявшаяся волна возмущения против Думы в тот самый момент, когда Дума торжествовала достигнутое внутри нее единение.

Отмечу еще, что речи кадетских ораторов, защищавших в Думе проект ответного адреса, давали все основания говорить о том, что в борьбе между народом и царским само-

[1]) Напомню, что «трудовая группа» представляла собой об'единение депутатов-крестьян всевозможных политических взглядов. В нее входили: 2 социалиста-роволюционера, 10 социал-демократов, 9 членов крестьянского союза, 7 социалистов вне партии, 1 радикал, 2 «свободомыслящих», 18 ч. «левее кадетов», 8 «автономистов», 21 беспартийный и 27 чел., которые никак не могли определить свои взгляды.

державием думское большинство становится на сторону царизма.

Вот, например, что говорил депутат Щепкин:

«Чтобы выяснить наши отношения к старому бюрократическому строю и революционному движению, позволю себе закончить мою речь сравнением. Перед нами старая запруда и ветхая плотина, в которую изо дня в день бьют волны прибывающей реки, и не нынче завтра они пойдут через плотину, прорвут и размоют ее. Тут же старые сторожа, которые не верят дожить до прорыва плотины и пытаются изо дня в день укреплять ее мусором, тут же какие-то шаловливые руки приподымают то одно, то другое творило и любуются теми глыбами воды, которые падают в желоб и, обгоняя друг друга, бегут в тихий омут. Это революционеры, предвкушающие прорыв всей запруды. Мы не способны, как революционеры, любоваться водопадами из мертвых тел и гибнущих жизней, но и не верим, как бюрократы, чтобы эту ветхую плотину можно было починить старым мусором. Мы хотим поставить мельничное колесо под запрудой, но если запруда не устоит перед силой воды, которая напирает на нее, если волны пойдут через плотину, прорвут ее и размоют вместе с дряхлыми сторожами и их старым мусором, то мы тогда по совести в праве сказать властителю земли: «Государь, мы предупреждали!»[1]).

Кадетскому оратору и аплодировавшему ему думскому большинству не приходило в голову, что народный поток должен, вместе со «старыми сторожами» и «ветхим мусором», смести и «властителя земли»...

Утром 5-го мая, после продолжавшегося всю ночь заседания, Дума приняла окончательный текст ответного адреса, приняла его единогласно, — лишь 7 человек крайних правых, во главе с графом Гейденом, перед голосованием покинули зал заседания.

[1]) См. «Стенографические отчеты» за 1906 г., т. I, стр. 95, Курсив мой.

Позже 15 депутатов-рабочих письмом в газеты заявили, что и они «от участия в голосовании воздержались и не хотели только устроить из своего отказа демонстрации, чтоб не смешиваться с группой гр. Гейдена». Но это было не совсем точно: в действительности, окончательное голосование производилось вставанием — «кто отвечает утвердительно, остается сидеть, кто отвечает отрицательно, встает» — и так как рабочие депутаты при этом остались сидеть, то значит, — разумеется, против собственного желания, — они голосовали за адрес, и лишь после заседания спохватились, что этим самым они голосовали за монархию.

Задача «об'единения оппозиции» внутри Думы была, таким образом, разрешена успешно. Но вне Думы не только среди рабочих, но и в демократических обывательских кругах вспыхнуло резкое неудовольствие против думского большинства. Маятник общественных настроений качнулся влево, — далеко, далеко влево от Думы.

* * *

В это время в Петербурге началась полоса публичных собраний и митингов. Устраивались они разными партиями. С одной стороны, кадеты, чтобы сохранить связь с петербургскими избирателями, хотели об'ясниться по поводу своей тактики. С другой стороны, трудовики, став центром общего внимания, стремились сблизиться с гражданами Петербурга. Наконец, и с.-д. партия считала необходимым вынести на публичные собрания то, что она имела сказать по поводу первых шагов Государственной Думы.

Начались собрания, кажется, в тот самый день, когда Дума приняла текст ответного адреса. С первого же собрания выяснилось, что тема о Государственной Думе в представлении левых кругов тожественна с темой об из-

мене партии Народной Свободы. Кадетов ругали и большевики, и меньшевики, и даже трудовики, которые при выработке адреса держались не многим более радикально, чем представители думского центра. Ораторов партии Народной Свободы встречали свистками и враждебными возгласами, порой даже не давали им говорить.

Наиболее многолюдным было собрание в народном доме гр. Паниной, созванное 9-го мая трудовиками и социал-демократами. Огромный зал был переполнен. В толпе преобладали рабочие. После доклада В. Водовозова, говорившего о необходимости путем давления на Государственную Думу обеспечить руководящую роль в ней за «трудовой группой», выступали преставители социал-демократов.

Под именем Берсенева говорил Ф. Дан. Он говорил об об'единительном с'езде, об его решении образовать в Государственной Думе с.-д. группу, о необходимости установить связь между этой группой и широкими рабочими массами. Когда он кончил, на трибуну поднялся следующий оратор. Часть собрания встретила его бешеными аплодисментами, но большинство смотрело на аплодировавших с недоумением, не понимая, что означают эти овации по адресу никому неведомого «г. Карпова».

После некоторых замечаний о работе к.-д. в Государственной Думе, оратор перешел к тактике с.-д. партии. «Резолюция с'езда относительно Думы, говорил он, далеко не исчерпывает вопроса, многое в ней не досказано, а то, что в ней есть, не всегда правильно. Мы подчиняемся с'езду и будем проводить его резолюцию, но мы расширим ее, наполним ее революционным содержанием».

И далее, при возраставшем энтузиазме собрания, оратор отстаивал «старый, испытанный путь революции»: «Не поддерживать Думу, не давить на нее мы должны, а вне ее накапливать свои силы для решительного последнего боя с самодержавием».

Это был Ленин. Речь его имела огромный успех. В ней сосредоточился интерес митинга. Выступавших после него ораторов слушали неохотно. Депутата-кадета не хотели слушать вовсе и прерывали криками «долой».

В заключение, собрание приняло единогласно предложенную Лениным резолюцию. Это была чисто большевистская резолюция, а между тем за нее голосовали и меньшевики, и трудовики, которых немало было в собрании: настолько преобладало в этот момент большевистское настроение в демократических кругах Петербурга!

К этому времени уже выяснилось, что думскому большинству не удастся «уговорить» царя и соблазнить его преимуществами, которые представляет для него конституционно-парламентский строй. Николай II не принял думской депутации с адресом. Это был для кадетов тяжелый удар. И нужно признаться, что внутренно мы торжествовали по поводу полученного ими афронта.

Полемика между левыми и думским большинством становилась день ото дня более резкой. Настроение массы населения — в особенности, рабочих — было таково, что в то время можно было бы без труда устроить демонстрацию против Государственной Думы, но соединенных усилий всех партий не хватило бы, чтобы вызвать выступление в поддержку Думы, — хотя бы в роде манифестации 27 апреля.

Кадетская печать заговорила о том, что полиция умышленно предоставляет революционерам возможность критиковать Государственную Думу, дабы при помощи левых дискредитировать Думу в глазах народа. Основывалось это утверждение, насколько помню, на том, что какой-то пристав запретил собрание, созванное кадетами, в то время, как в соседней части города беспрепятственно происходили собрания, устраиваемые левыми группами.

Закипел спор о том, кто помогает полиции, кто занимается провокацией, либералы или революционеры. В этом споре весьма неудачную позицию заняли некоторые меньшевики, поддерживавшие в печати утверждение, будто по-

лиция намеренно потакает большевистским нападкам на партию Народной Свободы.

Итак, от «единства оппозиции», столь дорогого кадетам и лидерам трудовиков, не осталось и следа. И едва ли можно было возлагать всю ответственность за это на большевиков. Ибо настроения общества определялись в это время не большевистской агитацией, а тактикой думского большинства: не отвернись Дума в своем «ответном адресе» от народа, народ не отвернулся бы от нее в те дни, когда большинство ее с тревогой ожидало результатов своего первого выступления.

* * *

13 мая поднялся на думскую трибуну Горемыкин. Адресу Государственной Думы он высокомерно противопоставил правительственную программу: никаких перемен! ни амнистии, ни свободы, ни земли крестьянам!

Кадетская партия, вся тактика которой была построена на ожидании уступок сверху, оказалась в тупике.

Прозвучали бессильно слова Набокова: «Исполнительная власть да подчинится власти законодательной!»

Еще более беспомощно было обращение Родичева к министрам: «Совесть ваша должна вам указать, что нужно сделать — уйти и уступить место другим».

Больше думскому большинству нечего было сказать, и потому — на короткий миг — инициатива перешла в руки трудовой группы, и именно левых ее элементов.

Если в декларации Горемыкина нетрудно было прочесть между строк угрозу разогнать Государственную Думу, то в речах левых депутатов звучали в этот день прямые угрозы революцией.

В результате прений, Дума, большинством всех, против 11 голосов, приняла предложенную трудовиками формулу перехода к очередным делам, заканчивавшуюся требованием «немедленного удаления настоящего министерства

и замены его министерством, пользующимся доверием Государственной Думы».

Лишь только стало известно об этой формуле перехода, сразу смолкли в массах населения, в частности, в рабочих кварталах, нарекания против Государственной Думы, проснулись надежды на заседавших в Таврическом дворце народных представителей.

Полиция закрыла социалистические газеты, запретила собрания. Но на заводах собирались многотысячные митинги, принимались резолюции, призывавшие Думу бороться за созыв Всенародного Учредительного Собрания, обещавшие ей поддержку народа в этой борьбе.

* * *

На другой день после выступления Горемыкина, Государственная Дума была в демократических кругах Петербурга на вершине популярности. Она становилась центром собирания народных сил.

Но как быстро рассеялась эта популярность! Два месяца спустя, когда реакция решила покончить с Государственной Думой, ни одна рука не поднялась на защиту ее, и вокруг Таврического дворца оказалась пустота общего равнодушия...

Декларация Горемыкина и формула перехода, принятая Думой, ознаменовали начало открытой войны между правительством и народными представителями. С этого дня задачей Думы стало — добиться отставки министерства Горемыкина, а задачей правительства — подготовить условия для разгона Думы.

Правительство действовало решительно.

Союзу Русского Народа дан был лозунг — требовать роспуска Думы, и со всех концов России полетели в Петербург соответствующие всеподданнейшие ходатайства. Правые газеты и «Правительственный Вестник» изо дня в

день печатали телеграммы, переполненные ругательств и угроз по адресу Государственной Думы.

В казармах офицеры внушали солдатам, что Государственная Дума — сборище жидов и крамольников. В церквах произносились проповеди на ту же тему.

Черносотенная погромная агитация усилилась до небывалой степени, — и в первых числах июня сказались плоды ее в виде белостокского погрома.

Поход против Думы велся и с другой стороны. Администрация принимала меры против установления общения между депутатами и народными массами: запрещали сельским обществам выносить приговоры о поддержке Думы; арестовывали отправлявшихся в Петербург крестьян-ходоков; перехватывали посылаемые в Государственную Думу телеграммы.

В то же время правительство всячески старалось дискредитировать Думу в глазах населения: министры демонстрировали свое презрение к народному представительству; Горемыкин открыто заявлял, что треть Думы просится на виселицу...

Дума же в своей борьбе за отставку правительства и за замену его ответственным министерством была связана по рукам и по ногам своим пониманием стоявшей перед нею задачи.

Для думского большинства эта задача заключалась в том, чтобы доказать ц а р ю, что назначенные им министры не справляются со своим делом, — вооружают против себя общественное мнение и подрывают в народе преданность и уважение к верховной власти.

Одним из наиболее действительных средств для этого было пред'явление министерству з а п р о с о в.

Кажется, первоначально партия Народной Свободы пыталась внести в эту кампанию известный порядок. Но вскоре лавиной хлынули в Думу телеграммы, письма, ходатайства. Каждый депутат выносил на думскую трибуну жалобы своих избирателей. Груда запросов росла неудержимо, и уже не было возможности отличить в этой груде важное от второстепенного. Чаще всего дело касалось арестов, высылок, избиений, смертных приговоров и смертных казней.

Этой стороной своей деятельности Дума становилась защитницей обывателя в его вечной войне с начальством. Невидимые нити протягивались между Таврическим дворцом и страной. Правительству необходимо было не дать этим нитям окрепнуть: нужно было показать обывателю, что Дума ничем не может помочь ему, что обращение к ней не только бесполезно, но и опасно. Отсюда усвоенная министерством тактика: либо не отвечать вовсе на думские запросы, либо отвечать в вызывающем тоне. Отсюда также систематическое приведение в исполнение смертных приговоров, приостановки которых требовала Государственная Дума. Эти судебные убийства вызывали возмущение в стенах Таврического дворца, и именно они дали впервые повод бурным манифестациям против министров.

Представителей правительства встречали криками: «Палачи! Убийцы! В отставку!» Порой эти манифестации принимали характер обструкций, — министрам не давали говорить, сгоняли их с трибуны криками и стуком, выгоняли вон из зала заседаний. Этот способ борьбы применялся, главным образом, депутатами - крестьянами.

Наиболее острым моментом э т о й борьбы явился запрос по поводу избиения полицией депутата трудовика Седельникова. При обсуждении этого запроса Аладьин говорил:

«Если дотронутся до одного из наших товарищей депутатов или, паче чаяния, он будет убит, пусть ни один министр не является сюда! Мы слагаем с себя ответственность за их неприкосновенность! Не забывайте, что это мы, и только мы, сдерживаем революцию... Уже наступило время, когда оружие армии склоняется перед народными представителями... Нас раздавить, конечно, ничего не стоит... Но за то всем, кто только причастен к министер-

ству, если мы падем, русский народ не позволит, чтобы они жили после нас!» [1]).

Подобные речи, разносясь по стране, будили сочувственное эхо. И как сильно могло бы стать это эхо, еслибы борьба против министерства Горемыкина не велась думским большинством под флагом верноподданнейшей преданности царю!

Но вот, как формулировал Родичев отношение партии Народной Свободы к принципу ответственности министров:

«Государь не может делать зла. Зло и несправедливость, совершаемые от его имени, исходят не от него. Когда нам здесь говорят: «не касайтесь того, что совершается по высочайшему повелению», нас приглашают к чему? Нас приглашают признать, что вся эта кровь, которая пролита в России ... пролита по высочайшему повелению, — никогда!» [2]).

Требование ответственного министерства обосновывалось не принципом суверенитета народа, а необходимостью ограждения безответственности монарха. Безнадежное дело в той исторической обстановке, в которой действовала первая Государственная Дума!

И по мере того, как выяснялось, что думское большинство твердо решило не сходить с этой почвы в своей борьбе с министерством, — выцветали и блекли надежды демократических слоев населения на Государственную Думу. На смену «иллюзиям» приходили антидумские, бойкотистские настроения.

* * *

Законодательная деятельность первой Государственной Думы тоже расхолаживала симпатии к ней народных масс.

[1]) «Стенографические отчеты», том II, стр. 1573.

[2]) Стенографический отчет отмечает, что Дума приветствовала это «никогда» «оглушительными аплодисментами». См т. II, стр. 964.

Думское большинство, как бы чувствовало себя на экзамене государственной зрелости, при чем больше всего боялось провалиться по части конституционно-монархической лойяльности.

Лишь вопрос о смертной казни кадеты поставили так, что левые и в Думе, и вне Думы, без колебаний и без оговорок, присоединились к ним. Все другие вопросы вызывали в Думе столкновения, которые получали свое отражение в печати, и со столбцов газет переходили на улицу, в толпу, законников, заседающих в Таврическом дворце.

Такую роль сыграл, между прочим, кадетский законопроект о свободе печати, в первоначальной редакции которого предусматривались за преступления по делам печати кары вплоть до восьми лет каторжных работ[1]). Для большевиков этот документ был сущей находкой — в смысле «разоблачения» партии Народной Свободы. И даже меньшевистский «Курьер», который, вообще говоря, прилагал все усилия к тому, чтобы привлечь рабочие массы к поддержке Думы, характеризовал этот законопроект, как «преступление, без нужды дискредитирующее Думу, подрывающее доверие и уважение к ней» [2]).

То же, но еще в более резкой форме, повторилось при обсуждении в Государственной Думе законопроекта о свободе собраний. Запрещение собраний в расстоянии меньше одной версты от пребывания царя и Государственной Думы, — а также на полотне железной дороги, на площадях и на улицах — давало основания утверждать, что вырабатываемый в Думе закон направлен **против** рабочих, что Дума **боится** народа, прячется от него за частокол штыков.

Но в центре законодательной работы первой Государственной Думы стоял аграрный вопрос. И в этом вопросе с

[1]) Этот первоначальный проект был оглашен в к.-д. печати, но не был внесен в Думу. Критика левых побудила партию Народной Свободы внести в него значительныя изменения.

[2]) «Курьер» № 8.

особенной настойчивостью партия Народной Свободы проводила свою линию.

В основе аграрной программы конституционалистов-демократов, как известно, лежала идея «обязательного отчуждения за счет государства, в потребных размерах, частновладельческих земель, с вознаграждением нынешних владельцев по справедливой оценке». Задуманная, как компромисс между традиционным взглядом крестьянства на землю и соображениями о сохранении производительных сил сельского хозяйства, связанных с существованием культурного помещичьего класса, эта программа должна была испытать участь многих компромиссов, пытающихся примирять непримиримые противоречия и гибнущих под ударами справа и слева.

Кадетскому плану трудовая группа противопоставила свой проект, построенный на принципе уравнительного землепользования (записка 104 членов Государственной Думы). В этом проекте было много спорного, но в одном отношении он имел неизмеримое преимущество перед предложениями партии Народной Свободы, — он не только выдвигал определенную схему решения аграрного вопроса, но и стремился создать силы для проведения этой схемы в жизнь. Трудовики шли к этой цели, требуя создания губернских, уездных и волостных комитетов, избираемых посредством всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, «задачею которых будет подготовить на местах все необходимые практические данные для проведения будущей земельной реформы и ее приспособления к местным условиям, а также принять участие в обсуждении внесенных в Думу проектов земельной реформы».

Но Дума не только не приняла предложения трудовиков, — она уклонилась даже от обсуждения его. Практической мере, организующей силы крестьянства для действительного разрешения земельного вопроса, думское большинство предпочитало речи с думской трибуны. И трудовики дали увлечь себя на этот путь: их ораторы без конца го-

ворили о земле, а проект о земельных комитетах оставался без движения.

И какой вопрос ни вставал перед Думой в ходе ее законодательной работы, каждый раз повторялась та же картина: думское большинство не боялось решений, которые отталкивали от него народные массы, но как огня, боялось шагов, которые способствовали бы организации революционных сил, их действенному сплочению вокруг Государственной Думы.

* * *

Итак речи, раздававшиеся с думской трибуны и борьба Думы с правительством, революционизировали настроения народных масс, но в то же время тактика думского большинства отталкивала эти массы от Думы, лишала их организующего центра, вела к бесплодному их распылению. Почему же крайняя левая Думы в эти дни не приняла на себя ту задачу собирания революционных сил, от которой отвернулось думское большинство? Ответ на этот вопрос — в слабости крайнего левого фланга первой Думы.

Здесь было 15 человек рабочих. Все они первоначально вошли в трудовую группу. Но вместе с тем, помня твердо, что они рабочие и что им нужно придерживаться рабочей партии и рабочей программы, они, немедленно по приезде в Петербург, вступили в сношения с с.-д. партией, а именно с меньшевиками.

Нечего говорить, что к парламентской работе депутаты-рабочие были абсолютно не подготовлены. Они и программу Р. С.-Д. Р. П. знали нетвердо, а о тактике партии не имели даже смутного представления. Но повторяя с думской трибуны требование, чтобы «все было по программе социал-демократической партии, которую весь русский пролетариат знает», они готовы были поставить свои подписи под любым документом, составленным Центральным Комитетом. Поэтому

печатные их выступления были проникнуты определенной политической мыслью, а устные выступления в Думе были из рук вон слабы.

18-го мая депутаты-рабочие выпустили обращение «ко всем рабочим России». В нем раз'яснялся смысл конфликта, происшедшего между Государственной Думой и правительством, при чем депутаты призывали рабочих готовиться поддержать Думу, предупреждали их не поддаваться на провокацию, и вместе с тем предлагали им высказаться о положении посредством «постановлений и приговоров на сходках и собраниях».

Это обращение нашло сочувственный отклик в рабочих массах.

Появилось оно в то время, когда неприятный осадок от верноподданнического ответного адреса уже рассеялся, когда перед глазами у всех был острый конфликт Думы с правительством, и когда настроение рабочих было в пользу Думы. Со всех концов России в рабочую группу хлынул поток резолюций, писем, телеграмм.

Большевики не были в восторге от такого успеха обращения рабочей группы, так как опасались усиления в рабочих массах «конституционных иллюзий» и меньшевистского влияния. Но выступать открыто против рабочих депутатов организация не могла, и потому большевистская печать заняла по отношению к ним позицию, которую можно было бы определить, как выжидательный нейтралитет.

* * *

В июне в Таврическом дворце появились кавказские депутаты Ной Жордания, Исидор Рамишвили и др. Опираясь на них, Центральный Комитет образовал в Думе фракцию Р. С.-Д. Р. Партии.

«Новое Время» писало: «Несчастием — прямо роковым — явился приезд кавказских депутатов. Дума именно с их приездом точно сорвалась с цепи».

Это было преувеличение. Но в Думе, действительно, начался новый процесс: между кучкой социал-демократов и к.-д. фракцией закипела борьба за влияние на депутатов-крестьян.

Оставаться в стороне от этой борьбы большевики не хотели. С другой стороны, меньшевики не выражали намерения поделить с кем бы то ни было руководство фракцией.

Положение большевиков казалось безнадежным: все кавказские депутаты принадлежали к меньшевистскому течению; кроме того, фракция, по своему уставу, должна была подчиняться Центральному Комитету партии, где царили меньшевики. Но это не смутило руководителей большевизма. Они перенесли спор на улицу, на заводы.

16 июня с.-д. фракция огласила в Думе свою декларацию.

Эта декларация, написанная П. Б. Аксельродом, была проникнута идеей использования Государственной Думы для организации общенародного революционного движения.

Еще при обсуждении во фракции проекта декларации большевики противопоставили тексту Аксельрода свой проект, построенный на идее борьбы с конституционными иллюзиями, на противопоставлении пути восстания конституционному строительству и на оценке Думы, как помехи на пути революции. Но фракция этот проект отклонила. Тогда большевики, в первом номере своей новой газеты «Эхо», напечатали полностью свой проект с призывом ко всем организациям и членам партии сравнить этот проект с текстом, оглашенным в Думе.

У меня сохранилось отчетливое воспоминание, что это выступление произвело на рабочие массы Петербурга и, в частности, на партийные круги сильное впечатление. За большевистской концепцией задач фракции были преимущества революционной прямолинейности. К тому же, все поведение думского большинства укрепляло в рабочих массах

антидумские настроения, и это было водой на большевистскую мельницу.

В это время был в полном разгаре конфликт между Центральным Комитетом с.-д. партии и ее Петербургским Комитетом.

* * *

Ближайшим поводом для этого конфликта явился вопрос об отношении к требованию думского министерства.

Вскоре после того, как Горемыкин прочел в Думе свою декларацию и Дума ответила ему известной формулой перехода к очередным делам, Ц. К. выработал проект резолюции и предложил всем партийным организациям проводить ее на партийных митингах и собраниях.

В этой резолюции Государственной Думе обещалась поддержка во всех ее шагах, «направленных к низвержению нынешнего министерства и к замене его министерством, назначенным Думой».

Когда этот проект поступил в П. К., большевики восстали против него, — формально, как против нарушения Центральным Комитетом прав местной организации[1]), а по существу, как против попытки втянуть партию в русло либеральной, кадетской политики.

После страстных споров Петербургский Комитет, большинством 12 голосов против 9, решил резолюции Ц. К. не проводить, а вместо нее предлагать рабочим свою резолюцию, в которой говорилось:

«... Дума бессильна. Она бессильна не только потому, что в ее распоряжении нет штыков и пулеметов..., но также и потому, что в своем целом она нереволюционна и неспособна к решительной борьбе»... Меньшевики отказались проводить эту резолюцию. Получился открытый раскол организации. Для разрешения спора было постановлено созвать междурайонную конференцию, а в ожидании ее началась на петербургских фабриках и заводах борьба между обеими резолюциями.

[1]) Ссылались на то, что Центральный Комитет не имеет права навязывать местным организациям готовый текст резолюции для митингов, но может лишь давать директивы об общем направлении кампании.

В ходе этой борьбы тактика, отстаиваемая меньшевиками, получила обозначение «поддержки кадетского министерства»[1]). Большевики ставили вопрос ребром:

— Товарищи рабочие! Хотите вы поддерживать кадетское министерство или не хотите?

Рабочие отвечали:

— Не хотим!

Что касается меньшевиков, то они старались вести борьбу не на принципиальном, а на формальном вопросе:

— Большевики разрушают единство партии. Петербургский Комитет не имеет права выступать против общего плана кампании, намеченного Центральным Комитетом.

Дискуссии велись беспорядочно. Во многих кружках рабочие отказывались голосовать по платформам.

В № 1 «Эхо» приведены цифры, характеризующие настроения партийных рабочих в ходе этого спора: опрошено было 4.143 чел., из них за резолюцию П. К. голосовало 1.760 за резолюцию Ц. К. —.952, а 1.431 выбирали своих представителей без платформы.

Конференция собралась в Финляндии (кажется, в Териоках), в середине июня. Присутствовало человек 80, в

[1]) Обозначение неточное, ибо речь шла не о поддержке того или иного министерства, а о борьбе за новый способ назначения правительства, за подчинение его Думе, а не придворной камарильи. Поддерживая это требование, рабочая партия ни мало не обязывалась поддерживать будущее правительство, составленное думским большинством. Справедливость требует признать, что петербургские меньшевики не сумели как следует об'яснить это различие рабочим. Меньшевистское агитаторы, по большей части, предпочитали оперировать доводом: «Министерство Милюкова все же лучше, чем министерство Горемыкина». Большевики отвечали: «Все один чорт», — и этот аргумент имел для рабочих все преимущества простоты.

том числе 71 ч. с решающим голосом. Я участвовал в конференции с мандатом от приказчиков. Докладчиками должны были выступить Ленин — от большевиков, Дан — от меньшевиков.

С самого начала заседания было ясно, что стороны не расчитывают ни переубедить друг друга, ни столковаться. Завязался спор о порядке дня. Большевики требовали, чтобы в первую очередь был поставлен вопрос о тактике по отношению к Государственной Думе, а затем соглашались обсудить вопрос о партийном единстве. Меньшевики настаивали, чтобы первым шел вопрос об единстве партии и о партийной дисциплине, а вопрос о Думе предлагали поставить вторым.

Ленин и Дан поочередно брали слово.

— Ведь это смешно! доказывал Ленин: Мы с вами, товарищи меньшевики, и о позиции вашего Ц. К. поговорим. Очень охотно поговорим. Но сперва дайте нам ответить на вопрос, для решения которого товарищи рабочие выбрали нас.

— Для того, чтобы решать тактические вопросы, возражал ему Дан, мы должны, прежде всего, знать, существует ли у нас партия или нет.

Спор тянулся часа три. Рабочим членам конференции он уже давно надоел, но лидеры твердо стояли на своем: от того, в каком порядке будут обсуждаться вопросы, зависит исход конференции, твердили они.

Победа осталась за большевиками: при голосовании порядка дня — это было уже под вечер — 42 голоса было подано за то, чтобы начать с вопроса о тактике по отношению к Думе, и 29 за то, чтобы сперва обсудить вопрос об единстве партии.

Перешли к вопросу о тактике. Представитель Ц. К., в виду того, что конференция отказалась обсудить предварительно вопрос о партиной дисциплине, отказался от доклада. Единственным докладчиком оказался Ленин.

В прениях принял, между прочим, участие присутствовавший на конференции Рамишвили. Он старался ни с кем не ссориться, со всеми сохранить добрые отношения. И не было возможности разобрать, на какой он стороне в споре между большевиками и меньшевиками.

За поздним временем заседание пришлось прервать. Если память не обманывает меня, переночевали мы кое как, вповалку, в том самом доме, где заседала конференция, и возобновили прения с утра следующего дня. Но меньшевиков на заседании уже не было.

Когда дело дошло до окончательного голосования, на лицо оказалось всего 47 делегатов с решающим голосом. 37-ю голосами, при 10 воздержавшихся, была принята резолюция:

«1) подвердить резолюции II. К. об отношении к Государственной Думе и о поддержке требования ответственного думского министерства;

«2) образовать немедленно регулярные совещания парламентской социал-демократической фракции с представителями социал-демократического пролетариата в Петербурге;

«3) поставить на очередь вопрос об организации таких же совещаний парламентской с.-д. фракции с представителями фабрик и заводов, в целях расширения влияния социал-демократии на массы и в целях давления пролетариата на Государственную Думу.»

Последними двумя пунктами резолюции большевики, как будто, приняли по отношению к с.-д. фракции план Ц. К. Но, само собой разумеется, они собирались проводить этот план по-своему.

Окрыленные одержанной победой они с удвоенной энергией повели наступление против последней твердыни Ц. К., против думской фракции, стремясь, при поддержке петербургских рабочих, вырвать из рук меньшевиков думское представительство партии.

* * *

Еще до образования с.-д. фракции, рабочие депутаты охотно посещали петербургские заводы и выступали на митингах. При этом меньше всего думали они о том, чтобы привить рабочим определенные тактические взгляды: да и могли ли они ставить себе подобную задачу, когда по уровню своего развития сами они мало отличались от рабочей массы и никакой определенной тактики не имели?

Они могли повторять:

— Организуйтесь, товарищи! Не поддавайтесь на провокацию! Будьте готовы к решительной борьбе!

Но им было не под силу уяснить свое отношение к двум течениям, которые боролись в с.-д. партии. Впрочем, они и не хотели вмешиваться в эту борьбу, так как в сознании их прочно сидело, что споры — это деле партийной интеллигенции, а рабочие должны быть «все вместях».

Во фракции они послушно шли за меньшевиками, потому что те первые взяли их в руки и имели за собой авторитет Центрального Комитета. Но на думской трибуне они то и дело сбивались самым неожиданным образом, а на митингах и подавно.

И все же рабочие полюбили своих депутатов. Сказывались ли здесь ненавистные нам «конституционные иллюзии» или иные причины, но депутаты, говорившие довольно нескладно о самых обыкновенных вещах, встречали на заводских митингах лучший прием, чем наиболее популярные партийные агитаторы.

Первым завоевал симпатии петербургских рабочих Михайльченко.

Я уже упоминал об его выступлении перед толпой в день открытия Государственной Думы. В мае и в июне мне пришлось много раз встречаться с ним на рабочих собраниях. Он всегда был один и тот же. Гладкие волосы, острая бородка клинушком. В живых маленьких глазах наивная хитреца: «Вы на меня не смотрите, что я такой . . . может, я и сам с усам». В нем чувствовался рабочий, преданный рабочему делу, ненавидящий и даже слегка презирающий всех «паразитов трудящихся масс», рабочий, гордый тем, что он «сознательный пролетарий».

Он охотно говорил о себе:

— Я, товарищи, как все вы, борец за народное дело: у меня голова пробита и два ребра сломаны.

Рассказывал о Думе, жаловался на думское большинство, на кадетов:

— Нас, рабочих, там малая кучка. Никуда господа-кадети нас не пущают, на все у них правила, повсюду рогатки понаставлены. Того не трогай, этого не говори. Хоть самого Николку взять . . . Нам бы, рабочим, его прямо за рога . . . А кадеты: нельзя, говорят, за рога — это прерогатив.

Но охотнее всего Михайльченко говорил о высочайшем приеме 27-го апреля.

— Приехали мы во дворец. Прямо палаты. Ковры повсюду, статуи, картины. Мужикам, однако, не понравилось, что люди голышом написаны, как в бане. Один старик все спрашивал: «Неужто это царь среди такой срамоты живет?» Повели нас, поставили. А кругом министры, генералы. Мундиры все в золоте, в звездах. А есть там, товарищи, и такие: мало ему, что все пузо золотом выложил, он и по заду золото пустил и звезд понавешал. Ей Богу, не вру! Мы и то считали: кабы с одного такого золото облупить, трем деревням на год хватило бы. Опять не одобряли мужики, что женщины ихние раздетые, — снизу в юпке, а кофты нет, все видно. Один деревенский все не верил, думал, что кофта на ней надета, да только под цвет сделана, так что глазом не видать; все норовил пальцем тронуть. А она от него: «Отстань, говорит, сиволапый, не подходи». А потом царь к нам вышел. Такой, скажу вам, товарищи, скверный царь у нас, — смотреть противно. Побормотал, побормотал чего-то, — а чего, и сам то не знает, и мы не знаем. Бормочет, бормочет, а глазами во все стороны, — боится . . .

Этот рассказ я слышал от Михайльченко раз пять, и передаю его почти дословно. Это был самый выигрышный номер екатеринославского депутата. Бывало, он говорит о чем-нибудь другом; ему кричат из толпы: «Расскажи ка, Михайльченко, о царе!», и он сразу начинает:

— Приехали мы, значит во дворец. Прямо, скажу вам, палаты . . .

Появлялись на заводах и трудовики. Депутатов деревенского вида рабочие встречали восторженно, независимо от того, что и как они говорили. Важен был самый факт, что крестьянин выступал перед рабочим митингом. Но трудовики-интеллигенты успеха не имели.

В частности, полный провал постиг Аладьина. Это был типичный болтун: без ясной мысли, без страсти, без энтузиазма, — ничего, кроме фейерверка слов и упоения собственным красноречием.

Публике городских собраний он нравился. Но рабочие сперва встречали его рулады молчаливым недоумением, затем стали прерывать его свистками, и Аладьин должен был отказаться от посещения заводов.

Из кавказцев чаще других ездил на заводы Исидор Рамишвили.

Маленького роста, сухой, с бронзово смуглым лицом, с орлиным носом, с глазами, горящими под косматыми седеющими бровями, с ранней сединой в волосах и в бороде, он напоминал горного орла. И когда, говоря перед толпой, он протягивал вперед коричневые от загара руки, этот жест невольно вызывал мысль о взмахе орлиных крыльев.

Говорил он просто, серьезно, вдумчиво.

— Рабочее дэло, говорил он, святое дэло. Мы, дэпутаты, это помнить будэм, и вы помнитэ.

Рассказывал он о жизни с.-д. партии в Закавказьи, говорил о том, как развитие партийной организации разрешило там вопрос о сближении крестьян и рабочих.

Именно от Исидора Рамишвили петербургские рабочие узнали о Грузии, — узнали о ней и прониклись любовью к этой далекой стране.

Помню рабочий митинг в лесу за городом, недалеко от Лисьего Носа.

Со всех сторон, по лесным тропинкам сбираются рабочие на полянку, выбранную для митинга. Большой серый камень; здесь, у красного флага, ораторская трибуна. Широким кольцом рассыпались по лесу патрули, на случай появления полиции или солдат . . .

Первым говорил Михайльченко. Затем, я и еще один товарищ. Четвертым поднялся на камень Исидор Рамишвили. И только начал он речь, как прибежал один из патрульных с тревожной вестью:

— Солдаты в лесу!

Движенье в толпе. Рамишвили протягивает руку:

— Товарищи, наше дэло — правое дэло! Пусть идут солдаты, я с ними говорить буду, а вы слушать будэтэ.

И он говорил о Думе и об ее работе, пока не показались между деревьями белые солдатские гимнастерки. Тогда он возвысил голос и обратился к солдатам:

— Идитэ сюда, товарищи солдаты! Вашэ мэсто — среди рабочих. Вашэ дэло — слышать, что скажэт вам дэпутат. Нэ бойтэсь, ничэго вам нэ будэт, мы нэ сэрдимся на вас, знаем, что нэ по своэй волэ вы пришли сюда с ружьями. Смэлэй подходитэ . . . А вы, господин офицэр, нэ мэшайтэ людям дэпутата слушать . . .

Неуверенно выступила кучка солдат на опушку леса. Подошли вплотную к толпе. За ними другие, еще и еще.

Рамишвили указывает на солдат толпе:

— Они наши гости, пропуститэ их на пэрвое мэсто.

Расступаются рабочие, и солдаты, со сконфуженными лицами, неловко держа в руках винтовки, проходят к камню, на котором стоит оратор. Вокруг белых гимнастерок смыкается море темных пиджаков и блуз. Рамишвили продолжает свою речь . . .

В петербургских казармах много говорили об Исидоре. Часто солдаты, присланные на завод «в предупреждение беспорядков», просили рабочих:

— Если старик на митинг приедет, заранее скажите, — наши послушать хотят.

Отмечу еще, что и большевики любили Рамишвили: они признавали его «левым» и не подозревали его ни в каких фракционных интригах.

Но каков был результат выступлений депутатов перед петербургскими рабочими?

Я думаю, что этот результат ограничился революционизированьем настроения заводских районов. Сообщить рабочим массам определенный взгляд на Думу и на тактические задачи партии депутаты не могли. Не смогли они, равным образом, разрешить вопрос об организации рабочих масс.

* * *

Всем революционным работникам в Петербурге основной и главной задачей момента представлялась организация пролетариата. Для большевиков эта задача упиралась в вопрос о восстании. Меньшевики связывали ее с вопросом о Государственной Думе.

Уже в середине мая Центральный Комитет решил организовать периодические совещания рабочих депутатов с представителями петербургских фабрик и заводов.

Первое совещание было составлено из рабочих различных предприятий, приглашенных через меньшевистских партийных работников. Затем система приглашений была заменена выборами, которые производились порой от митинга, в присутствии приехавшего на завод члена Думы, порой от заводского Комитета, порой от партийного кружка.

К середине июня выборы были проведены на сотне фабрик и заводов, к концу месяца число выборных перевалило за 200.

По рассказам рабочих-участников этих «совещаний», характер их был чисто пропагандистский: депутаты говорили, рабочие слушали. Порой бывало интересно, порой скучно. Никакой организации не получалось.

В конце июня, после того, как большевики одержали победу на петербургской конференции в вопросе об «ответственном министерстве», Петербургский Комитет решил взять совещания с депутатами в свои руки. О смысле этого решения я уже говорил: дело шло не о том, чтобы обеспечить депутатам поддержку рабочих, а о том, чтобы при помощи рабочих вырвать депутатов из под влияния Ц. К.

В это время рабочие массы в Петербурге представляли собою как бы поле, на котором производились всевозможные организационные опыты. В связи с движением безработных мне пришлось близко познакомиться с этими опытами, и вот что писал я о положении в районах в 10 № газеты «Эхо»:

«То, что производится в настоящее время над рабочей массой под предлогом ее «организации», не поддается никакому описанию...

«Началось дело с того, что Ц. К. Р. С.-Д. Р. П. вздумал проводить выборы от петербургского пролетариата для связи его с с.-д. фракцией Государственной Думы. Дело держалось в строгом секрете от П. К.... Выборы производились для связи с с.-д. фракцией, и в то же время с.-д. организации ничего об этом не знали. Путаница получились колоссальная. Куда выбирают? Затем выбирают?..

«Незадолго перед тем по заводам производились выборы депутатов в Совет Безработных...

«Пошли слухи о том, что организуется заново Совет Рабочих Депутатов...

«Идея Совета Рабочих Депутатов была подхвачена эсэрами... Одни эсэры проводили по заводам выборы депутатов для связи с «трудовой группой», другие проповедывали восстановление старого Совета Рабочих Депутатов. На не-

которых заводах выборы были произведены в третий и четвертый раз.

«Между тем, на смену явились лозунги П. К. — заводские комитеты и совещания с фракцией. Идут новые выборы. На иной завод приходят последовательно: представитель Совета Безработных, правый с.-д., левый с.-д., левый с.-р., правый с.-р., — и каждый говорит, и каждый призывает, и каждый устраивает выборы . . .

«К третьим, четвертым выборам рабочие относятся уже без соответствующего внимания . . . Нередко приходится слышать от рабочих такие отзывы: в Совет Безработных выбирали, чтобы относить собранные на заводе деньги; в Совет Рабочих Депутатов выбирали, чтобы давать показание на суде[1]); в с.-д. фракцию выбирали — заседать в Думе и следить, чтобы депутаты рабочие как нибудь не промахнулись; в трудовую группу выбирали, чтобы переносить и распространять литературу, и пр. и пр. Всего не перечислить, и из жизни районов можно было бы привести сотни и тысячи примеров, доказывающих, какой яд дезорганизации вливают в рабочие массы все эти организационные эксперименты.»

Чтобы покончить с этим организационным хаосом, я предлагал, прежде всего, установить, что каждый завод во всех районных и общегородских об'единениях должен быть представлен одним и тем же депутатом. Но эта мера, очевидно, не разрешала вопроса о форме организации.

Идея восстановления Совета Рабочих Депутатов вызывала множество возражений. Из них главное было: создавать Совет Рабочих Депутатов — значит подготовлять всеобщую забастовку.

Это опасение разделяли и большевики. Я лично был другого взгляда. Но так как в данном вопросе сбить Петербургский Комитет с занятой им позиции было невозможно, я выдвинул среднее, компромиссное предложение: общегородского Совета Рабочих Депутатов не создавать, но об'единить заводские комитеты порайонно и организовать сеть районных делегатских рабочих советов, которые ведали бы районными делами, как то: помощь безработным, борьба с черной сотней, местные стачки и т. п. Фактически в Петербурге уже существовали организации этого типа в виде районных Советов безработных, которые в то время об'единяли от 100 до 150 тысяч рабочих. Дело сводилось к преобразование и к расширению их. Совет Безработных отнесся к моему плану с энтузиазмом. Лозунг районных рабочих советов имел большой успех и на заводах.

Но в Петербургском Комитете эта кампания вызвала целую бурю. Товарищи напали на меня за «анархическое», «дезорганизаторское» выступление, помимо партийного центра. Я доказывал, что мой план отвечает потребностям момента. Раздавались возражения:

— Это тот же Совет Рабочих Депутатов, против которого мы уже высказались.

— Это еще опаснее: каждый районный совет может по собственной фантазии об'явить политическую забастовку.

И Петербургский Комитет вынес решение: районных рабочих советов не устраивать.

Наоборот, в редакции большевистского «Эхо», где царил Ленин, план, отвергнутый Петербургским Комитетом, встретил полное сочувствие и поддержку.

Этот эпизод показывает, до какой степени организационному хаосу в заводских районах соответствовал хаос организационных планов в головах партийных людей.

Необходимость организации сознавали все, а общего плана не было, и то, что строилось, не только не сплачивало рабочих, но лишь увеличивало разброд.

А между тем, революционная волна в это время подымалась все выше и выше.

* * *

[1]) В это время подготовлялся разбор дела Совета Рабочих Депутатов 1905 года.

Крестьяне слали в Думу ходоков и все настойчивее требовали скорейшего разрешения земельного вопроса.

Но вместе с тем, оставаясь верны русской пословице «на Бога надейся, а сам не плошай», мужички приступили к разрешению домашними средствами своих давних земельных споров с помещиками. В различных концах России вспыхнули аграрные беспорядки.

Это было широкое, грозное движение. И оно зажгло надежды в сердцах пролетариата.

Среди рабочих наметилось оживление стачечной борьбы. В Петербурге прокатился ряд забастовок. Особенно памятны две из них: булочников и каталей.

Стачка пекарей была проведена при ближайшем участии Центрального Бюро. Для разрешения конфликта была образована «примирительная камера». Иерихонской трубой гремел здесь Н. Рязанов.

Помню, продолжительные споры вызвал вопрос о праздниках. На празднование 1-го мая хозяева, скрепя сердце, согласились, но спорили против празднования 19-го февраля. Это дало повод Рязанову обрушиться на хозяев, вышедших из крестьянского сословия:

— Мы занесем в протокол ваше заявление, рычал он: Мы запишем, что вы отказываетесь праздновать тот день, когда отцы ваши из рабов превратились в свободных граждан.

Хозяева сидели смущенные. Но один из них, господин шпютоватого вида, выручил их:

— Послушайте, возразил он Рязанову: Разве 19 февраля мы получили свободу? Ведь нас ограбили! Это во всех социал-демократических книжках написано!

Не помню, как, в конце концов, был разрешен этот вопрос. Но, в общем, стачка закончилась победой рабочих.

Стачка кателей была еще более крупным событием в жизни рабочего Петербурга. Выбранный 12 тысяч каталей стачечный комитет устроил свою ставку на Куликовом поле (за полотном Финляндской железной дороги), где обычно

собирались безработные. Районный Совет Безработных предложил руководителям стачки свою помощь, — квартиру для заседаний в ненастную погоду, телефон для сношений с отдаленными частями города, бумагу и чернила. Катали были подавлены этой «организацией» и просили Совет принять на себя руководство стачкой. Дело было возложено на меня и на Сергея Малышева. Наша задача оказалась нелегкой. Пришлось иметь дело с чисто мужицкой толпой незнакомой с приемами пролетарской борьбы. Каталям все хотелось ускорить дело, пустив в ход свои средства — камни, ножи, топоры: камни — чтобы снять штрейкбрехеров, ножи — чтобы пугнуть хозяев, топоры — чтобы потопить пару-другую барок. Впрочем, среди них нашлись люди, которые быстро смекнули, что так дело не пойдет, и сумели удержать товарищей от эксцессов. Но с полицией, разгонявшей собрания, дрались и кулаками, и палками, и камнями.

Эта забастовка приковывала к себе в конце июня внимание всех петербургских рабочих. Закончилась она почти полной победой каталей.

Победа была бы еще более полной, но после разгона Государственной Думы катали постановили: прекратить экономическую стачку, чтобы, вместе со всеми петербургскими рабочими, принять участие в политической забастовке.

Но об этом мне еще придется говорить. Пока я отмечаю забастовку каталей лишь, как проявление того под'ема, который наблюдался в конце июня в рабочем движении в Петербурге . . .

Общее возбуждение перекинулось в это время и в казармы. Участились солдатские беспорядки. То отдельные роты, то целые полки пред'являли начальству экономические требования, заявляли о своем отказе стрелять в народ, выносили политические резолюции. За два месяца беспорядки были отмечены в 5 гвардейских полках, в 38 армейских и в 7 казачьих частях.

Конечно, отсюда было далеко до того положения, которое рисовал Аладьин, говоря, будто «оружие армии готово склониться перед народными представителями». Но все же солдатские волнения были знамением времени.

Итак, в деревне, в заводских районах, в казармах — повсюду в конце июня царило возбуждение.

Но Дума, в значительной степени вызвавшая этот под'ем, уже не была центром движения. Вокруг нее бушевало народное море, пенились волны, но у кормчих ее не было смелости подставлять парус начинающейся буре.

Руководители Думы пытались, не связываясь с народными массами, использовать их движение для разрешения вопроса о власти: они заклинали монарха передать власть в их руки, указывая, что это единственный способ предупредить революцию. Но власть оставалась в руках Горемыкина и Столыпина. И когда, по ходу вещей, придворная камарилья признала за благо «сбросить крест с вершины Казанского собора», — разогнать Государственную Думу оказалось не многим труднее, чем разогнать рабочую массовку.

* *
*

Последний и решительный конфликт между Государственной Думой и правительством разыгрался на почве аграрного вопроса.

20 июня было опубликовано «правительственное сообщение», излагавшее взгляды правительства на способы разрешения земельного вопроса. Центральной мыслью сообщения было: принудительное отчуждение земель правительством допущено не будет! Вместе с тем, в сообщении проводилась мысль, что помочь крестьянам в их малоземельи может лишь «исполняющее царскую волю правительство», а от Думы крестьянам ждать нечего.

26 июня, почти без прений, Дума решила поручить своей аграрной комиссии составить обращение к стране, кото-

рое могло бы парализовать впечатление правительственного сообщения, явно стремившегося дискредитировать народное представительство в глазах крестьян.

Недолго спустя аграрная комиссия представила Думе проект такого обращения.

Напомнив относящиеся к аграрному вопросу положения ответного адреса и правительственной декларации 13 мая и сжато характеризовав направление работ аграрной комиссии, этот документ заканчивался следующими строками:

«Несмотря на твердо выраженную волю Думы, министры опубликовали 20 июня сообщение, в коем от лица правительства об'являют все те же прежние предположения свои о земельном законе.

«В виду этого, Государственная Дума напоминает, что по манифесту 17 октября 1905 года никакое предположение правительства не может воспринять силу закона без одобрения Государственной Думы.

«Что же касается до принудительного отчуждения частно-владельческих земель, то Государственная Дума от сего основания земельного закона не отступит, отклоняя все предположения, с этим началом не согласованные. Указывая, наконец, что только тщательно обдуманный и правильно составленный закон может дать народу земельное обеспечение, Государственная Дума надеется, что население будет покойно и мирно ожидать окончания ее работ по изданию такого закона.»

Таким образом, в решительный час у думского большинства не нашлось для народа других слов, кроме приглашения «спокойно и мирно ждать».

При обсуждении в Думе этого проекта Рамишвили сказал:

«Конец проекта, где население призывается спокойно и мирно ждать решения аграрного вопроса, противоречит духу самого обращения. От имени социал-демократической фракции прошу Государственную Думу выкинуть этот конец

и выразить надежду, что народная революция поправит все промахи, ошибки и притеснения правительства. Только народное крестьянское восстание может сделать то, что нужно, и только оно может разрешить земельную нужду крестьян».

Стенографический отчет запечатлел, что Дума шумом и смехом встретила это предложение.

Даже проект аграрной комиссии казался думскому большинству слишком смелым, слишком резким.

6-го июля, при окончательном голосовании текста обращения, кадеты внесли в этот проект ряд поправок, изменявших его смысл. Главная поправка заключалась в том, чтобы с самого начала мотивировать обращение заботой Думы о сохранении мира и спокойствия в стране:

«Государственная Дума стремилась и стремится к мирному установлению нового порядка в стране и надеется, что раз'яснение истинного положения вопроса о земельном законе даст возможность населению спокойно и мирно ждать окончания работы по изданию земельного закона».

Большинством 197 голосов против 100 (с.-д. и трудовиков) Дума приняла эту поправку. Тогда с.-д. фракция сделала с думской трибуны заявление о том, что она «отказывается от дальнейшего участия в обсуждении проекта обращения, а при окончательном голосовании его будет голосовать против, оставляя за собой право самостоятельным обращением выяснить народу истинное положение дел».

При окончательном голосовании проект кадетов собрал всего 124 голоса, при 53 голосах против. Свыше 100 чел. воздержались. Воздержались, в частности, трудовики, которые в этот решительный час не могли решить, нужно ли призывать народ к спокойному ожиданию или к борьбе.

Дальше пошло еще хуже. При обсуждении вопроса о направлении принятого обращения, за официальное распубликование его голосовало 129 ч., остальные от голосования отказались. Поднялся спор, законно ли решение, в котором

приняло участие лишь $1/4$ общего числа членов Государственной Думы. И в этих спорах закончилось последнее заседание Думы, 72 дня перед тем, в ясный весенний день, начавшей свою деятельность в атмосфере единодушия и энтузиазма.

Не знаю, какое впечатление произвела вся эта история на крестьянские массы России, но на демократические слои Петербурга она подействовала убийственным образом.

Меньшевистский «Голос Труда», все время боровшийся с антидумской пропагандой большевиков, писал 7-го июля:

«Если своей трусостью и подлостью, а не своим единением с народом добьется Государственная Дума отсрочки (своего разгона), то это значит только, что в стране будут продолжаться разбойные набеги правительственных отрядов, убийства и насилия, а Думу оставят говорить до тех пор, пока, опустившись до полного ничтожества, она будет — не «разогнана» уж, а просто вышвырнута носком кирасирского сапога... Уже сверкают молнии, уже слышны раскаты грома, но эти трусливые безумцы ничего не слышат и жадно ловят милостивую улыбку на барских устах. И когда они опомнятся и, увидев себя в тисках, захотят прибегнуть к народу, не случится ли так, что народ, признававший их прежде, не признает теперь, не откликнется на их призыв?»

В эти дни думское большинство имело против себя сплошной фронт демократии. И этот момент выбрала реакция для того, чтобы нанести решительный удар народному представительству...

8-го июля на пост председателя Совета Министров был назначен Столыпин. Первым распоряжением его было введение в Петербурге и в Петербургской губернии чрезвычайной охраны. Ничто не выдавало дальнейших его планов.

Это было в субботу. На воскресенье в городе не было назначено ни митингов, ни собраний, — хотели выждать пару дней в виду чрезвычайной охраны. Так как в предыду-

щие дни у меня было много работы и я чувствовал крайнюю усталость, то решил в воскресенье отдохнуть и поехал на целый день в Териоки, где жили мои родные.

* * *

В воскресенье, совершенно неожиданно, я узнал, что Государственная Дума распущена. Узнал я об этом, как и все, из газет, где был помещен подписанный накануне манифест.

Со следующим поездом я уже ехал в Петербург, в уверенности, что застану в городе, если не баррикады, то всеобщую забастовку и уличные манифестации.

Но в Петербурге все было спокойно. Лишь у Финляндского вокзала заметно было необычное скопление полиции.

Левые газеты в этот день не вышли. Органы правой печати комментировали манифест, как акт высокой монаршей милости. Среди обывателей заметна была растерянность, спрашивали друг друга: «Что же дальше?», а ответа на этот вопрос не было ни у кого.

С.-д. партия никаких решений в этот день не приняла. Ожидали исхода совещания членов Государственной Думы, заседавших в Выборге, куда выехали также представители нашего Центрального Комитета.

И на следующий день, в понедельник, все было тихо в городе. Заводы работали. Но было ощущение, что это — затишье перед бурей.

В стачечном комитете каталей я поднял вопрос о том, как быть, если начнется политическая забастовка: с одной стороны, в этой забастовке потонет не доведенная до конца экономическая стачка, а с другой стороны, бастуя за экономические требования, катали будут лишены возможности проявить свое единение с петербургским пролетариатом в политической борьбе. Решили немедленно ликвидировать забастовку, но отделения стачечного комитета по районам

сохранить, заявив хозяевам: «Если требований не исполните, так покою у вас не будет, — политическую стачку отбастуем, и снова станем за наши требования».

Катали уверяли, что это на хозяев подействует, тем более, что у них остается в запасе еще последнее средство — рубить днища у барок.

В тот же день собрался Исполнительный Комитет Совета Безработных. У нас на руках в это время было свыше 10 экономических стачек: представители Совета участвовали почти во всех стачечных комитетах, а бастующие рабочие регистрировались в Совете в качестве безработных и получали в наших столовых бесплатные обеды. Обсуждали задачи, стоящие перед организацией в связи с будущей всеобщей забастовкой. Решили закончить все экономические стачки и принять меры к тому, чтоб иметь возможность в кратчайший срок развернуть сеть столовых. Наметили пункты, где нужно будет открыть столовые при всеобщей забастовке. Районные советы должны были подыскать заранее квартиры, найти заведующих, озаботиться, чтобы не вышло задержки из за дров, посуды, столов и т. д. Хозяйственная организация столовых должна была заняться вопросом о продуктах.

Вечером я узнал, что члены Государственной Думы подписали в Выборге воззвание «Народу от народных представителей». Текст воззвания достать не удалось, но товарищи, читавшие его, отзывались о нем: «Ерунда!»

Во вторник утром я был в Союзе Инженеров (на Загородном) по делам Совета Безработных. Туда принесли один экземпляр воззвания. Прочли его вслух. На меня документ произвел смутное впечатление: на нем явно лежала печать компромисса, начало не соответствовало концу, язык был вялый, бледный. Но лозунг — ни копейки в казну, ни одного солдата в армию! мог стать исходной точкой широкого движения.

Члены правления Союза Инженеров жаловались, что не удается отпечатать воззвание, так как за типографиями

установлено полицейское наблюдение. Я предложил размножить воззвание ручным способом. В Союзе оказался множительный аппарат «ротатор-циклостиль». Послали за бумагой, выстукали на восковке клише, и я с двумя инженерами принялись за печатание.

В это время в Союз нагрянула полиция. Повидимому, ожидали застать многолюдное собрание, — пристав был явно разочарован, убедившись, что в квартире почти пусто.

Чтобы не подать вида, что мы заняты нелегальным делом, мы продолжали печатать воззвание на глазах у полиции.

Пристав осведомился:

— Что печатаете?

Я ответил, не отрываясь от работы:

— Спешное.

— Машинка удобная?

— Ничего . . .

Этим бы разговор и кончился, но один из околоточных прочел заголовок воззвания «Народу от народных представителей» и подал листок приставу:

— Ваше высокоблагородие, никак оно политическое?

После этого полиция забрала отпечатанные воззвания, бумагу и машинку. Но из присутствовавших никто арестован не был, — записали лишь имена и адреса.

Когда вечером я рассказал товарищам, что чут-чуть не провалился при печатании «выборгского воззвания», это вызвало общий смех: к воззванию в наших кругах уже установилось определенное отношение. Тактика, рекомендуемая воззванием, — пассивное сопротивление. — вызывала презрительные насмешки.

По поводу этой тактики Ленин говорил:

— Это бессмыслица! Пассивное сопротивление, — до какой точки? А когда стражники приедут за податями или за рекрутами, тогда тоже пассивное сопротивление или активный отпор?

И Ленин громил депутатов с.-д. за то, что они дали свои подписи под «либеральную провокацию».

— Увидите, говорил он, никто из кадетов «пассивного сопротивленция» проводить не станет. Даже распространять воззвания не будут. На что им? Они своего добились: трудовиков и меньшевиков поймали, революции помешали, реакции помогли . . . Чего им еще?

* * *

В Петербурге все было спокойно. Ни забастовок, ни демонстраций, ни митингов. Так прошла неделя.

И вдруг 17-го июля разнеслась весть: в Свеаборге восстали матросы.

Почему то все сразу решили, что это ответ армии на разгон Государственной Думы.

Впечатление усилилось, когда пришла весть, что вслед за матросами в Гельсингфорсе восстали рабочие, что «красная гвардия», заняв железнодорожные станции, разрушает пути, чтобы не допустить подвоза подкреплений к правительственным войскам.

Наконец-то! Неужели же Петербург не поддержит?

Забастовка началась бы в Петербурге при первой же вести о восстании, еслибы не привходящие обстоятельства: вопрос о «выборгском воззвании», необходимость столковаться относительно лозунгов выступления, упадок настроения, явившийся результатом недели, прошедшей в бездействии и ожидании . . .

Прежде всего, нужно было узнать точнее, что происходит в Гельсингфорсе. Но финляндская железная дорога остановилась, вокзал был занят войсками, через границу никого не пропускали. Петербург жил слухами. Говорили о всеобщем восстании в Финляндии.

Настроение в городе становилось все более напряженным, в воздухе пахло грозой. Но какая то апатия сковывала члены петербургского пролетариата . . .

А в Свеаборге и Гельсингфорсе, действительно, шел бой.

Началось, как всегда, с пустяков. Уже давно в гарнизоне замечалось брожение, — как и в других гарнизонах, почти на всем пространстве России. 1-го июля начальство арестовало двух солдат из минной роты. Брожение усилилось, среди минеров пошли речи о том, что нужно освободить товарищей силой. Новые аресты лишь подлили масла в огонь. Очагом крамолы была признана минная рота, и 17-го утром начальство сделало попытку арестовать весь состав ее (200 ч.). Но за минеров вступились артиллеристы, и к вечеру Свеаборгская крепость оказалась в руках восставших.

Солдаты и казаки, расположенные в Гельсингфорсе, к восстанию не примкнули. Среди судов, стоявших на рейде, произошел раскол: одни были готовы присоединиться к восставшему гарнизону, другие относились к движению безучастно. Командованию удалось обезоружить ненадежные суда, и с 18-го началось наступление на крепость: с моря ее обстреливала судовая артиллерия, с суши действовали пехотные части и казаки. В крепости начались убийства офицеров. В Гельсингфорсе выступила «красная гвардия», вспыхнула всеобщая забастовка.

А в Петербурге в это время шли совещания. Собирались заводские комитеты и районные конференции. Эсэры и меньшевики были за забостовку. Большевики возражали против того, чтобы забастовка была связана с лозунгом поддержки Государственной Думы. Вновь обострилась борьба между Ц. К. и П. К. В конце концов, назначили забастовку на 21-го июля, но даже партийные люди, близкие к центру, не могли сказать в точности, почему именно этот день был выбран для выступления, и каковы лозунги забастовки?

А события не ждали.

20-го утром распространилась весть о восстании в Кронштадте. Пожар ширился, пламя приближалось к Петербургу . . .

Утром я был на явке Петербургского Комитета. Настроение было здесь напряженное. Накануне в Кронштадт выехали товарищи, которые должны были встать во главе движения [1]). Были стянуты туда и силы социалистов-революционеров. Но не было известий, насколько успешно развивается выступление. Известно было только, что восстание н а ч а л о с ь , что в Кронштадте идет стрельба.

В виду расширяющегося, подступившего вплотную к столице военного мятежа назначенная на завтра забастовка приобретала новый смысл. Вопрос о лозунгах отходил на задний план. Нужно было в едином ударе сосредоточить всю энергию, все силы.

Кто-то из товарищей, бывших на явке, высказал опасение, что в Кронштадте мало наших. Стали говорить о том, что нужно было бы мобилизовать туда все силы, особенно агитаторов. Я вызвался ехать, товарищи торопили меня:

— Поезжайте как можно скорее, сейчас же!

Не было речи ни об инструкциях, ни о полномочиях.

Достав план Петербурга, я соображал, каким путем можно было бы добраться до Кронштадта. На обычный путь — пароходиком от Английской набережной — нечего было расчитывать. Но кто-то сказал, что можно раздобыть паровой катер на взморьи, за Путиловским заводом. Поехал туда. По дороге заехал в Нарвский Совет Безработных. Там было много рабочих-путиловцев. Все возбужденно говорили о кронштадтских событиях. На мой вопрос, можно ли достать катер до Кронштадта, ответили, что это дело нетрудное. Двое товарищей вызвались устроить все. Но вернувшись часа через полтора, они сообщили, что придется дожидаться сумерок и в темноте «воспользоваться» казенным катером. Перешли в рабочую квартиру, поближе к взморью. Ждали вечера. Время тянулось невыносимо долго. Приходили и уходили какие то люди. Казалось, издалека доносился грохот пушек [2]).

[1]) Дубровинский (Иннокентий), Дюбуа и др.
[2]) На самом деле, в это время в Кронштадте не было стрельбы.

В сумерки вышли на взморье. У воды виднелась группа солдат. Один из провожавших меня рабочих подошел к ним и вернулся с донесением: караулят, — приказано следить, чтобы ни одна лодка не отплыла в море.

Вернулись к себе. Через час снова подошли к воде, — по берегу маячили часовые.

Прошли пустырями на другую часть взморья, — и там военный караул.

Всю ночь провел я в поисках какой-нибудь лазейки, но снова и снова натыкался на цепь часовых. Утром, усталый, измученный, вернулся в город и здесь узнал новости.

В то время, как я искал катера, чтобы ехать в Кронштадт, вернулись выехавшие туда накануне товарищи. Вернулись они с печальными вестями.

В Кронштадте все кончено. Ночью с 19-го на 20-е было поднято восстание в двух флотских экипажах и в минной саперной роте. Восставшие захватили форт «Константин». Но большая часть гарнизона не примкнула к движению, отказались присоединиться и судовые команды. К утру выяснилось, что восстание обречено на поражение. В 12 часов дня матросы сложили оружие. В 2 часа открылось заседание военного суда. К вечеру те, кого судьи признали зачинщиками, были расстреляны на верках кронштадтской крепости, и их трупы были сброшены в море . . .

Сдался правительственным войскам и Свеаборг . . .

А в Петербурге в это время начиналась всеобщая забастовка!

* * *

Забастовка началась нестройно, недружно. Заводы, которые всегда были впереди других, на этот раз работали. А городские конки забастовали, не вышли на работу команды финляндского пароходства на Фонтанке.

Вокзалы были заняты солдатами, по линиям рейсировали взад и вперед блиндированные поезда. Остановить железнодорожное движение не было возможности.

В этот день собралась в Териоках конференция петербургской социал-демократической организации. Заседание происходило в пустой даче, расположенной в обширном, густом саду, похожем на лес.

Присутствовало человек восемьдесят, — преимущественно рабочие. Председательствовал Ленин.

Заседание началось с инцидентов. Среди делегатов оказалась группа рабочих эсэров. Они отстаивали свое право участвовать в совещании, ссылаясь на то, что забастовка дело не партийное, а общерабочее. Тем не менее их попросили оставить собрание. Тогда поднялась другая группа рабочих, и один из них заявил:

— Мы приехали сюда для об'единения. А здесь свободу убеждений стесняют, так что нам делать здесь нечего, и мы уходим . . .

Их спросили, кто они такие, от какого района. Оказалось, что они считают себя беспартийными анархистами. Когда они ушли, загорелся спор между меньшевиками и большевиками. Предмета спора я не помню, — кажется, речь шла о составе конференции или о порядке дня. Спор закончился тем, что и меньшевики покинули собрание. Остались одни большевики. И стало скучно и сиротливо в наполовину опустевшей, обширной комнате.

Обсуждался вопрос о забастовке, об отношении к ней рабочих.

Была уже ночь. Тускло мерцала свеча на председательском столике в углу. Иные из делегатов, измученные усталостью, опустились на пол и дремали под речи товарищей. Из углов слышался негромкий храп.

Ораторы вяло, без огня, без увлечения говорили о том, что делать дальше.

— Надо баррикады строить. Начать надо . . .

Я вышел на крыльцо подышать свежим воздухом. Ночь была тихая, звездная. Вдруг слышу взрыв смеха в комнате заседания. Поспешно вернулся туда. Говорил Чернов, молодой рабочий с Общественных Работ в Галерной Гавани.

Он всегда говорил бойко, остроумно, — но что мог он сказать смешного в столь тяжелый момент?

Он только что начал свою речь:

— Ну да, товарищи, кулаками после драки машем, говорил он. Сами себя обманываем... Забастовки, говорим, мало. А где она, забастовка? Вот солнце взойдет, — и нет забастовки, один фук остался... Вчера была, а пока мы здесь говорили, — кончилась. И хорошо, что кончилась! Какого чорта нам за Государственную Думу бастовать? Это дело домашнее, промеж кадетов да октябристов. Пускай они и бастуют, а нам наплевать... Я практическое решение предлагаю: так как дело не стоит нашего внимания, так ничего и не решать!

— Вы предлагаете прекратить забастовку?

— Вот, на! Проснулся! Забастовка и без нас кончится. А я предлагаю ничего не решать и собрание распустить, так как, все равно, путного ничего не придумаем.

Речь Чернова разбила тот гнет, который до его выступления чувствовался в собрании: Заговорили все разом, шумно, с остротами, с шутками...

Рассвело. Пора было закрыть собрание. Практических предложений не было. Разошлись, ничего не решив, — или приняв решения настолько незначительные, что при всем напряжении памяти я не могу их припомнить, хотя отчетливо помню всю обстановку этого сумбурного ночного собрания...

Когда мы вернулись из Терпок в Петербург, забастовка уже догорала.

А два дня спустя, 24-го, началась забастовка в Москве. Прошла она еще хуже, чем в Петербурге...

III. МЕЖДУДУМЬЕ.

Столыпинщина. — В петербургской с.-д. организации. — Ленин и его кружок. — Большевики и меньшевики. — Две тактики после разгона Государственной Думы. — Борьба за партийный с'езд. — Рекрутская кампания. — Перед новыми выборами. — «Чистые списки» и «левый блок». — Тактика меньшевиков. — «Некоторые особые задачи второй Государственной Думы». — Общепартийная конференция. — Подготовка городской конференции. — Раскол. — Неожиданное решение. — «Предательство» меньшевиков. — Вторая избирательная кампания. — Наша борьба с кадетами. — Св. Гр. Петров. — Ораторы социал-демократы. — Другие партии. — Полиция. — Предвыборная кампания в рабочей курии. — Выборы от рабочих. — Соглашение с народниками. — Избирательные бланки. — Выборы в городской курии. — Итоги междудумья.

Разгоном Государственной Думы и подавлением восстаний в Свеаборге и Кронштадте открывается в истории России черная страница, отмеченная именем П. Столыпина.

С удесятеренной энергией принялось правительство за беспощадное искоренение крамолы.

Были двинуты воинские части против волнующихся деревень. Аресты производились уж не сотнями, как в декабре-январе, а тысячами.

Подверглись разгрому рабочие профессиональные союзы, прогрессивные книгоиздательства, рабочие и крестьянские газеты. Преследования коснулись даже конституционно-демократической партии, один из вождей которой, Герценштейн, был вскоре после разгона Государственной Думы убит действовавшими под покровительством высших сфер черносотенцами.

Начиналась полоса ничем не прикрытого правительственного террора. Ответом на него явилось усиление террора революционного.

Особенно памятно по террористическим актам начало августа.

2-го августа в Варшаве были произведены, во всех частях города сразу, нападения на чинов полиции. В последовавшие дни такие же нападения повторились в ряде других городов Польши. Неделю спустя максималисты предприняли покушение против П. Столыпина, взорвав его дачу на Аптекарском острове. 13-го августа был убит Коноплянниковой герой усмирения Москвы генерал Мин . . .

20-го августа правительство издало положение о военно-полевых судах. Другой мерой борьбы с революцией явился седлецкий погром, учиненный, в отличие от погромов до-конституционного периода, исключительно силами регулярных войск и полиции.

Августовские покушения представляли собою высшую точку террористической волны. С сентября покушения пошли на убыль. На смену им пришли боевые акты иного рода: с каждым днем все шире разливалась волна экспроприаций.

По внешности, «эксы» казались «революционными партизанскими действиями». Но, в действительности, они все более вырождались в бандитизм, и лишь неистовая жестокость военно-полевых судов поддерживала вокруг них некоторый ореол.

Военно-полевые суды и казни — это наиболее характерная черта периода междудумья. Но кровавыми репрессиями не исчерпывалась в с я политика П. Столыпина. У него была определенная политическая идея: подавляя силой оружия революционное движение, он расчитывал одновременно укрепить царизм путем расширения его общественной базы и сближения власти с умеренными кругами общества.

Отсюда его попытки привлечения в правительство общественных деятелей. Отсюда, равным образом, его аграрная политика, — продажа крестьянам удельных, государственных и частновладельческих земель через крестьянский банк и, позже, мероприятия, направленные к разрушения общины путем выделения зажиточных элементов ее на хутора. Лишь значительно позже столыпинщина выродилась в систему личного произвола безответственного и беспринципного временщика.

* * *

Партийной работе в Петербурге провал июльского выступления и последовавшие полицейские репрессии нанесли тяжелый удар.

В это время я делил свои силы и время между Советом Безработных и с.-д. организацией. Моя работа в союзе приказчиков оборвалась.

Вечером 24-го июля — как раз в день, когда началась всеобщая забастовка в Москве — я был в правлении союза.

Вдруг товарищ, сидевший у окна, заметил:

— Полиция идет. Уж не к нам ли?

Помещался союз в первом этаже, окнами на улицу, а единственный вход в квартиру был со двора. Взглянул в окно, — на панели виднелись фигуры городовых, дом был окружен.

Один из приказчиков сказал мне:

— Нам то ничего не будет, мы у себя на полном основании. А как вы, товарищ Петров? Вам бы лучше уйти . . .

Думал ли он о моей безопасности, или боялся, что мое присутствие в союзе подведет все правление, но совет его казался благоразумным. Я поспешно вышел во двор. Там не было ни души. Прошел в подворотню. Против решетчатых ворот, на улице, стояло человек тридцать городовых и околоточных; но во двор не входили, ждали начальства. Тут же топтался дворник с ключами. С шумом под'ехала пролетка, с нее соскочил пристав.

Дворник распахнул перед ним калитку в воротах, и он шагнул через порог. Я двинулся навстречу ему. Столкнувшись с ним в калитке, я вежливо извинился; в ответ пристав притронулся к козырьку — и я вышел на улицу, а орава полицейских потянулась мимо меня во двор.

Приказчики, остававшиеся в помещении союза, были отведены в часть. От дальнейших неприятностей их спасло то, что среди них не оказалось «посторонних». Союз после этого не был закрыт. Но приказчики перетрусили и дали мне знать, что мое появление в помещении союза нежелательно.

Партийную работу среди приказчиков пришлось, таким образом, прервать, — возобновилась она лишь зимой, когда открылась избирательная кампания перед второй Государственной Думой.

Из «приказчичьего подрайона» я перешел в Окружную партийную организацию, куда входили Колпино, Сестрорецк, Охтенские пороховые заводы. Но одновременно я работал и в других районах: сил у партии было недостаточно, особенно остро чувствовалась нехватка агитаторов-митингеров, приходилось разбрасываться.

В это время я входил также в состав Петербургского Комитета.

Наиболее выдающимся работником в местной большевистской организации осенью 1906 года был Н. А. Рожков, приехавший к нам из Москвы уже на нелегальном положении. Он был старше и образованнее остальных членов Комитета, но не отказывался ни от какой работы: ездил в районы для занятий с кружками, читал доклады, писал листки, часами просиживал на явке, — всегда бодрый, жизнерадостный, смеющийся. С ним легко и приятно было работать.

Близкое участие в петербургской организации принимал также Григорий (Зиновьев), одно время председательствовавший в Петербургском Комитете. Непримиримый фракционер, весь смысл партийной работы он видел в борьбе с меньшевизмом. На заводах он не выступал (или выступал редко), за занятия с кружками брался неохотно, но считался среди большевиков лучшим — после Ленина — докладчиком на фракционные темы. Спорил он довольно плоско, упрощая каждый вопрос и не гнушаясь демагогией. Но рабочим это нравилось.

Видным работником и одним из руководителей организации был Николай (Коновалов), о мрачной и загадочной личности которого я уже говорил в первой книге. Это был, по преимуществу, агитатор; к комитетской работе и, в частности, к межфракционой борьбе он не проявлял интереса.

Помню еще Землячку, Антона (Красикова), Овода (Вакулина), Платона (Теодоровича), Петра (Алексинского).

Землячка работала вместе со мной в Окружном районе. Редко приходилось мне встречать человека, до такой степени скучного. Рабочие в ее присутствии умирали с тоски, а она, ничего не замечая, пыталась помыкать ими, как малыми детьми.

На первом же собрании районного комитета, куда я приехал вместе с ней, она поразила меня, обратившись к рабочим с такой речью:

— На прошлом собрании я не могла присутствовать, а вы тут, без меня, в Петербургский Комитет т. Алешу провели. Это неправильно: меньшевики его в Комитете опутают. Предлагаю назначить перевыборы и послать в Комитет т. Мишу.

По части большевизма Землячка была тверда, как адамант. С первого взгляда, она определила во мне «сомнительного» большевика, и у нас с нею постоянно выходили мелкие стычки.

Антон (Красиков) по части партийной работы прилежанием не отличался и пил горькую. Но в организации он играл крупную роль.

Овод (Вакулин), молодой, энергичный, с красивым интеллигентным лицом, стоял во главе боевой организации Пе-

тербургского Комитета. Он был скуп на слова, никогда не спорил. К нему относились в Комитете с уважением.

Алексинский, напротив, сумел вооружить против себя всех, от твердокаменного Зиновьева до благодушного Рожкова. Его свистящий голос, искривленные насмешливой улыбкой губы, ехидные замечания с места, демагогические выходки вносили нервность во все заседания, на которых он присутствовал. У него была страсть к скандалам и интригам. Но на заводской трибуне он был великолепен, — здесь его образная, хлесткая речь, неожиданные словечки, народные поговорки имели огромный успех. И Алексинский знал себе цену: когда нужно было ехать на завод, он заставлял просить себя и принимал приглашение, будто снисходя к тому, что никто не может заменить его.

Платон (Теодорович) производил впечатление умного и интеллигентного человека. Порой он бывал остроумен в полемике. У него чувствовался большой опыт в решении организационных вопросов, но это не оправдывало того «генеральского» тона, которого он придерживался в сношениях с товарищами, и, в общем, его в организации не любили.

Я перечислил наиболее заметных членов Петербургского Комитета. Помимо них — со стороны большевиков — в Комитет входило еще несколько работников-профессионалов, в различной мере преданных делу, но одинаково бесцветных. Рабочих среди них вначале не было. Затем появились: молчаливый, но толковый и энергичный Фома из Городского района; живой, талантливый Михаил (Томский); мой соратник по Совету Безработных, несуразный, неотесанный, бурно пламенный Сергей Малышев.

Те же лица занимали авансцену на заседаниях общегородской конференции, но здесь к ним присоединялись еще члены большевистского центра.

* * *

В большевистском центре дарил безраздельно Ленин. Его непререкаемый авторитет основывался не только на его талантах и исключительной работоспособности, но, главным образом, на необычайной уверенности, с которой он решал все вопросы. Это не была с а м о у в е р е н н о с т ь доктринера, а нечто иное.

Никогда не замечал я у Ленина признаков «генеральства». Наоборот, в обращении с товарищами (особенно, с рабочими) он был внимателен и прост. При появлении новых людей терпеливо слушал их, как бы ни были скучны их рассказы.

Слушал он по-особому: склонив голову набок, наставив ухо, лукаво прищурившись, с выражением напряженной работы мысли. Это выражение не сходило с его лица и тогда, когда его собеседник нес околесицу и не мог выбраться из леса: «так сказать», «ежели который», «с моей точки зрения, по существу, к порядку». Казалось, что Ленин с особенной жадностью вслушивается в подобные нескладные, корявые речи, и улавливает в них что то значительное и нужное ему, чего не замечают другие...

Это была характерная манера Ленина. Он, действительно, верил в то, что у м а с с о в и к о в революционер должен искать ответа на все встающие перед ним вопросы.

Никто не умел так, как Ленин, угадать настроения рабочей массы и выразить их сжато, выпукло, хлестко. Склонность к абстрактному, дедуктивному, доктринерскому мышлению странным образом уживалась в нем с гениальной чуткостью по отношению к рабочей стихии.

Порой, на вопрос об его мнении по тому или иному делу, он отвечал:

— Не знаю... Как товарищи рабочие решат, им виднее...

Но при этом глаза его хитро улыбались. И собеседник чувствовал, что «Ильич» про себя уже решил вопрос.

Несколько позже того периода, о котором я говорю, в 1907 году, среди петербургских рабочих - большевиков об-

наружилось неудовольствие против комитетов и комитетчиков, а также против партийной прессы. Ленин предложил, чтобы на конференциях каждый высказывал с полной откровенностью, что у него накопилось. Посыпались упреки и обвинения, порой в довольно резкой и обидной форме:

— Вы — комитетчики, вы — генералы, о жизни заводов вы ни черта не знаете . . .

Ленин все это выслушивал, все принимал, со всем соглашался, — и в результате каждого такого об'яснения его авторитет в глазах рабочих возрастал еще выше.

Ленин был окружен атмосферой безусловного подчинения. Не только Зиновьев, но и Богданов, и Гольденберг, не говоря уже о таких работниках, как Землячка, Красиков и рядовые профессионалы, на все вопросы смотрели глазами «Ильича». Только Рожков сохранял некоторую долю самостоятельности, да еще я порой бунтовал против фракционной дисциплины, — но так как ни у Рожкова, ни у меня своей особой «линии» не было, то наши покушения на самостоятельность большого значения не имели и на ходе дел не отражались.

Для лучшего уяснения того, каково было отношение к Ленину в примыкавшем к нему кружке, приведу лишь один пример.

В 1907 году А. Богданов выпустил книгу под названием «Красная Звезда». Это была занимательно и талантливо написанная утопия, изображавшая социалистический строй на Марсе. В основу рассказа было положено переселение на Марс обитателя земли, которого марсиане взяли к себе с научной целью, желая проследить, как преломятся в его сознании их порядки и нравы. Об'яснив довольно вразумительно, почему марсиане выбрали для своего опыта русского человека, и при том социал-демократа, и именно большевика, автор на этом не останавливался. Он предвидел вопрос:

— Раз им, на Марсе, большевик понадобился, почему они Ильича не забрали?

И чтобы предупредить всякие недоразумения, Богданов влагает в уста марсианина, организующего эту экспедицию, замечание:

— Ленина я не решился взять, так как отсутствие его было бы слишком чувствительно на Земле[1].

Как то беседуя об этой книге с Богдановым, я сказал ему, что, может быть, не было необходимости мотивировать, почему это на Марс угодил не Ленин, а рядовой большевик. Богданов пресерьезно возразил:

— Так правдоподобнее. Я ставил себя в положение моего марсианина. Решив взять с земли большевика, он должен был взять Владимира Ильича. Но тогда в дальнейшем рассказе я был бы связан характером. Нужно было мотивировать . . .

Вообще, отношение к Ленину его ближайших сотрудников было таково, что он мог сказать про себя: «Большевизм — это я».

Он крепко держал фракцию в своих руках и управлял ею, как неограниченный монарх, — но при том, как монарх, «обожаемый верными подданными».

По отношению к новым людям, появлявшимся в большевистской организации, Ленин держался, как умелый ловец душ: он искал новых людей, зорко приглядывался к ним, давал им возможность выдвинуться и умел связать их с организацией. Излюбленным его приемом было приглашение новых, подающих надежды работников в «профессиналы». «Нельзя делить силы между революционной работой и заботами о заработке, говорил он. Бросайте ваше место, на жизнь будете получать, сколько нужно из нашей кассы». Для него «профессионализм» в партии был не горькой необходимостью, а нормальным порядком, в наилучшей степени обеспечивающим правильное функционирование пар-

[1] Цитирую на память. В «Красной Звезде» Ленин обозначен псевдонимом «Старик». Так называли его товарищи, работавшие с ним еще в 90-х г.г.

тийного аппарата. Он и Рожкова, и меня уговаривал брать деньги из кассы и был недоволен нашим отказом.

Влияние Ленина на входившую в соприкосновение с ним молодежь было огромное. С первого взгляда, он не посягал ни на чью независимость и был весьма терпим к мелким нарушениям партийной дисциплины. Но, в действительности, он систематически, последовательно вырабатывал из своих учеников и сотрудников армию покорных и фанатически преданных ему исполнителей.

В частных беседах с молодыми товарищами, даже у себя в Куокала, за чайным столом, Ленин ни на миг не переставал быть агитатором-организатором. Чувствуя на себе взгляд его прищуренных насмешливых глаз, собеседник не мог отделаться от ощущения, что «Ильич» читает его мысли.

Любимой темой «агитации» в тесном товарищеском кругу была для Ленина борьба с предрассудками, остатками «либеральных благоглупостей», которые он подозревал у новичков. Это была неуклонная, чрезвычайно ловкая, талантливая проповедь революционного нигилизма.

— Это смешно! Если на эту точку зрения становиться, то мы должны все бежать в полицию и заявить: мы, мол, такие то и такие то, арестуйте нас, дайте нам пострадать за народное дело!..

— Революция дело тяжелое. В беленьких перчаточках, чистенькими ручками ее не сделаешь...

— Партия не пансион для благородных девиц. Нельзя к оценке партийных работников подходить с узенькой меркой мещанской морали. Иной мерзавец может быть для нас именно тем и полезен, что он мерзавец...

Когда при Ленине подымался разговор о том, что такой то большевик ведет себя недопустимым образом, он иронически замечал:

— У нас хозяйство большое, а в большом хозяйстве всякая дрянь пригодится.

Рожков передавал мне, что однажды он обратил внимание Ленина на подвиги одного московского большевика, которого характеризовал, как прожженного негодяя. Ленин ответил со смехом:

— Тем то он и хорош, что ни перед чем не остановится. Вот, вы, скажите прямо, могли бы за деньги пойти на содержание к богатой купчихе? Нет? И я не пошел бы, не мог бы себя пересилить. А Виктор пошел. Это человек незаменимый.

Снисходителен был Ленин не только к таким «слабостям», как пьянство, разврат, но и к уголовщине. Не только в «идейных» экспроприаторах, но и в обыкновенных уголовных преступниках он видел революционный элемент[1].

Среди ближайших соратников Ленина эта тенденция принимала порой совсем курьезные формы. Так, А. Богданов, — один из образованнейших писателей-большевиков, — говорил мне:

— Кричат против экспроприаторов, против грабителей, против уголовных... А придет время восстания, и они будут с нами. На баррикаде взломщик-рецидивист будет полезнее Плеханова.

Большую роль в жизни большевистской организации играл вопрос о деньгах. В виду развития «профессионализма» денег требовалось много, — на один только Петербург не меньше 2—3 тысяч рублей в месяц.

Членских взносов не было, сборами на заводах старались не «злоупотреблять», все деньги шли из центра. Об источниках их нам не сообщалось: известно было только, что финансовые дела лежат на «Никитиче».

С этим «Никитичем» (Красиным) я встречался несколько раз, но всегда мельком. Знал я его, главным образом, со слов Ленина и Надежды Константиновны. У меня осталось отчетливое впечатление, что Никитич был в больше-

[1]) Как известно, так смотрели на уголовных преступников Бакунин и Нечаев. Но Ленин решительно отрицал связь своего взгляда на уголовных с бакунизмом.

вистской организации единственным человеком, к которому Ленин относился с настоящим уважением и с полным доверием.

Но несмотря на искусство и энергию «Никитича», денег у большевистского центра порой не хватало. В связи с этим в большевистской части Петербургского Комитета одно время горячо обсуждался вопрос об устройстве при комитете мастерской для изготовления фальшивых денег.

Проект сводился к следующему. Рабочие или служащие Экспедиции Изготовления Государственных Бумаг обещали передавать в большевистскую организацию не совсем законченные кредитки. Надо было доделывать эти бумажки, в частности, проставляя на них подписи и №№. Толковали, как изготовить клише с подписями, где приобрести нумератор, сколько все это будет стоить.

Дело, в конце концов, расстроилось: служащие Экспедиции отказались от своего предложения[1]).

* * *

С меньшевиками отношения у нас были довольно странные. Организация была общая, в Петербургский Комитет, как и в районные ячейки, входили представители обоих течений. Но совместной товарищеской работы не было и в помине, — по всему фронту кипела ожесточенная межфракционная борьба: боролись за каждую позицию, за каждый заводской, подрайонный или районный комитет.

Были заводы, где определенное течение господствовало настолько прочно, что другая сторона предпочитала не тратить сил на попытки преодолеть его влияние: так меньшевики одно время махнули рукой на Окружной район, а большевики мирились с меньшевистским «засилием» во Франко-Русском подрайоне.

[1]) Позже Вл. Ан. Жданов сообщил мне, что большевистский центр около этого времени вел с ним переговоры об организации изготовления фальшивых денег в Москве.

Как большевики имели в лице куокальского «центра» свой Ц. К., противостоявший официальному Центральному Комитету партии, так и у меньшевиков был свой П. К., направлявший их работу против официального Петербургского Комитета. Среди большевиков говорили, что эту роль нелегального П. К. играет меньшевистское большинство Центрального Комитета.

В общем, большевики и меньшевики в это время противостояли друг другу, не как два течения в пределах одной партии, а скорее, как две враждебные партии, лишь по недоразумению об'единенные общей программой и формально единой организацией.

Отмечу, что в рядах меньшевиков мы различали «более вредных» и «менее вредных». К числу «менее вредных» принадлежал Костров (Н. Н. Жордания). Ленин про него говорил:

— С Костровым можно работать. Он, хоть и меньшевик, но революционер.

Значительно хуже была репутация Мартова. Но истинным исчадием ада, олицетворением злостного оппортунизма считался Дан.

Помню, как то в куокальской квартире Ленина зашла речь об этом «злом гении» Ц. К. Я шутя сказал Ленину:

— Если революция победит и вы будете во Временном Правительстве, отправите вы Дана на гильотину?

Ленин, смеясь, ответил:

— Ну, на гильотину мы его не пошлем, а в тюрьму посадить его, пожалуй, придется.

В районах дела партии шли плохо. Рабочие мало интересовались межфракционной борьбой и видели в ней «грызню» интеллигентов. Нередко на дискуссии из рядов слушателей раздавались негодующие голоса:

— Вы сперва промеж себя сговоритесь, а потом к нам приходите!

— Чего мы вас судить будем, когда вы сами концов не нашли?

В обществе ожесточенная полемика между меньшевиками и большевиками вызывала недоумение, как спор между сектантами, которые, собственно говоря, во всем согласны между собою и расходятся лишь в неимеющих значения мелочах.

Должен признаться, что и я лично в то время склонен был именно так, по обывательски, оценивать кипевшую внутри партии борьбу. Нераз подымал я в комитете вопрос о том, что следовало бы призвать к порядку товарищей, чересчур зарывающихся во фракционных спорах.

Но не в резкости полемики была суть, а в том, что взгляды обоих течений были, действительно, непримиримы, - и именно в 1906—1907 г. г. перед партией стояли вопросы, на почве которых представители этих двух течений должны были сталкиваться, как враги.

* * *

Я говорил уже, как жалко окончилась в Петербурге июльская забастовка, и с какими настроениями петербургская с.-д. конференция констатировала ее провал. Да! большевики торжествовали по поводу неудачи июльского выступления. Для них это было не поражение пролетариата, не поражение революции, а поражение меньшевизма, поражение Центрального Комитета, который, вместе с центральными органами других партий, подписал призыв к забастовке...

1-й № большевистского «Пролетария», в статье, озаглавленной «Политический кризис и провал оппортунистической тактики», писал:

«Неудача июльской забастовки вогнала, так сказать, осиновый кол в тактику оппортунистов с.-д. Провалилась окончательно и решительно идея стачки-демонстрации. Провалился решительно и окончательно лозунг частичных массовых проявлений протеста».

Этот взгляд на июльское поражение вытекал из отношения большевиков к первой Государственной Думе: Ду-

ма была помехой для революционного движения; разгон Думы, нанеся удар «конституционным иллюзиям» крестьянства, развязывал силы революции; отныне движение должно было итти к под'ему, к восстанию; и само собой разумеется, этот новый под'ем не мог быть связан ни с Думой, ни с ее обломками.

С чем же следовало связать предстоящее выступление? Естественнее всего, — с таким моментом, который обеспечивал бы наилучшие условия для участия в нем крестьянских масс. Такой момент можно было выбрать по сельско-хозяйственному календарю. В страдную пору мужикам не до политики, раньше окончания уборки хлебов выступать им не с руки. Другое дело, когда полевые работы будут окончены... Отсюда идея Ленина «назначить всероссийское выступление, забастовку и восстание к концу лета или к началу осени, к середине или к концу августа» [1]).

Что касается до меньшевиков, то они считали, что ответом на разгон Государственной Думы должно быть совместное выступление против самодержавия всех революционных и оппозиционных сил, — от пролетариата до прогрессивной, свободолюбивой буржуазии. Выступление могло произойти не сразу после высочайшего указа о роспуске Думы, могло потребоваться несколько дней или даже несколько недель для того, чтобы народные массы раскачались надлежащим образом. Но необходимо было ковать железо, пока оно горячо, пока страна не примирилась с разгоном Думы.

Пролетариат должен был принять на себя роль застрельщика движения. Но выступление его должно было быть построено так, чтобы к нему могли примкнуть другие общественные классы. Поэтому и лозунги выступления необходимо было выдвинуть такие, которые могли бы встретить сочувственное эхо в умеренно прогрессивных кругах, вплоть до кадетов.

[1]) Н. Ленин, «Роспуск Думы и задачи пролетариата», стр. 15.

Но найти лозунги, которые увлекли бы пролетариат, не отпугивая кадетов, или привлекли бы кадетов, не отталкивая рабочих, было не легко.

В начале Центральный Комитет пытался выдвинуть, в качестве такого лозунга, требование «возобновления сессии Думы». Но сразу выяснилось, что этот лозунг не будет принят рабочими. Тогда был придуман лозунг: «против камарильи, в защиту Думы, за Учредительное Собрание». Но и этот лозунг не удержался, и вскоре его сменил третий лозунг: «борьба за Думу, как орган власти для созыва Учредительного Собрания».

Под этим лозунгом и была об'явлена июльская забастовка.

Но умеренность этого лозунга не привлекла к движению ожидаемых союзников: борьбе в союзе с рабочими буржуазия предпочла молчаливое подчинение высочайшему указу, и даже призывы «Выборгского Воззвания» были поспешно сданы ею в архив.

На лицо была новая «измена» буржуазии.

Меньшевики и большевики сделали из этого факта прямо противоположные выводы.

Большевики еще прочнее утвердились в убеждении, что городская буржуазия и интеллигенция — сила контрреволюционная, что революцию нужно делать без буржуазии и против нее, исключительно силами пролетариата и деревенской бедноты.

Меньшевики же решили удвоить усилия, чтобы привлечь на сторону революции общественные слои, напуганные грозой 1905 года.

Согласно с этим, после провала июльской забастовки, Центральный Комитет рекомендовал рабочим тактику частичных массовых выступлений протеста, при чем все такие выступления должны были, в конечном счете, подчиняться общенациональному лозунгу созыва народного представительства.

Этот план вызвал со стороны большевиков резкую критику: мы считали, что тактика, рекомендуемая Центральным Комитетом, связывает силы революции, отодвигает в неизвестное будущее вооруженное восстание, подготовку которого мы признавали в то время (в середине 1906 г.) непосредственной, срочной задачей.

Отсюда новое обострение межфракционной борьбы.

Если меньшевики потешались над большевистским планом «восстания после окончания полевых работ», то в большевистских кругах лозунг Ц. К. о «частичных массовых выступлениях» квалифицировали, как провокацию, которая ведет к полному обескровлению пролетариата и этим срывает восстание.

* * *

В первые дни после июльской забастовки, исход которой мы изобразили, как провал тактики Ц. К., сочувствие партийной периферии было явно на стороне большевиков. Момент был благоприятный для того, чтобы вырвать из рук меньшевиков руководство партией. И вот, в самом начале августа, большевики открыли кампанию за созыв экстренного партийного с'езда.

Первым, если память не обманывает меня, выступил Петербургский Комитет. К нему присоединился Московский Комитет и ряд провинциальных организаций.

Меньшевистские комитеты, со своей стороны, принялись выносить резолюции, выражавшие доверие Центральному Комитету и возражавшие против того, чтобы партийные силы отвлекались от работы на местах для участия в экстренном с'езде.

Месяц или два месяца прошло в борьбе за или против партийного с'езда. В основе этой борьбы лежало отмеченное выше глубокое расхождение тактических взглядов большевизма и меньшевизма. Но спор скользил по поверхности этих разногласий. Большевики ловили мень-

шевистский Ц. К. на неудачных выступлениях после роспуска Думы. Меньшевики побивали большевиков практическими соображениями о том, что созыв с'езда будет стоить 15,000 рублей, что продлится с'езд не меньше 3—4 недель, что частые с'езды дезорганизуют партийную работу и т. д.

Национальные партии в начале — из-за особых мотивов — стояли за созыв экстренного с'езда. Но затем Ц. К. столковался с ними, и было решено с'езда не устраивать, а собрать партийную конференцию. Собралась эта конференция в начале ноября.

За это время у нас прошла еще одна кампания, о которой я должен рассказать особо, — это была рекрутская кампания.

* * *

Исходной точкой рекрутской кампании явилось «Выборгское Воззвание» с его призывом, обращенным к народу, — не давать рекрутов правительству. Конституционалисты-демократы, подписывая воззвание, полагали, что этот лозунг намечает конституционные пути для защиты народом прав народного представительства. Но, в дальнейшем, характер лозунга коренным образом изменился.

В частности, большевики сразу отвергли мысль о пассивном бойкоте рекрутских присутствий и стали на точку зрения необходимости готовиться «не к мирному, а к вооруженному бойкоту, к решительной схватке с врагом»[1]).

В дальнейшем, от идеи «вооруженного бойкота» пришлось отказаться. Выяснилось, что речь должна идти не о том, чтобы сорвать рекрутский набор текущего года, а о том, чтобы использовать набор для революционизирования армии. Но и в этих пределах рекрутская кампания представлялась нам делом величайшей важности.

[1]) См.: «Рекрутский набор и наши задачи», в 4-м № «Пролетария» (от 19 сентября 1906 года).

Напомню, что работа в войсках была больным местом нашей партийной организации. Условия этой работы были в Петербурге тяжелее, чем где бы то ни было в России.

Я имею в виду не чрезвычайную охрану, не жандармский надзор, а особенности положения петербургского гарнизона. В состав его, как известно, входили исключительно гвардейские полки, и при том — лучшие полки империи. Материальное положение петербургского солдата — в смысле пищи, одежды, казарменного помещения — было лучше, чем где бы то ни было в провинции. Лучше был и состав офицеров. Таким образом, в петербургской казарме не было той почвы для брожения, которая во всех солдатских беспорядках 1905—1906 г. г. создавалась недочетами экономического характера — червивым мясом, гнилой капустой и т. д. А с другой стороны, в Петербурге энергичнее и успешнее, чем в провинции, велось воспитание нижних чинов в духе «верности царю и отечеству».

Отсюда — неудачи революционной пропаганды в петербургском гарнизоне. С величайшими усилиями удавалось, на лучший конец, завести «связи» с полками. Но каждый раз оказывалось, что «связи» эти ограничиваются нестроевыми командами и не проникают вглубь солдатской массы.

Сколько ни сменялось «военных организаторов» при Петербургском Комитете Р. С.-Д. Р. П., — результат их работы оказывался близок к нулю. А между тем, необходимо было, во что бы то ни стало, добиться влияния на войска, — от этого, согласно господствовавшему в организации взгляду, зависела, в значительной степени, будущность революции.

Оставалось — пытаться революционизировать армию путем особых кампаний.

Такой кампанией была ноябрьская забастовка 1905 года. Рекрутская кампания 1906 года была новой попыткой в том же направлении.

Мы начали с выяснения по районам и по заводам, кто из партийных или просто передовых рабочих подлежит призыву в ближайший набор. Призывных оказалось много. Принялись собирать их в особые кружки и выяснять с ними план дальнейших действий. Но тут обнаружилось, что призываться им предстоит в различных губерниях (по месту приписки), и потому трудно создать в Петербурге прочные ячейки для окончательного проведения кампании на местах.

В это время вопрос о рекрутской кампании обсуждался и в провинциальных организациях партии. В начале — в августе и отчасти в сентябре — отовсюду поступали оптимистические сообщения: казалось, что массовый отказ от дачи рекрутов обеспечен. Но затем, в сообщениях из провинции стали все настойчивее пробиваться нотки разочарования: всеобщим и массовым отказ от рекрутчины не будет; на лучший конец, откажутся отдельные уезды, а может быть, и в передовых уездах будут проводить бойкот рекрутских присутствий лишь наиболее революционные элементы...

Вставал вопрос, не лучше ли рекомендовать сознательным рекрутам вступать в ряды солдат, чтобы вести социал-демократическую пропаганду в армии?

Мало по малу все пришли к этой точке зрения. К моменту призыва кампания замерла: не было сделано даже единичных попыток бойкота рекрутских присутствий.

Мы утешали себя тем, что набор 1906 г. влил в ряды армии сотни тысяч распропагандированных, революционно настроенных молодых солдат. Но у меня нет данных для суждения о том, действительно ли этот набор усилил революционное брожение в войсках: связи с солдатами у нас были слабы, и точных сведений о настроении казармы мы не имели.

В партии от рекрутской кампании остался след в виде повышенного интереса к вопросу об армии.

* * *

В июле 1906 года, после разгона первой Государственной Думы, в обществе преобладало скептическое, недоверчивое отношение к обещанию правительства созвать 20 февраля 1907 года новый состав народных представителей.

Но к началу зимы появились признаки того, что правительство намерено выполнить это обещание, и что в назначенный срок Дума, действительно, соберется.

К этому времени общее политическое положение выяснилось: революционное движение стремительно шло на убыль.

Утихли аграрные беспорядки. Крестьяне начинали покупать землю через банк. В рабочем движении наступило затишье. Стачки стали реже, революционные настроения притаились в партийном подпольи. Тихо было и в войсках.

Столыпин выиграл ставку в своей азартной игре. Созывом Думы нового состава он расчитывал закрепить свою победу. Народные представители должны были собраться для того, чтобы одобрить мероприятия правительства и засвидетельствовать перед лицом всего мира, что «лучшие элементы» общества, как и весь русский народ, стоят на его стороне.

Деятельность правительства по подготовке выборов не оставляла сомнения в том, что реакция стремится, во что бы то ни стало, собрать послушную Думу с прочным октябристским или — еще лучше — черносотенно-погромным большинством...

При таких условиях пришлось партии решать вопрос об участии в новых выборах.

Собственно, тут и вопроса не было.

Для бойкотизма не было почвы ни в об'ективных условиях, ни в настроениях народных масс. «Пролетарий» так изображал положение:

«Революция притихла. Правительство одно за другим отнимает у народа все его завоевания. Правительство не прочь бы отнять и Думу, да не может. Правительство склоняется перед силой выжидающего народа и дает Думу, дает нехотя, скрепя сердце, насильно заставляя бойкотировать Думу. На первый взгляд, роли переменились. В начале года правительство гнало в Думу, рабочие бойкотировали ее; теперь правительство отгоняет от Думы, рабочий идет туда. В чем дело? В том, что в апреле Дума была демонстрацией бессилия народа, теперь она — демонстрация силы»[1]).

Бросающаяся в глаза искусственность этого противупоставления показывает, как трудно было словесной формулой охватить сущность происшедшего сдвига.

Можно было бы, пожалуй, сказать, что мы признали необходимость участия в выборах, потому что убедились, что у нас идет 49-ый, а не 47-ой год, что революционный под'ем у нас позади. Для настроений, царивших в партийных кругах (да и в рабочих массах) поздней осенью и зимой 1906 года, это было бы справедливо[2]). Но уже в начале августа — а, может быть, даже в конце июля (когда мы жили еще целиком в «47-ом году») — у нас было решение участвовать в предстоящих выборах. И № 1-ый «Пролетария», не сомневавшийся тогда в неизбежности близкого революционного под'ема, писал:

«Наступило время, когда революционные социал-демократы должны перестать быть бойкотистами».

[1]) «Социал-демократия и избирательная кампания», в № 7, от 10-го ноября 1906 года. Курсив подлинника.

[2]) У меня осталось впечатление, что от мысли о непосредственной близости восстания мы отошли в конце августа, когда провалились наши надежды на восстание «после окончания полевых работ».

Это положение мотивировалось ссылкой на «уроки кадетской Думы»: «История показала, что когда собирается Дума, то является возможность полезной агитации изнутри ее и около ее; что тактика сближения с революционным крестьянством против кадетов возможна внутри Думы... История беспощадно опровергла все конституционные иллюзии и всю «веру в Думу», но история безусловно доказала известную, хотя и скромную, пользу такого учреждения для революции, как трибуны для агитации, для разоблачения истинного «нутра» политических партий и т. д.»[1]).

Это признание агитационного значения участия в Государственной Думе, несомненно, означало переход большевизма с бойкотистских позиций на позиции, которые полгода тому назад защищали меньшевики. Но сближения между обоими течениями на этой почве не произошло. Ибо к этому времени произошел заметный сдвиг и во взглядах меньшевиков на Думу. Теперь меньшевики не довольствовались использованием думской трибуны в целях агитации. Они видели в Государственной Думе возможный «общенациональный политический центр, который в сознании народа явится преемником самодержавной власти»[2]). Участие в выборах и дальнейшую работу в Думе они оценивали, как средство принудить Думу «итти твердыми шагами по пути превращения в революционный орган власти»[3]). Именно в этом, а не в «агитационном использовании», видели они суть социал-демократической тактики в Думе. С другой стороны, большевики, может быть, чтобы прикрыть свой отказ от тактики бойкота, — сосредоточили весь огонь своей критики на меньшевистском плане превращения Думы в центр революции.

Расстояние между двумя точками зрения — меньшевистской и большевистской — было не меньше, чем в период первой избирательной кампании. Пожалуй даже, те-

[1]) «О бойкоте», в № 1, от 26 августа 1906 года.

[2]) «Социал-Демократ», № 1.

[3]) «Социал-Демократ», № 3.

перь расхождение было резче, ибо теперь у того и у другого течения была определенная тактика, а во время первой кампании ясная тактика была только у большевиков.

Таким образом отказ большевиков от бойкотизма не только не смягчил межфракционную борьбу в Р. С.-Д. Р. П., но наоборот, дал этой борьбе новую пищу.

Спор сосредоточился вокруг вопроса о предвыборных соглашениях.

* * *

В самом начале большевики (в частности, Ленин) представляли себе тактику социал-демократии на выборах во 2-ую Думу в виде соглашения с трудовиками.

1-ый № «Пролетария» писал:

«Мы созовем пятый с'езд партии; мы постановим на нем, что в случае выборов необходимо избирательное соглашение на несколько недель с трудовиками (без созыва пятого с'езда партии дружная избирательная кампания невозможна, а всякие блоки с другими партиями безусловно запрещены постановлениями четвертого с'езда) и мы разобьем тогда кадетов на голову».

И далее: «Надо сразу признать необходимость избирательного соглашения с.-д. и трудовиков на случай новых выборов»[1].

Но затем, идея соглашения с трудовиками стала как то тускнеть, выветриваться. О трудовиках говорили уже не как о ближайших союзниках, а как о «хитрых мужичках». И когда подошло время практической постановки вопроса об избирательной тактике, «Пролетарий» выступил уже с лозунгом: «никаких блоков, никаких соглашений на первой стадии»[2]. О том, чтобы разбить кадетов и получить во второй Думе большинство, уже не было речи.

[1] См. цитированную выше статью «О бойкоте»

[2] «Пролетарий», № 7, от 10 ноября 1906 года.

Впрочем, эта новая тактика была принята в петербургской организации не всеми большевиками: часть местных работников осталась на первоначальной позиции, — предвыборное соглашение с трудовиками.

Сторонники этой тактики получили в организации кличку «диссидентов». Это был редкий случай, когда в рядах большевиков образовалась оффициально признанная оппозиция.

Первыми на почву «диссидентской» платформы стали две партийных ячейки: приказчичий подрайон и военная организация.

Приказчичий кружок исходил из настроений приказчичьей массы: о партиях и, в частности, о Р. С.-Д. Р.П. эта масса имела смутное представление; нечего было мечтать о том, чтобы торговые служащие стали голосовать за чистые с.-д. списки; но в этой среде преобладали левые настроения, замечалось сочувствие социалистам, и это давало основания надеяться, что приказчики отдадут свои голоса за об'единенный список революционных партий, если таковой будет выставлен на выборах. А это имело бы большое значение не только в смысле противопоставления голосов торговых служащих голосам хозяев, но и в смысле влияния на исход выборов по городской курии.

В то время приказчики, вообще, были в большой чести. Правительство — в порядке подготовки выборов — издало правила о праздничном отдыхе для торговых служащих. Правая печать уделяла этой мере много внимания, подчеркивая, что теперь приказчики увидят, откуда они должны ожидать улучшения своей участи, и будут на предстоящих выборах голосовать за правительственных кандидатов.

Начались заигрывания с приказчиками - избирателями и со стороны купцов-кадетов (таких в Петербурге было не много, но они были на виду, резко выделяясь из массы октябристско-черносотенного купечества) . . .

Мудрено ли, что приказчики получили преувеличенное представление о значении своих голосов и своими настроениями заразили кое-кого в партийной организации, — в том числе и меня?

Военные работники тоже ссылались на настроения среды, в которой они вращались: о партиях солдаты ничего не знают; к армии можно обращаться лишь от имени всех революционных партий.

Немного позже, когда уже началась избирательная кампания в городской курии, к платформе «диссидентов» примкнула еще третья группа, — наша ораторская коллегия, обслуживавшая собрания городских избирателей. На этих собраниях не было возможности развернуть чисто партийную точку зрения; борьба велась между либералами и сторонниками революционной тактики; трудовики, эсэры и народные социалисты оказывались здесь нашими естественными союзниками; представлялось непонятным, почему в последний момент мы должны предложить левым избирателям дробить голоса между четырьмя списками.

Так определился к середине октября состав «диссидентского» течения. Кроме меня, в известном смысле, заварившего эту кашу, и военных работников, за «левый блок» стояли: Абрам (Крыленко), Игнатий (Севрук), Николай (Коновалов) и др.

Самым непримиримым нашим противником был Н. Рожков. Его точка зрения разделялась большинством организации, в частности, всеми заводскими районами.

Отмечу, что партийные рабочие (большевики) не только были против каких бы то ни было соглашений, но вообще высказывали неудовольствие тем, что мы ввязались в избирательную кампанию по городской курии: говорили, что эта кампания отвлекает из районов слишком много сил; на заводские митинги ораторы не являются, а на «кадетских собраниях» выступают по три-четыре человека один за другим.

* * *

Практический план избирательной кампании, предложенный Центральным Комитетом партии, сводился к следующему:

«Всю предвыборную агитацию мы ведем совершенно свободно и самостоятельно, развертывая всю нашу программу. В рабочих куриях мы всюду, без всякого исключения, выставляем наши партийные кандидатуры. В других местах могут быть три комбинации: 1) там, где мы имеем шансы на успех, мы выставляем исключительно партийные кандидатуры, 2) в местах, где рядом с нами выступают партии, стремящиеся вместе с нами к созыву Учредительного Собрания, и где мы не имеем шансов провести только партийные кандидатуры, мы вступаем с этими партиями в соглашение — соглашение местное — относительно общего списка кандидатов, 3) в остальных местах, если мы при этом рискуем пропустить реакционера и черносотенца, мы снимаем выставленные нами кандидатуры, рекомендуя голосовать за прогрессивного кандидата, как представляющего для нас наименьшее зло».

Этому плану большевистский центр противопоставил свой лозунг: «никаких блоков, никаких соглашений».

Казалось бы, платформа «диссидентов» могла бы явиться почвой для соглашения между обоими течениями. Ведь то, что мы предлагали, сводилось к местному (петербургскому) соглашению относительного общего списка кандидатов по городской курии с партиями, борющимися за Учредительное Собрание, — а эта комбинация была прямо предусмотрена планом Центрального Комитета.

В действительности, однако, получалось не то: против «левоблокистов» меньшевики обрушились еще с большей решительностью, чем против сторонников «чистых списков».

Они выдвинули против тактики «левого блока» три обвинения: 1) эта тактика срывает дело изоляции реакционных сил, 2) она толкает буржуазию вправо и загоняет клин между городскими и сельскими элементами демократии,

3) она подрывает самостоятельность с.-д. политики в рабочей курии.

Главный же довод против предлагаемого нами соглашения заключался в указании на «черносотенную опасность»: противопоставление кадетскому списку списка «левого блока» должно было привести к раздроблению голосов прогрессивных избирателей и к победе в Петербурге правительственных октябристско-черносотенных кандидатов.

Насколько основательны были эти опасения и обвинения?

Обращаясь к конкретным чертам тактики «левого блока», как вырисовывались они в описываемую кампанию, я должен признаться, что она, действительно, могла вызывать серьезные возражения.

Прежде всего, эта тактика не была обоснована теоретически.

Первоначально идея ее была брошена «Пролетарием» в виде лозунга «соединимся с трудовиками и разобьем кадетов». Затем, защиту ее приняла на себя кучка практических работников, исходивших из совершенно случайных, частных соображений и впечатлений: из вкусов петербургских приказчиков, из условий революционной пропаганды в казарме, из настроений предвыборных собраний. Это была чистейшая эмпирика, и дальше ссылки на эту эмпирику «диссиденты», отстаивая свою точку зрения, не шли.

Таким образом, идея об'единения революционных сил была затемнена у «левоблокистов» посторонними, привходящими соображениями, которые придавали их тактике односторонне кадетоедский характер. Именно против этого с о у с а, под которым подносилась идея «левого блока», а отнюдь не против самой этой идеи, и были направлены соображения меньшевиков.

Но в пылу полемики люди часто бьют дальше цели. И только этим психологическим законом можно об'яснить практический вывод меньшевиков: и л и никаких соглашений, и л и соглашение с кадетами.

Нужно ли говорить, что фракционерам-большевикам такая постановка вопроса со стороны их противников была весьма выгодна? Начались речи о том, что меньшевики до такой степени любят кадетов, что не хотят без них идти в Государственную Думу: «или войдем в Таврический дворец под ручку с Родичевым, или не войдем вовсе».

Позиция меньшевиков усилила кадетоедский момент в тактике «левого блока» и привлекла к этой тактике симпатии крайних фракционеров, стоявших раньше за чистые списки.

— Меньшевики против? Значит, тактика революционная!

Само собой разумеется, что та же самая тактика получила бы совершенно иную окраску, еслибы меньшевики не заострили в такой степени свою политику на идее соглашения с кадетами.

Впрочем, не выступи меньшевики п р о т и в «левого блока», эта тактика вообще не была бы принята петербургской организацией и осталась бы бесплодной затеей мало влиятельной кучки «диссидентов».

* * *

Я отмечал уже, что большевистский центр проявлял большую терпимость по отношению к «диссидентам». Но к трем группкам, составлявшим данное течение, отношение центра было несовсем одинаковое.

«Ораторская коллегия» была под подозрением, — не «окадетилась» ли она от постоянных выступлений на «кадетских» собраниях? Приказчики тоже считались народом ненадежным, — Рожков прямо пророчествовал о них: «Надуют, за кадетов голосовать будут». Зато военные работники были вне всяких подозрений, и к их доводам сторонники «чистых списков» прислушивались с наибольшим вниманием. Никто из большевиков не сомневался в том, что при выработке избирательной тактики необходимо принимать во внимание потребности военной работы.

Но на этом мы не останавливались: мы считали признаком революционности рассматривать с точки зрения интересов революционной пропаганды в казарме весь, вообще, вопрос о задачах второй Государственной Думы.

Такое подчинение вопроса о Думе соображениям об интересах работы в «военном районе» подчеркивало отсутствие в нас каких бы то ни было «конституционных иллюзий».

Военные работники настаивали на том, что вторая Дума должна, в первую голову, поставить на очередь солдатский вопрос и связаться с военной организацией. Эта точка зрения встречала в организации всеобщее сочувствие.

Как то в ноябре, после одного фракционного совещания, на котором я, защищая тактику «левого блока», ссылался на мнение военных работников, Ленин предложил мне написать для «Пролетария» статью о том, что должна сделать вторая Дума для привлечения на сторону революции солдатской массы.

Это поручение я исполнил, статью написал, и она появилась в № 12-ом «Пролетария» в виде фельетона под заглавием «О некоторых особых задачах второй Государственной Думы»[1]). Ниже мне придется еще говорить об этой статье.

* * *

На предыдущих страницах я характеризовал течения, боровшиеся в петербургской организации перед выборами во вторую Думу.

Что касается до партии в целом, то она в это время в вопросе об избирательной тактике представляла картину полного разброда.

Не помогла делу и общепартийная конференция, созванная Центральным Комитетом в начале ноября 1906 года. Конференция была сравнительно малолюдная: от Петербургского Комитета на нее был послан один делегат (не помню кто). Доклад, представленный им после конференции Комитету, был серый и скучный, — от него оставалось впечатление пустого места, — и именно, в виде пустого места изображал докладчик всю конференцию.

Победа на ней осталась за Ц. К.: его резолюции собрали 18 голосов, тогда как большевики получили 14 голосов[1]).

Признана была «допустимость местных соглашений с революционными и оппозиционно-демократическими партиями» в городской и крестьянской куриях в том случае, если в ходе избирательной кампании выяснится опасность прохождения списков правых партий». Большевики противопоставили этой резолюции свою платформу, подтверждавшую недопустимость каких бы то ни было соглашений на первой стадии выборов. Но оба течения сошлись на таком постановлении: «Ц. К. может запрещать местным организациям выставлять не чисто с.-д. списки, но не должен обязывать их выставлять такие списки»[2]).

Большевики считали, что этим они в достаточной степени оградили себя — в частности, в Петербурге — от попыток Ц. К. навязать им ненавистное «соглашение с кадетами». И потому результаты конференции не очень огорчали их. «Пролетарий» следующим образом характеризовал сложившееся внутри партии положение:

«Перед партией две платформы. Одна — 18 делегатов конференции, меньшевиков и бундовцев. Другая — 14 делегатов, большевиков, поляков, латышей. Компетентные органы местных организаций вольны выбирать, видоизменять, заменять эти платформы новыми. После решения компетентных органов мы все, члены партии, действу-

[1]) Эта статья приведена в обширных выдержках в моем очерке «Дело» с.-д. фракции второй Государственной Думы и военная организация петербургского комитета Р.С.-Д.Р.П., в № 1-м «Летописи Революции» (стр. 107-110).

[1]) На стороне большевистской тактики были поляки и латыши; на сторону Ц. К. стал Бунд.

[2]) «Пролетарий», № 8, от 23 ноября 1906 г.

ем, как один человек. Большевик в Одессе должен класть в урну бюллетень с именем кадета, хотя бы даже большевика при этом тошнило. Меньшевик в Москве должен класть в урну бюллетень с именами одних только с.-д., хотя бы его душа и тосковала по кадетам»[3]).

Но обещание строгой дисциплины на выборах было чистой «словесностью». Существенно было то, что решение, вынесенное конференцией, об'являлось не имеющим обязательного значения.

Борьба между фракционными течениями продолжалась. Особенного напряжения достигла она в Петербурге при подготовке общегородской конференции.

* *
*

Конференция должна была собраться после «обстоятельной дискуссии», на основании прямого и пропорционального голосования всех членов организации. Для подсчета голосов были назначены смешанные контрольные комиссии.

Процедура была установлена сложная: на собрании каждого рабочего кружка должно было присутствовать, минимум, 4 человека из центра (два докладчика и два члена контрольной комиссии). Между тем, по условиям конспирации, на рабочих квартирах невозможно было собрать более 10 человек сразу. Легче было устраивать собрания по мастерским или в заводской ограде в обеденный перерыв, но такие собрания приходилось проводить на курьерских, в несколько минут, и нечего было думать развернуть на них «обстоятельную дискуссию». Равным образом, невозможно было доставить на такие собрания «контрольную комиссию».

При таких условиях подготовка общегородской конференции растянулась без малого на два месяца и, в конце концов, выродилась в фабрикацию мандатов.

[3]) Там же.

В Петербургском Комитете мне поставили вопрос: сколько голосов можно собрать за большевистскую платформу среди приказчиков?

В ответ я обрисовал положение в подрайоне. Регулярно собирается лишь один центральный кружок. Все члены его будут голосовать за большевиков.

— А сколько это будет?

— Голосов пятнадцать . . .

— Что? Вы шутите! 15 голосов! Это на 200.000 петербургских торгово-промышленных служащих!

— Других ячеек у нас нет.

Принялись убеждать меня:

— Но среди приказчиков, наверное, имеются сочувствующие, примыкающие к партии?

— Ну, таких наберется порядочно . . .

— Вы можете собрать их?

— Могу.

— Так сделайте это теперь же, до конференции!

— Но ведь это люди непартийные! Как будут они голосовать? . .

— А вы думаете, у меньшевиков такие не голосуют? В крайнем случае, устраивайте по два собрания: одно — так, а второе — для голосования.

Я передал моим приятелям из приказчичьего союза предложение комитета. Говорил осторожно — об «оформлении организации». Но они сразу смекнули, в чем дело, и выразили готовность поставить дело на широкую ногу.

— Мы с одного Гостиного Двора сто человек сгоним, да апраксинцев столько же, да Мариинский рынок, да Александровский, да Васильевский остров . . . Тысячу человек представим!

Недели две спустя приказчики представили в Комитет сведения, что в их подрайоне имеется 313 организованных членов; устроить среди них дискуссионные собрания невоз-

можно[1]), но подрайонный комитет опросил свыше 100 человек, и все они высказались за большевистскую платформу.

На основании этой справки Петербургский Комитет постановил дать приказчикам на конференции 5 голосов, причем предоставил «руководящему приказчичьему коллективу» назначить делегатов. Отступление от требований инструкции мотивировалось особым значением приказчиков на предстоящих выборах по городской курии.

Возможно, что Петербургский Комитет догадывался, что приказчики представили ему дутые цифры. Но ведь не многим лучше были и остальные цифры, поступавшие в контрольную комиссию: погоня за мандатами шла во всю, и наша скелетическая организация наполнялась «мертвыми душами»[2]).

Впрочем, эти «мертвые души» не были еще главным злом, — хуже была та демагогия, которой окрасились межфракционные дискуссии.

Случайно мне пришлось ознакомиться с тем, как преломлялась наша полемика в головах рабочих.

На общественных работах, которыми руководил Совет Безработных, повсюду были партийные группы. Товарищи неоднократно предлагали мне выступать в этих группах докладчиком со стороны большевистской — хотя бы «диссидентской» — платформы. Но я от этого уклонялся, считая роль фракционного докладчика несовместимой с моим положением, как председателя Совета Безработных.

Однажды приезжаю я на постройку моста, где работало много плотников. Один из них, глава местной партийной ячейки, передает мне новость:

[1]) Помню, в числе причин, делающих невозможным устройство собраний в приказчичьем подрайоне, указывалась близость Пасхи: перед праздниками идет, мол, усиленная торговля, магазины закрываются поздно, после закрытия приказчики принуждены оставаться для уборки товаров и т. д.

[2]) Например, окружной район представил на конференцию мандатов, якобы от 450 членов партии, тогда как во всех ячейках районной организации в то время не было и 100 человек.

— А у нас, товарищ Петров, вчера собрание было, платформы сравнивали.

— Кто был от большевиков?

— Товарищ Андрей.

— А от меньшевиков?

— От них никого не было.

— Почему?

— Убоялся, верно, ихний оратор.

— Чего убоялся?

— А чтоб не зашибли его ребята за подлость евоную. Тут мост, тут вода, — никто и не узнает...

— Что вы несете?!

— Да я к тому, что ребята у нас постановили: если меньшевик к нам заявится, — в топоры его, сукина сына, чтобы не продавал буржуям рабочего класса...

— А кто об'яснил вам насчет меньшевиков?

— Товарищ Андрей.

Андрей незадолго до того появился в петербургской организации. Это был молодой человек с угреватым лицом и полуоткрытым ртом (тип губошлепа), безнадежно тупой и невежественный. Во избежание скандала, ему не разрешали выступать на открытых предвыборных собраниях, и он посвящал свои силы «дискуссиям» с меньшевиками, стараясь устраиваться так, чтобы говорить в отсутствие оппонента.

Собрав плотников, я раз'яснил им, что сведения, сообщенные о меньшевиках Андреем, не соответствуют действительности. А на другой день на явке П. К. я рассказал об этой истории и заявил, что буду требовать партийного суда над Андреем. Товарищи были уверены, что я шучу. А когда убедились, что я говорю серьезно, обрушились на меня упреками:

— Вы кампанию дезорганизуете. Может быть, товарищ Андрей хватил через край, — так с кем это не случается? Вы бы послушали, что меньшевики про нас говорят!

Историю, разумеется, замяли.

Такова была атмосфера, в которой жила петербургская с.-д. организация во время подготовки городской конференции[1]).

* * *

Конференция собралась в первых числах января, в Терпоках. С'ехалось человек 100. Образовали мандатную комиссию, в ожидании проверки полномочий разделились по фракциям и приступили к предварительному обсуждению плана действий.

Настроение у всех было тревожное. Ленин сказал:

— Меньшевики решили взорвать конференцию. Нужно держать ухо востро. Одно неосторожное слово, — и все дело пропало.

В ожидании боя с меньшевиками, обсуждали нашу тактику: «чистые списки» или «левый блок». У сторонников «левого блока» было голосов 8 или 9. Мы согласились, в интересах единства большевистской фракции, голосовать на конференции за чистые списки, которые были для нас «меньшим злом» по сравнению с соглашением с кадетами.

Между тем, работа мандатной комиссии подвигалась вперед крайне медленно.

Большевики заявили, что ими получено 2.200 голосов. Но меньшевики оспаривали эту цифру, — возражая, в частности, против приказчичьих голосов. В свою очередь,

1) В моих воспоминаниях об этом периоде имеется пробел в 2 или 3 недели: в середине декабря я был арестован по старому боровенковскому делу и отправлен в Пересыльную тюрьму, где просидел до Нового Года. Затем, мера пресечения по отношению ко мне была изменена, и я был освобожден под залог в 3.000 р. Эту сумму внес за меня, как председателя Совета Безработных, союз инженеров и техников, принимавший участие в организации советских столовых. В Пересыльной я сидел сперва на одиночном коридоре, где встречался с каторжанами-вечниками и бывшими «смертниками», а под конец — в общей политической камере. Режим был в тюрьме сносный.

большевики оспаривали почти половину меньшевистских мандатов.

Конца спору не предвиделось. Тогда большевики предложили: дать решающие голоса тем делегатам, полномочия которых ни в ком не вызывают сомнений, и на их разрешение передать вопрос о спорных мандатах.

Это была военная хитрость: большевики заранее оспорили столько меньшевистских мандатов, что в составе бесспорных делегатов их победа была обеспечена. Тем не менее, предложение было принято.

Конференция открылась. Здесь большевики повели примирительную линию: утверждались все спорные мандаты — и меньшевистские, и большевистские, — при чем лишь повышалась немного норма представительства[1]). Этим способом был определен окончательный состав конференции: 42 большевика и 28 меньшевиков.

Перешли к вопросу об избирательных соглашениях. Слово получил докладчик Ц. К. Дан. Но вместо того, чтобы говорить по существу вопроса, он прочел постановление Ц. К., предлагавшее конференции разделиться на две части, сообразно делению петербургских фабрик и заводов между избирательными округами города и губернии. Смысл этого предложения сводился к тому, чтобы устранить от участия в решении вопроса о выборах по г. Петербургу окраинные части организации, в которых были особенно сильны большевики. Таким путем из конференции были бы исключены все делегаты окружного района (давшего 9 большевиков и 1 меньшевика), а также часть делегатов заводских пригородов; остались бы лишь центральные районы, где силы большевиков и меньшевиков были приблизительно равны.

Разыгралась бурная сцена. Большевики рабочие кричали о «сенатских раз'яснениях», о «партийных Столыпи-

1) Так, например, приказчикам вместо 5 голосов дали 4 голоса. Соответственно «пощипали» и меньшевиков.

нах». Пришлось прервать заседание для совещания по фракциям.

На большевистском совещании я предложил подсчитать голоса и выяснить, что получится, если конференция исполнит требование Ц. К.: мне казалось, что у большевиков будет большинство в обеих частях конференции, и что можно было бы разойтись в разные комнаты и потом объединиться вновь по свободному решению обеих частей собрания. Но кто то возразил, что, после разделения конференции, меньшевики возобновят атаку против спорных мандатов и, если не добьются большинства, то так или иначе сорвут конференцию. Решено было не уступать.

Возобновилось заседание. Большевики внесли мотивированную резолюцию о том, чтобы продолжать занятия конференции в неразделенном составе. Меньшевики отказались от участия в голосовании этой резолюции, и она была принята 42 голосами при 28 воздержавшихся. Тогда Дан потребовал слова для формального заявления и прочел постановление Ц. К., об'являвшее, что данная конференция не удовлетворяет установленным для такого рода собраний условиям и потому решения ее не носят обязательного характера для частей петербургской организации. Делегаты-меньшевики заявили, что они покидают заседание, и двинулись к дверям. Вслед им раздавались ругательства, насмешки:

— К кадетам уходите?

— Со своими-то товарищами-рабочими соглашаться не хотите, а с буржуями столкуетесь!

При общем волнении и шуме, Ленин сидел за председательским столиком, опершись подбородком на сложенные руки, улыбающийся, торжествующий. Он понимал, что уход меньшевиков означает открытый раскол организации, и сразу оценил положение: раскол произведен грубо, повод для него выбран неумело, мотивировать его убедитель-

ным для рабочих образом меньшевики не смогут. В завязывавшейся борьбе все шансы были на стороне большевиков.

* * *

Теперь на конференции остались одни большевики. Но все же до возобновления официального заседания устроили частное фракционное совещание.

Рожков предложил подтвердить платформу меньшинства общепартийной конференции:

— Чистые списки! Никаких соглашений!

Но Ленин неожиданно для всех заявил:

— А я, товарищи, еще час тому назад был за чистые списки, а теперь стою за соглашение с эсэрами. И вот почему. Как вы думаете, куда это Дан отсюда пошел? К кадетам! К Милюкову! Завтра они подпишут соглашение, эсэеры и трудовики с ними соединятся, мы останемся одни, и с нами никто считаться больше не будет. Мы должны предупредить их: заключим соглашение с трудовиками и эсэрами и поставим им условие — никаких переговоров ни с нашими раскольниками, ни с кадетами! Тогда получится: революционные партии, с одной стороны, меньшевики и кадеты — с другой. С меньшевизмом будет кончено.

Речь Ленина была встречена взрывом восторга. Открыли вновь заседание конференции. Ленин сделал пятиминутный доклад и, после кратких прений, было почти единогласно постановлено сообщить немедленно эсэрам и трудовикам, что «Петербургский Комитет Р.С.-Д.Р.П. готов войти в соглашение с ними, под условием незаключения ими никаких соглашений с кадетами».

Я пытался отстоять включение в соглашение также и народных социалистов. Этот вопрос имел принципиальное значение: участие народных социалистов в «левом блоке» изменяло его облик, — вся комбинаци теряла при этом

характер союза пролетарских пригородов и деревни против города, приобретала оттенок большей культурности. Но, должен сознаться, я не сумел поднять вопрос на принципиальную высоту и ограничился эмпирической аргументацией, — ссылкой на настроения предвыборных собраний. Ленин возражал в шутливом тоне:

— Вы и так уже сосватали нам и эсэров, и трудовиков. А за энэсов покорнейше благодарим, — эдак мы до кадетов докатимся.

Энэсы явились для сторонников «чистых списков» козлами отпущения за совершенное грехопадение, и в резолюцию было внесено специальное примечание о том, что мы не только сами не вступаем в соглашение с народно-социалистической партией, но и от трудовиков и эсэров потребуем отказаться от соглашений с нею.

Так закончилась эта конференция петербургской организации, памятная в летописях Р.С.-Д.Р.П.

Победа нежданно-негаданно осталась за «диссидентами».

* * *

Чуть ли не на другой день после общегородской конференции меньшевики опубликовали протест против ее решений. Основывался этот протест на ряде формальных соображений: неправильности при подготовке конференции, утверждение конференцией дутых мандатов и, главное, отказ ее подчиниться требованию Ц. К. о разделении.

На этот протест Ленин ответил брошюрой «Лицемерие Дана и 31 меньшевика». В ней меньшевики обвинялись в том, что они «перекинулись» к кадетам, «предали» рабочих, «продали» буржуазии рабочие голоса.

В смысле резкости эта брошюра превосходила все до тех пор появлявшееся в нашей межфракционной литературе.

В Петербургском Комитете поднялся вопрос, можно ли распространять в районах это произведение. Рожков, добродушно посмеиваясь, говорил:

— Да-с, вещь, в высокой степени, порнографическая!

Вообще, многие большевики были недовольны тоном брошюры. Но когда мы говорили об этом с Лениным, он об'яснял свои «неудачные» выражения тем, что писать ему пришлось наспех, и потому он не оттенил достаточно ясно, что относится в его брошюре ко всем меньшевикам вообще и что — лично к Дану, по отношению к которому употребленные в брошюре выражения... еще недостаточно решительны.

Но в рабочих кварталах не обращали внимания на эти тонкости: там «разоблачения» Ленина принимались в полном об'еме. И вот поползли по заводам слухи: меньшевики п р о д а л и п р о л е т а р и а т и о б' е д и н и л и с ь с к а д е т а м и. Очень быстро эти слухи приняли более осязательную форму.

Продали... Но кому? За сколько? Откуда взялись деньги?

Молва давала ответ на все вопросы.

Купил рабочие голоса Милюков. Заплатил он 40.000 рублей. Деньги получены из Варшавы, от таможних банкиров.

На этих подробностях молва не остановилась.

На заводах рассказывали:

— Деньги меньшевики меж собой поделили, — кому тысячу рублей дали, кому больше.

В Нарвском районе один пропагандист-меньшевик пришел в кружок в новом пальто. Рабочие решили, что это пальто справлено на кадетские деньги. Отказались слушать пропагандиста, прогнали его, чуть не избили...

Вскоре появилось новое подтверждение получения меньшевиками варшавских денег: у меньшевиков оказались новые... самовары. Такой самовар — и при том серебряный — один из агитаторов-большевиков (кажется, Красиков) собственными глазами видел у Дана...

В эти дни, — это было как раз во время выборов по рабочей курии, — межфракционные «трения» в партийной

организации достигли того предела, когда все слова сказаны, запас ругательств исчерпан, и остается либо пустить в ход кулаки, либо разойтись врозь. Большевики и меньшевики перестали разговаривать друг с другом, в районах ячейки открыто кололись. Центральный Комитет назначил суд над Лениным[1]). Понятно, как должна была отразиться эта история на ходе выборов!

Но прежде чем перейти к результатам выборов на заводах, я должен вернуться несколько назад и рассказать о том, что происходило в это время в Петербурге в городской курии.

* * *

С середины октября политическая жизнь Петербурга сосредоточилась в избирательной кампании.

Сенат изощрялся в «раз'яснениях» избирательных прав населения.

«Раз'яснили» рабочих-квартиронанимателей, железнодорожников, крестьян-интеллигентов. Путем пред'явления 129 статьи депутатам, подписавшим «Выборгское воззвание», «раз'яснили» почти всех лидеров конституционно-демократической партии. Но, пожалуй, самым неожиданным «раз'яснением» явилось требование, чтоб избирательные бюллетени были скреплены печатью городской управы, с одновременным предписанием управам: не выдавать бюллетеней никому, кроме «зарегистрированных» партий. А «зарегистрированы» были: Союз Русского Народа, Партия Правового Порядка, Союз 17-го октября и Партия Мирного Обновления[2]). Таким образом, оппозиционные партии лишались возможности раздавать избирателям бюллетени с именами своих кандидатов.

[1]) Именно на этом суде Ленин формулировал свой взгляд на допустимые в полемике приемы, формулировал его в выражениях которые впоследствии повторялись нераз противниками большевизма.

[2]) Последняя удостоилась регистрации не сразу.

Но раздражение против правительства в различных слоях населения было слишком велико, чтобы политика сенатских «раз'яснений» могла принести желательные для Столыпина плоды.

В смысле внешнем вторая избирательная кампания протекала в Петербурге приблизительно так же, как в прошлый раз: та же публика, те же борющиеся партии, те же лица за председательским столом и на ораторской трибуне. Но содержание борьбы было уже иное. Я сказал бы: кампания приобрела бо́льшую серьезность.

По прежнему на авансцене шла борьба между большевиками и кадетами. Но как непохожа была эта борьба на лихие схватки прошлой кампании!

Тогда большевики с их бойкотом и кадеты с их «крестом над Казанским собором» соперничали в политическом легкомыслии. Те и другие одинаково сеяли иллюзии, без счета выдавали векселя, по которым не могли заплатить. *Теперь*, после опыта первой Государственной Думы, спор между партиями принял деловой характер.

В частности, наша ораторская коллегия на этот раз относилась к делу со всей требуемой серьезностью. По поручению товарищей, я внимательно перечел стенографические отчеты первой Государственной Думы и сделал выписки из речей кадетских лидеров; затем, мы наметили те моменты, на которых следовало остановить внимание избирателей: история с земельными комитетами, кадетские законопроекты о собраниях и о печати, обращение к народу по земельному вопросу. Эти моменты вскрывали различие двух тактик: нашей, подчиняющей думскую деятельность интересам организации народных сил для внедумской борьбы, и кадетской, отгораживающейся от народа и ставящей себе целью соглашение с правительством.

Что касается до партии Народной Свободы, то она, как и в первую кампанию, первоначально пыталась устранить из спора тактические вопросы и поставить перед избирателями дилему: или — за правительство Столыпина, или —

за наследников традиций первой Государственной Думы. Но вскоре кадетам пришлось отказаться от этой постановки вопроса и принять бой с левыми на вопросе *о тактике* в борьбе с реакцией.

* * *

В самом начале избирательной кампании кадетская «Речь» опубликовала разоблачения по делу Гурко-Лидваля.

Мы решили, что это сделано неспроста, что выдвигая вперед дело Лидваля, кадеты хотят показать избирателям, что именно их партия призвана защищать народные интересы и бороться против злоупотреблений правительства.

Но деньги, которыми так ловко распорядился Гурко, были отпущены в распоряжение правительства первой Думой, *по настоянию кадетов*, вопреки решительным возражениям со стороны социал-демократов, предсказывавших, что деньги будут раскрадены чиновниками, и предлагавших Государственной Думе взять в собственные руки продовольственную помощь населению.

Мы решили напомнить кадетам *это происхождение* лидвалиады.

Первое предвыборное собрание состоялось, если память не обманывает меня, в Соляном Городке. Докладчиком выступал Милюков. Речь его была посвящена прославлению первой Государственной Думы.

— Избиратели, говорил он, должны решить спор между Думой и правительством. Если вы на стороне Государственной Думы, на стороне законности и свободы, голосуйте за ту партию, за которую голосовали на прошлых выборах. Если вы верите обвинениям, выставленным против этой партии правительством, если вы сочувствуете военно-полевым судам, погромам, сенатским «раз'яснениям» и той системе расходования народных денег, которая проявилась в деле Гурко-Лидваля, — голосуйте за правых.

Мне пришлось и на этот раз «открывать» кампанию со стороны социал-демократов.

— Борьбой между Думой и правительством, сказал я, не исчерпывается история тех 72 дней, о которых вспоминает П. Н. Милюков. Одновременно с этой борьбой, в недрах самой Думы шла борьба двух тактик. Тяжба между народом и его угнетателями не может быть разрешена избирательными бюллетенями. Но вы должны на выборах высказаться по вопросу о тактике внутри Думы, дать вашим избранникам ясные указания: должны ли они воздвигнуть стену между собой и народом и, без участия народа, вести словесную борьбу с министрами, стараясь их усовестить и столковаться с ними, или вы считаете более правильным тот путь, который в первой Думе отстаивала с.-д. группа.

Затем, я перешел к делу Лидваля и рассказал, как с.-д. фракция боролась против передачи в руки правительства сумм, предназначенных для помощи голодающим, и как кадеты отдали деньги Гурко.

Попытка возложить на партию Народной Свободы ответственность за дело Лидваля вызвала страстные протесты со стороны кадетских ораторов; завязался спор, который продолжался до конца собрания.

В дальнейшем, центральным пунктом борьбы стал вопрос о тактике. По большей части, мы нападали; кадеты защищались. Порой, при благоприятном составе собрания, кадеты переходили в наступление: вспоминали о бойкоте первой Думы, о московском восстании, о *второй* (ноябрьской) забастовке 1905 года.

Противополагая свою *осторожную* политику нашей *неосторожной* тактике, представители партии Народной Свободы охотно обращались к сравнениям из военной истории.

— Левые всегда предлагают *штурм*, говорили они, а мы рекомендуем *осаду* власти.

За этим следовали примеры, доказывающие гибельность непрерывных штурмов против неприступных позиций и предпочтительность тщательно подготовленной осады (Плевна, Порт-Артур и т. д.)

Как и в первую кампанию, самым сильным противником социал-демократов был Милюков. Он добивался от нас точного ответа: в чем будет заключаться ваша тактика использования Думы для организации внедумских сил, и почему для этого дела нужны вам думские мандаты?

— Дума, говорил он, сложный инструмент, и пользоваться им можно лишь для определенных целей. Возьмите скрипку, — на ней можно играть. Но нельзя скрипкой заколачивать гвозди, — для этого берут молоток.

Отсюда вывод:

— Не давайте скрипки людям, которые не умеют и не собираются играть на ней! Не выбирайте в Государственную Думу представителей партий, которые не умеют и не собираются законодательствовать!

Но в общем и целом, кадеты чувствовали себя в ходе второй избирательной кампании неуверенно: настроение избирателей было левее их. Чтобы сделать свой кандидатский список приемлемым сравнительно радикальным кругам, партия Народной Свободы заявила, что она выставляет в Петербурге лишь 5 кандидатов, а 6-ое место предоставляет рабочей курии. Затем, в список кандидатов был включен М. М. Ковалевский, который в первой Думе по некоторым вопросам выступал вместе с социал-демократами и тем приобрел репутацию самого левого из русских либералов. Наконец, кадеты украсили свой список именем священника Григория Петрова.

* * *

Высокого роста, с правильными чертами лица, с целой копной седеющих волос, в длинной черной рясе, со строгим, прямым крестом на груди, Григорий Петров представлял собой наиболее эффектную фигуру второй избирательной кампании. Говорил он просто, задушевно, с чарующей искренностью. Словом владел мастерски, — в минуты подъема речь его лилась, как белые стихи.

Но в политике он был типичным обывателем и, выставив свою кандидатуру по кадетскому списку, никак не мог усвоить ни тактики этой партии, ни отличия ее от других партий.

— Откуда страстность нашего спора? вопрошал он: Мы собрались вокруг постели тяжко больной и горячо всеми нами любимой родины нашей, России. Мы все желаем ей здоровья и сил, все ищем средств, чтобы скорее поднять ее с одра болезни и муки. Каждый из нас предлагает то средство, в которое верит, предлагает его с тем большим жаром, чем горячее пылает в его сердце любовь к страдающей родине . . .

Это был обычный тон речей Гр. Петрова.

Его спрашивали:

— Почему выступаете вы с кадетами, а не с левыми?

— Он отвечал:

— По моему, чем левее партия, тем лучше она. Честь и слава тем, в ком достаточно мужества, чтобы работать в самых левых партиях. Но не все способны итти этим кремнистым путем . . .

Публике это нравилось чрезвычайно. Но на собрании в театре Немети один рабочий, смуглый и черноволосый парень, указал Петрову, какую странную роль он играет.

— Да вы, батюшка, на себя поглядите, говорил рабочий: Разве такие кадеты бывают? Так на что же кадеты вас в Государственную Думу проводят? А у них расчет простой. Пускай, думают, граждане за отца Петрова голосуют. У попа ряса широкая, он под полами в Думу пару кадетов протащит.

* * *

Из наших ораторов в начале кампании наибольший успех имел И. П. Гольденберг. Но полиция вообразила почему то, что он — наш кандидат в Думу, и арестовала его после довольно невинной — великолепной по форме — речи в Тенишевском училище.

Эту речь Гольденберг закончил словами:

— Храните связь с вашими депутатами! Подав голос за кандидатов Р.С.-Д.Р.П., ждите дня, когда ваши депутаты скажут вам: «Граждане! Вы нам нужны . . .»

Здесь, на середине фразы, пристав прервал оратора, заявив, что на лицо — призыв к вооруженному восстанию.

Арестом Гольденберга нашей коллегии был нанесен тяжелый удар.

Рожков не мог говорить на публичных собраниях в виду своего нелегального положения. Григорий (Зиновьев) отказывался выступать, ссылаясь на требования конспирации. Свидерский в самом начале кампании уехал в Прибалтийский край и там — кажется, в Риге — был арестован. Пытались втянуть в предвыборную кампанию Базарова, — оказалось, что у него не хватает голосовых средств для большой и неспокойной аудитории.

Опять главная тяжесть работы пала на «тройку», — Абрама, Николая (Коновалова) и меня.

Абрам на этот раз был слабее, чем во время первой кампании. Но и теперь он был незаменим в полемике с Родичевым. Меньшиков в «Новом Времени» посвятил большую статью (чуть ли не целый подвал) описанию одной встречи Родичева и Крыленко, — помнится, в Народном Доме графини Паниной. Он изображал их схватку, как бой между старым волком и молодым львенком.

Но имея против себя более серьезных противников, Абрам начинал нести чепуху, так что нередко даже дружески настроенные слушатели не могли понять, чего он хочет. В этих случаях истинным спасением для него бывало вмешательство полицейского чиновника.

Помню такой случай. Абрам пришел на собрание в весьма «веселом» настроении. Во время речей докладчиков, он то и дело заговаривал со мной, и я никак не мог заставить его сидеть спокойно и слушать. Вдруг председатель вызывает его фамилию. Абрам растерянно подымается.

— Ваше слово, г. Абрамов! повторяет председатель.

Абрам шепчет мне:

— Ей Богу, не знаю, о чем говорить.

Но собрание встречает его появление на трибуне аплодисментами. Он начинает речь:

— Товарищи и граждане!

Широкий жест и длинная пауза. На лице оратора печать глубокого раздумья. Снова взрыв аплодисментов. Помощник пристава начинает ерзать на своем стуле.

Абрам делает знак, что просит тишины, и бросает:

— Пришло время, когда . . .

И опять пауза. В зале напряженная тишина. Помощник пристава поднялся с места.

Абрам повторяет:

— Пришло время, когда российский пролетариат . . .

Но его перебивает голос полицейского чиновника:

— Об'являю собрание закрытым.

Под гром аплодисментов оратор спускается с трибуны.

— Ну, пронесло, шепчет он мне. Я ведь не знал, как кончить фразу. Молодец, выручил! Я пойду, поблагодарю его.

Руководство кампанией со стороны Комитета было слабое; выступали мы, в значительной мере, на свой страх и риск.

Наиболее фракционно настроенные большевики (как Зиновьев, Красиков) были недовольны нами и находили, что мы ведем кампанию не по большевистски и «замазываем» острые вопросы. В ответ мы предлагали нашим критикам самим выступать на собраниях. Красиков принял это предложение, выступил, — и провалился с треском. Желая дать нам образчик настоящей большевистской речи, он

начал с того, что выругал отца Григория Петрова (помнится, обозвал его «безмозглым попом»). Из залы послышались свистки и крики «долой». Оратор задал собранию вопрос:

— Значит, вы не желаете слушать представителя Р.С.-Д.Р.П.?

Ему ответил чей то спокойный голос:

— Мы готовы выслушать представителей всех партий, но в а с слушать не хотим, так как вы не умеете вести себя.

Красиков, ретировавшись за кулисы, об'яснял причины своей неудачи:

— Я не знал, что здесь черная сотня собралась.

Больше он не выступал.

Много неприятностей доставляли нам выступления неизвестно откуда появлявшихся большевиков, не входивших в нашу «ораторскую коллегию».

Помню одно многолюдное собрание. Говорил Милюков.

— Социал-демократы не признают Государственной Думы. Зачем же с таким упорством добиваются они избрания в эту Думу?

После него получает слово какой то незнакомый мне молодой человек, демократического вида, волосатый, в простеньком пиджаке поверх черной косоворотки.

— Вы спрашиваете, зачем мы идем в Государственную Думу? Я вам скажу, зачем мы идем в Государственную Думу. Мы идем ее взрывать.

В переднем ряду кто то протянул с досадой и нетерпением:

— Ну — ну — ну . . .

Оратор остановился, прислушался и спросил строго:

— Кто там кричит ку-ка-ре-ку?

Взрыв смеха. Из задних рядов, действительно, раздается кукареканье. Председатель звонит и просит оратора продолжать. Тот, тряхнув волосами, гордо бросает:

— Российский пролетариат не боится вашего ку-ка-ре-ку!

Шум и смех усиливаются настолько, что представитель полиции подходит к председателю и предупреждает его:

— Если не будет восстановлен порядок, я принужден буду закрыть собрание.

Председатель энергично звонит.

— Г. оратор! Покорнейше прошу вас продолжать.

Но оратор молчит, видимо, потеряв нить мысли. Наконец, вспомнил. Сделал шаг вперед, протянул руку над толпой.

— Российская социал-демократическая партия . . .

Помощник пристава, вскочив со своего места, подбежал к председателю . . .

Но оратор уже кончил фразу:

— . . . не боится ваших ку-ка-ре-ку.

И он гордо сошел с эстрады.

Пытались мы «приспособить» к выступлениям на предвыборных собраниях наших приказчиков. Но из этого ничего не вышло: приказчики, недурно говорившие на собраниях своего союза, робели перед чужой аудиторией. Наоборот, удачной оказалась мысль о пополнении ораторской коллегии рабочими. Не только в демократических районах, но и перед цензовиками рабочие ораторы прекрасно справлялись с своей задачей.

* * *

Союз Русского Народа вел избирательную кампанию в своих чайных, в Михайловском манеже, в участках, трактирах. На предвыборные собрания, устраиваемые кадетами и левыми, союзники не являлись. Не видно было и представителей Партии Правового Порядка.

Октябристы развивали энергичную деятельность, но публичным выступлениям предпочитали обход избирателей и агитацию по квартирам.

Партия Мирного Обновления устроила всего лишь одно предвыборное собрание (в Народном Доме Нобеля, на Вы-

боргской стороне). Прошло это собрание необыкновенно весело. По желанию устроителей, оппоненты должны были отвечать докладчику в порядке левизны: большевик, меньшевик, эсэр, трудовик, энэс, кадет.

Я говорил сразу после докладчика. После моей речи, во время перерыва, докладчик, Волков, подошел ко мне и, горячо пожимая мне руку, сказал:

— Совершенно с вами согласен. Как вы нашу программу разнесли! Говорил я им: нельзя с такой дурацкой программой выступать на выборах . . .

— Как? удивился я: Вы считаете программу вашей партии дурацкой?

— Идиотской! горячо подвердил Волков.

Присутствовавший при разговоре Дан — он должен был говорить от меньшевиков, но отказался от слова — поинтересовался:

— А о нашей программе что вы думаете?

— У вас, господа социалисты, ответил мирнообновленец, программа превосходная, и вы сами превосходные люди.

— Так запишитесь к нам в партию!

Подумав, Волков ответил:

— Не могу. Стар я, да и перед товарищами неудобно: хоть и дурацкая платформа, а вместе вырабатывали.

После перерыва говорил Пешехонов, от народных социалистов.

— Из программы мирнообновленцев и представленного ими доклада, говорил он, можно понять лишь одно: эти люди не выносят крови. Так мало ли кто чего не выносит! Это идиосинкразией называется. От этого нужно лечиться. От этого бром помогает, души холодные, обтирания. Но нельзя же на этом политическую партию строить!

После этого мирнообновленцы не созывали больше избирателей и не выступали на собраниях, устраиваемых другими партиями. А затем, они и вовсе отказались от

самостоятельной избирательной кампании, вступив в блок с кадетами.

Эсэры показывались редко.

С большим успехом выступали народные социалисты: Мякотин, с плавной, певучей, полной поэтических образов речью; Пешехонов, всегда нагруженный цифрами, серьезный, вдумчивый; Тан-Богораз, пересыпавший политические рассуждения неожиданными шутками, анекдотами.

Их речи сводились к критике партии Народной Свободы и к выяснению необходимости внедумской борьбы. Так же, как и мы, они останавливались, главным образом, на вопросах тактики (а не программы).

Очень радикальную позицию занимали трудовики. В частности, В. В. Водовозов в своих устных выступлениях казался несравненно более левым, чем в своих статьях и брошюрах.

Народные социалисты и трудовики были горячими сторонниками предвыборного соглашения с кадетами. Я затруднился бы определить, какой мотив был для них решающим: если они исходили из стремления к сплочению всех оппозиционных сил, то непонятно, почему их выступления на предвыборных собраниях были столь ярко окрашены кадетоедством; если они, подобно меньшевикам, боялись черносотенной опасности, то непонятно, почему в дальнейшем они так легко вступили в «левый блок», который, с точки зрения «черносотенной опасности», представлялся наихудшей тактикой. Вернее всего, народнические группы руководились соображениями о получении мандатов. Этим, быть может, об'ясняется и то, что их переговоры с кадетами сорвались не на принципиальных вопросах, а на споре о распределении мандатов: кадеты согласны были дать 2 места народникам и 1 рабочей курии, а народники требовали себе, минимум, 3 места (по одному для эсэров, энэсов и трудовиков).

Беспартийные выступали редко и почти всегда, на поверку, оказывалось, что оратор, назвавшийся беспартийным, в действительности, самый обыкновенный кадет.

Любимой темой речей «беспартийных» был призыв к соглашению между оппозиционными партиями и к выставлению общего кандидатского списка. В этих речах народникам доставалось за их чрезмерную требовательность, а кадетам — за их уступчивость — выражалось полное одобрение.

* *
*

Видную роль играли в предвыборной кампании чины полиции. Получая ежедневно новые указания от начальства, они решительно не знали, какие речи допускать, какие «пресекать». На этой почве то и дело происходили недоразумения.

Однажды полицейский чиновник остановил меня, когда я, развивая мысль о парламентских и внепарламентских методах борьбы, воспользовался примером персидской революции. Я возразил, что Персия не подчинена петербургскому градоначальству, и рекомендовал чиновнику запросить по этому вопросу более точных инструкций.

Чиновник сдался. Но дня через три мне пришлось вновь выступать в том же зале. Представитель полиции, заметив меня в толпе, подошел ко мне и сказал конфиденциально:

— Должен вас предупредить... Я имею указания: если будете о Персии говорить, — я должен сразу собрание закрыть, а на вас протокол составить.

Я изумился:

— Как могли вы получить такое предписание, когда вашему начальству неизвестно, что именно буду я говорить о персидских событиях?

— Указано: если хоть слово будет о Персии, придерживаться того пункта, что собрание уклонилось от повестки.

В повестке вопрос о Персии, действительно, не был предусмотрен...

Два раза за время избирательной кампании полиция арестовывала меня.

Первый раз арестовали в театре Немети за неуважительный отзыв о сенатских «раз'яснениях». Дело кончилось протоколом «на предмет привлечения к законной ответственности».

Другой раз скандал разыгрался в зале Общества Гражданских Инженеров. На собрании присутствовал пристав Московской части, знаменитый в Петербурге Барач. Он был пьян и то и дело перебивал ораторов.

Речи вращались вокруг вопроса о методах воздействия Государственной Думы на исполнительную власть. Я говорил об обращении Родичева к министрам.

— Вспомните, граждане, как г. Родичев в первой Думе взывал к министерской ложе: «Если есть у вас совесть, — уйдите»... А в министерской ложе сидел Гурко. Два вывода должны вы сделать отсюда: 1) у наших министров нет совести, 2) у кадетов нет средств воздействия на бессовестных министров...

Барач крикнул:

— Прошу оратора замолчать! Не допущу, чтобы говорили, что у царских министров нет совести.

Послышался смех, Барач сконфузился, и я получил возможность закончить речь. Когда я спустился со сцены, ко мне подошел околоточный и попросил выйти на площадку к г. приставу, который желает со мной об'ясниться. Я вышел на лестницу. Там стояло не меньше десяти дюжих городовиков. Они моментально обступили меня кольцом.

— Это что значит? спросил я.

Откуда то снизу ответил голос пристава:

— Молчать, не разговаривать! Веди его!

— Куда? вновь спросил я.

— Ко мне, в часть.

Но отправляться в 12-ом часу ночи в часть, в обществе пьяного пристава, мне не хотелось. Я обернулся к залу и крикнул:

— Я арестован. Прошу граждан сопровождать меня в полицию для составления протокола.

Затем спустился с городовыми вниз, взял в гардеробной свое пальто и шапку, и спокойно ждал дальнейшего. Публика высыпала на лестницу. Раздавались нелестные замечания по адресу полиции. У Барача соскочил хмель. Захлебываясь, он подскочил ко мне:

— Что вы делаете?

— Жду свидетелей для протокола.

— Никакого протокола не будет. Я хотел лишь установить вашу личность.

— Всего то? Моей визитной карточки с вас хватит?

— Да... Только скорее, пожалуйста!.. И успокойте публику!..

Городовые ретировались, я вернулся в зал, поблагодарил граждан за содействие, и собрание продолжалось. А после окончания его, несколько десятков человек проводило меня до Фонтанки, составлявшей границу владений Барача.

В общем, действия полиции, увеличивая раздражение обывателей, шли всецело на пользу крайних левых партий.

* * *

В рабочих районах избирательная кампания велась слабо.

Центральный Комитет, правда, наметил весьма широкий план кампании, расчитанный на то, чтобы в ходе выборов и на почве выдвигаемых ими вопросов перестроить партию на западно-европейский лад[1]).

Но рабочие не возлагали на Государственную Думу никаких надежд, не интересовались выборами, относились к избирательной процедуре, как к полицейской канители.

Можно было бы попытаться переломить эти настроения, но это требовало об'единенных, согласованных усилий всей партии. А между тем, большевистская часть организации была решительно против плана Центрального Комитета.

[1]) Эта идея была у меньшевиков уже во время первой избирательной кампании.

Не отказываясь от участия в выборах, большевики, вместе с тем, поддерживали среди рабочих отношение к избирательной кампании, как к делу недостойному большого внимания: между прочим, наряду с более серьезными вещами, этим делом заниматься не зазорно, но отдавать ему все силы — никогда! Предлагать это могут лишь тайные кадеты.

И чем настойчивее Центральный Комитет призывал к предвыборной мобилизации всех сил партии, тем больше усиливалась оппозиция этой тактике со стороны большевиков.

При таких условиях, избирательная кампания среди рабочих не могла развиваться.

Близость выборов не внесла в партийную организацию значительного оживления.

В этом смысле показательна была январьская общегородская конференция. Подготовлялась она без малого два месяца, погоня за голосами со стороны обеих фракций шла отчаянная, — и сколько же оказалось в организации членов? По представленным обеими фракциями мандатам, не полных 4000 человек! Но эта цифра была преувеличена, по крайней мере, в два раза, а может быть, и в четыре раза.

Организация, как я отмечал уже, была не только приведена в скелетическое состояние, но и отравлена в небывалой степени ядом внутренней межфракционной вражды. Яростные нападки большевиков на Центральный Комитет и столь же резкие выпады меньшевиков против Петербургского Комитета дискредитировали партию в глазах массы. На заводах, вокруг и без того ослабленных партийных ячеек, создавалась атмосфера недоверия, враждебности.

В период междудумья и, в особенности, за время второй избирательной кампании, мы потеряли петербургский пролетариат не только организационно, но и идейно. И это сказалось на выборах по рабочей курии 7—14 января.

* * *

На большей части крупных заводов в уполномоченные были выбраны эсэры или беспартийные, сочувствующие эсэрам.

Этот результат голосования явился для нас совершенной неожиданностью: эсэры не только не имели среди петербургских рабочих прочной организации — организацией и мы не могли в то время похвастать, — но у них работа велась лишь кое где и кое как. За неделю до выборов мы посмеялись бы над тем, кто вздумал бы говорить об «эсэровской опасности» на петербургских заводах. И вдруг, — Семянниковский, Обуховский, Путиловский и другие заводы забаллотировали с.-д. кандидатов и отдали свои голоса кандидатам социалистов-революционеров!

Большевики винили за поражение партии меньшевиков.

«Пролетарий» писал: «Меньшевики повернули к кадетам, — пролетариат петербургский отвернулся от меньшевиков. Эсэры использовали момент раскола в рядах социал-демократии, использовали негодование рабочих против кадетоподобных меньшевиков»...

Эта оценка положения давала газете основания разразиться далее такой тирадой: «Вот до какого позора довели социал-демократию эти жалкие оппортунисты, способные накануне выборов отказываться от рабочей партии ради того, чтобы торговаться о местечках с кадетами. Для всякого социал-демократа, который дорожит честью и добрым именем пролетарской партии, отсюда может быть только один вывод: беспощадная война с меньшевизмом в Петербурге. Мы должны изгнать из рабочих предместий людей, которые своей кадетской политикой отталкивают рабочих от социализма к революционной буржуазии. Мы будем преступниками, если станем считаться перед лицом насущных политических задач с формалистическими рамками и с заскорузлыми иерархическими соображениями...»[1])

[1]) «Пролетарий», № 12, от 25 января 1906 г.

Но часть организации склонна была делать иные выводы из понесенного партией поражения: об'ясняли его межфракционной грызней, перешедшей границы допустимого.

Между тем, собрались уполномоченные фабрик и заводов, выбранные 7—14 января, и оказалось, что 147 человек из их числа примыкают к с.-д. партии, 108—к партии эсэров, а 31 считают себя беспартийными.

Таким образом, у нас было все же большинство!

Произошло это в результате особенностей закона 2-го декабря, дававшего одинаковое представительство заводу с 1.000 рабочих и ремесленной мастерской с 50-тью рабочими. Нужно сказать правду: социал-демократы подавили эсэровские голоса к р у п н ы х заводов голосами городских м е л к и х предприятий, и, в частности, типографий.

Социал-демократическим кандидатом по рабочей курии шел Алексинский. Эта кандидатура была указана Петербургскому Комитету из большевистского центра. Часть товарищей была против нее: говорили, что Алексинский человек ненадежный. Предлагали проводить самого Ленина: это было не трудно, так как Алексинский шел, как корректор партийной (или полупартийной) типографии «Дело», и можно было записать на это место кого угодно. Но Ленин снял свою кандидатуту, ссылаясь на то, что неизвестно, долго ли просуществует Дума. Говорили о кандидатуре Базарова. Но он отказался.

Одно время Ленин, как будто уступая противникам кандидатуры Алексинского, заговаривал о том, что можно было бы провести в Думу Сергея Малышева.

— Чем это не кандидат? говорил он: Сразу видно, что рабочий. И в Думе он за себя постоит: коли что, не задумается председателю в морду в'ехать...

Но это была кандидатура несерьезная. И в конце концов, соперников у Алексинского не оказалось.

Социалисты-революционеры, со своей стороны, проводили Евгения Колосова. Он работал монтером на заводе

Шукерта и был известен в рабочих кругах под кличкой «монтер от Шукерта».

В собрании уполномоченных завязалась горячая борьба.

Эсэры настаивали на том, что на первой стадии выборов они получили больше голосов, чем социал-демократы. Алексинский возражал, что избирательный закон не дает средств проверить это утверждение, но петербургский пролетариат всегда шел за с.-д. партией. Кончился спор тем, что в выборщики были избраны исключительно социал-демократы-большевики.

Это вызвало среди эсэров крайнее раздражение против социал-демократов. На смену притихшей немного межфракционной борьбе пришла межпартийная перепалка не бывалой еще в рабочем Петербурге остроты и резкости.

* * *

В то время, как в рабочей курии разыгрались эти события, в городской курии дела шли у нас настолько успешно, что мы серьезно расчитывали собрать на выборах большинство голосов.

Переговоры с народниками были возложены на Красикова, Теодоровича и меня. На наше заявление о недопустимости для нас соглашения с народными социалистами, трудовики и эсэры ответили, что у них уже заключено общее соглашение с народными социалистами, но последние, исходя из интересов об'единения левых партий и принимая во внимание решение петербургской организации Р.С.-Д.Р.П., готовы освободить своих союзников от всяких обязательств. С такой же предупредительностью народники приняли наши условия относительно распределения мандатов.

Не помню, кто именно вел с нами переговоры со стороны трудовиков. Но помню, что особенную уступчивость обнаруживал один пожилой господин, который на все наши предложения отвечал:

— Для нас это вопрос второстепенный: важен самый факт об'единения левых. Мы согласны на ваши условия.

Так же ответил он на наше требование, чтобы во всех городских районах за социал-демократами было обеспечено большинство выборщиков [1]).

После того, как протокол соглашения был подписан, мы решили поставить перед Петербургским Комитетом вопрос о допущении в «левый блок» народных социалистов. Это представлялось тем более естественным, что народные социалисты, оказавшись за бортом «левого блока», не только не устранились из предвыборной кампании, но с удвоенной энергией ринулись в бой, оставаясь нашими ближайшими союзниками в борьбе против кадетов. Особенно удачно выступал в эти дни Мякотин.

Была созвана вновь конференция — точнее, ее большевистская часть, — и на ней было решено включить в «левый блок» и энэсов, — к большому огорчению Рожкова, который по этому случаю хотел даже выйти из Петербургского Комитета.

Приступили, вместе с народниками, к составлению районных списков. Согласно предварительному условию, мы должны были назвать больше половины имен, то есть, около 85 человек. Но оказалось, что нам называть некого. Меньшевики в наши списки не шли. Эсдекствующих адвокатов мы побаивались. Из наших лидеров и партийных работников одни были нелегальные, другие состояли под судом и следствием, третьи не имели права жительства в столице, четвертые не достигли требуемых по закону 25 лет.

Между тем, народники (в особенности, н.-с.) предлагали нам в качестве выборщиков людей известных всему

[1]) Не знаю, как согласовать эту позицию народников с переговорами, которые они только что перед тем вели с кадетами, и в ходе которых они с таким упорством торговались о числе мест. Повидимому, в народническом лагере, как и среди большевиков, перед самыми выборами произошел поворот тактики.

Петербургу. Решили составлять списки по «деловому принципу». И действительно, списки получились у нас хоть куда.

* * *

Когда списки выборщиков «левого блока» были готовы, перед нами встало новое затруднение: сенатское «раз'яснение» лишало нас возможности получить из городской управы штемпелеванные бланки для печатания бюллетеней.

Препятствие было весьма серьезное. Достаточно сказать, что партия Народной Свободы, в значительной степени, ради получения бланков сочла необходимым вступить в соглашение с мирнообновленцами.

Пешехонов частным образом сообщил нам, что он надеется раздобыть бланки: у него есть несколько знакомых священников, прогрессивно и даже радикально настроенных, и он собирается уговорить их «зарегистрироваться» в качестве политической группы и взять в управе бланки. Мы заявили, что этот способ нас не устраивает. Начали искать другого способа, но не могли ничего придумать.

Когда я рассказал Ленину о нашем затруднительном положении, он усмехнулся и сказал:

— Пустяки! Будто трудно управскую печать подделать? Вот Михаила Сергеевича спросите.

«Михаил Сергеевич», заведывавший техникой и паспортным бюро большевистского центра, присутствовал при этом разговоре. Взяв у меня бланк избирательного бюллетеня, он долго рассматривал и щупал бумагу. Затем, принялся изучать оттиск печати. Наконец, сказал:

— Бумага такая точно у меня найдется. Шрифты обыкновенные. А печать медная, резная. Если вы мне ее на два часа достанете, — у нас точно такие будут. Ни один эксперт не отличит.

Ленин подхватил:

— Ну, вот! Добывайте печать.

Я возразил:

— Как бы не вышло неприятностей? Уголовщиной пахнет . . .

Ленин успокоил меня:

— Это совершенный вздор! Если так рассуждать, придется от всякой конспирации отказаться.

Перешли к выяснению подробностей. «Михаил Сергеевич» об'яснил, что печать ему нужна для того, чтобы снять с нее копию электрическим (или, может быть, гальванопластическим) способом. Подсчитал, что вся операция (бумага, набор, печатание, подделка печати) будет стоить около 1000 рублей.

Ленин предложил:

— Условьтесь с народниками, чтобы расходы пополам. А сумму расходов покажите в 2000 рублей. Это справедливо: их деньги, наш труд.

Я возразил, что это неудобно:

— Михаил Сергеевич скажет нам, сколько стоила вся операция. Половину должны покрыть мы, половину возьмем с народников.

Ленин сказал:

— Ладно, Михаил Сергеевич назовет вам сумму.

На другой день мы раздобыли управскую печать (не помню точно, через кого была произведена эта часть «операции»). В условленное время печать была возвращена по принадлежности, а «Михаил Сергеевич» представил в П. К. чуть не дюжину металлических печатей, оттиски которых, действительно, невозможно было отличить от оттисков на управских бланках.

На вопрос, зачем нам столько печатей, «Михаил Сергеевич» ответил кратко:

— Так надо.

Самая трудная часть задачи была разрешена. Мы заявили народникам, что бланки будут. Наши союзники, повидимому, подозревали, что мы «добываем» бланки несовсем легальными путями, но тактично воздерживались

от расспросов: это давало им возможность, в случае провала дела, выйти сухими из воды и свалить все на нас.

Но полиция что то пронюхала.

Прошло несколько дней. Утром пришел я на комитетскую явку. Секретарша с мрачным видом сообщила:

— Ночью полиция нагрянула в типографию «Дело». Захватили на машинах бюллетени.

Это было скверно, но не слишком: в печатании бюллетеней не было ничего противозаконного, — уголовщина начиналась лишь со штемпелевания бланков поддельной печатью. Неприятно было только то, что мы оставались без бланков . . .

Но днем я встретил «Михаили Сергеевича». Справился у него относительно ночного провала. Он пожал плечами:

— Получите бланки во время. Будьте спокойны.

— Как? Разве полиция не забрала их?

— Нет. Только помещение опечатали.

— Во время изготовления бюллетеней?

— Мы уже кончали. Теперь все в сохранности.

Я так и не узнал толком, что произошло в типографии: удалось ли «Михаилу Сергеевичу» откупиться; или полиция, по недоразумению, опечатала не все двери помещения, где печатались бланки; или наши, попросту, сняли печати с дверей, проникли в помещение и, унеся оттуда бюллетени, вновь утвердили печати . . . Во всяком случае, когда днем в типографию явились следственные власти, печати на дверях были в полном порядке, а в помещении не было никаких следов, напоминавших о ночной работе . . .

Отпечатанные бланки были отнесены в Технологический институт и здесь проштемпелеваны поддельными печатями. Тут обнаружилось, насколько предусмотрительно поступил «Михаил Сергеевич», изготовив несколько печатей: требовалось прихлопнуть печатью свыше 100 тысяч листов; если-бы у нас была одна печать, то это взяло бы, самое меньшее, двое суток непрерывной работы; а теперь, при помощи

добровольцев-технологов, работа была исполнена в один вечер, а к утру кипы готовых бланков были уже развезены по районам и рассованы в надежные места.

Мы торжествовали. А наши союзники по «левому блоку» уверяли, что наши бланки даже лучше управских, и без всяких разговоров уплатили ту сумму, которую мы спросили с них, как их долю в общих расходах. Сумма была небольшая, но я подозреваю, что «Михаил Сергеевич» определил ее с таким расчетом, чтобы малая толика осталась на текущие расходы большевистского центра.

В полицейских кругах появление бланков «левого блока» вызвало большой переполох. Назначили расследование. Выяснили, что городская управа бюллетеней нам не давала, и что от «зарегистрированных» партий получить бланки мы не могли. Назначили экспертизу. Но эксперты единогласно признали наши бланки настоящими. В частности, была признана подлинной наша печать. Загадка осталась не разрешенной.

* * *

Выборы по городской курии Петербурга состоялись 6-го февраля, когда почти повсюду в России первая стадия выборов уже закончилась.

Последние дни перед выборами прошли в спорах, — существует или не существует в Петербурге «черносотенная опасность».

Кадеты, борясь против «левого блока», доказывали, что раздробление оппозиционных голосов между двумя списками (либеральным и левым) приведет к тому, что от столицы пройдут в Государственную Думу октябристы. Основной клич их устной и печатной агитации был:

«Кто голосует за «левый блок», проводит в Думу октябристов».

Этот аргумент поддерживался и меньшевиками, которые до последнего момента были глубоко убеждены в наличности в Петербурге черносотенной опасности.

Я лично этого взгляда не разделял и считал его противоречущим всем данным избирательной статистики.

В городах 45-ти губерний было избрано к началу февраля 1061 выборщиков из 1221 (оставалось еще избрать 160 выборщиков от Петербурга). Среди избранных оказалось: 112 правых, 75 октябристов, умеренных и прогрессистов, 375 кадетов и 499 «крайних левых». Это доказывало, что кадеты представляют собой в городской курии не левый фланг, а правый центр. Характерно было далее, что в 12 губерниях ни один город не дал ни одного выборщика правее кадетов. В 20 губерниях число выборщиков правее кадетов колебалось от 1 до 5. Лишь в одной губернии (Вологодской) правые провели половину городских выборщиков, да в Московской губернии прошло среди городских выборщиков 33 человека правых и «умеренных».

Выборы по крестьянской курии свидетельствовали о том, что и в деревне нет «черносотенной опасности»: здесь из 1824 выборщиков официальная статистика отметила 354 «правых», 111 «умеренных» и 68 кадетов. В остальных 1289 чел. можно было угадать элементы, родственные перводумской «трудовой группе».

По рабочей курии выборщиками прошли исключительно социал-демократы.

И лишь в землевладельческой курии черная сотня торжествовала победу.

Это позволяло нам не только оспаривать ссылки на черносотенную опасность, но и писать в избирательных плакатах:

«Народ против черной сотни и против кадетов. Кто голосует за них — тот против народа».

Но обыватель уже привык верить в «черносотенную опасность», и никакие цифры не могли разубедить его.

Это определило победу кадетов на выборах 6-го февраля.

Партия Народной Свободы собрала 28.800 голосов, левый блок — 16.700 голосов, октябристы — 16.600, крайние правые — 5.300.

Не знаю, каким способом, но большевистские статистики высчитали, что, еслибы левому блоку удалось отбить у кадетов еще 1573 голоса, то мы провели бы по городской курии 74 выборщика и, имея уже 14 рабочих выборщиков, получили бы в собрании выборщиков большинство в 88 голосов (против 86 голосов, которые в этом гипотетическом случае были бы у кадетов).

Таким образом, результаты выборов доказали, что для левых борьба за депутатские мандаты по Петербургу не была безнадежна: при иных условиях, — еслибы соглашение было заключено с самого начала, еслибы кампания велась более планомерно и не дезорганизовывалась фракционной склокой, еслибы, наконец, не жупел «черносотенной опасности», — мы могли бы победить...

Как бы то ни было, победили не мы, а кадеты. Им предстояло теперь исполнить обещание, данное перед выборами, и уступить одно из 6 мест рабочей курии. Но Алексинскому, как твердокаменному большевику, не улыбалась мысль получить депутатский мандат из рук кадетов, он хотел войти в Таврический дворец без всяких соглашений с «буржуями». И потому, когда на собрании выборщиков кадеты обратились к рабочим с вопросом, кого хотят они провести в Думу от рабочей курии, Алексинский от имени 14 выборщиков ответил:

— Ни в какие соглашения, ни в какие переговоры мы с вами не вступаем.

И он потребовал, чтобы кандидат рабочей курии был намечен записками. Кадеты подали 160 пустых бумажек, с.-д. на 14 бумажках написали имя Алексинского. Таким образом, кандидат был намечен без соглашения. Затем, поставили 6 баллотировочных ящиков. Кадеты во все 6 ящиков клали белые шары, большевики голосовали за

своего кандидата и **против** 5 остальных. В результате Алексинский собрал 174 голоса, а кадеты по 160 голосов.

Когда голоса были подсчитаны и имена избранников города Петербурга были оглашены, кто то предложил выборщикам и депутатам сняться общей группой. Но Алексинский заявил, что с кадетами, как с врагами народа, сниматься не будет.

Эта демонстрация сразу подняла авторитет нового рабочего депутата на заводах: с этого дня даже рабочие, голосовавшие 7—14 января за социалистов-революционеров, признали Алексинского **своим** депутатом.

* * *

В статье о ходе выборов в Думу в газете «Зрение»[1]) я так характеризовал обстановку, при которой должна была собраться вторая Государственная Дума:

«Черносотенной опасности нет.

«Кадетская опасность идет на убыль.

«Рабочий класс революционнее всех других классов, и главная масса его идет за Р.С.-Д.Р.П.

«Крестьянство не верит правительству, не верит кадетам и выделяет из своей среды левых, революционных вождей.

«Городская мелкая буржуазия не верит правительству, изверилась в кадетах и склоняется от них влево.

«Крупная землевладельческая знать стоит в рядах черной сотни на защите своих поместий.

«Вот, что читаем мы в каждой строке известий о ходе выборов во вторую Думу. И каждая строка этих известий твердит нам одно:

«Революция развивается, революция идет вперед, и никто не удержит ее на ее пути.

[1]) За время второй избирательной кампании у нас было два легальных органа «Простые Речи» и «Зрение». Оба издания были закрыты на 2-м №.

«Не в конституционной, а в революционной России собирается вторая Дума».

Увы! это был самообман. Действительно, выборы обнаружили переход избирателей от более правых к более левым партиям. Но за этим «полевением» не было революционной активности. А главное, избирательная кампания не вдохнула энергии в население, терроризированное военно-полевыми судами, погромами, карательными экспедициями, не пробудила в нем духа протеста, не сплотила его раздробленных сил.

Напротив того: быть может, к открытию второй Думы силы населения были еще больше распылены, чем до начала предвыборной кампании.

Так обстояло дело, в частности, в Петербурге. Социал-демократическая организация вышла здесь из избирательной кампании почти совершенно разрушенной. Эсэры, несмотря на свою победу в рабочей курии, висели в воздухе. Вражда между обеими партиями в рабочих районах усилилась в небывалой до сих пор степени (несмотря на их кратковременное соглашение в городской курии). Гегемонии кадетов среди городского населения были нанесены левым блоком чувствительные удары. Но на смену партии Народной Свободы не пришла никакая другая партия, которая владела бы сердцами так, как владели ими кадеты при открытии первой Думы.

Население не верило правительству.

Но точно так же оно не верило ни в кадетскую, ни в революционную Думу, не верило ни в конституционные пути, ни в восстание.

Население не верило в себя.

Вторая Дума собиралась в стране, готовой склониться в прах перед торжествующей реакцией.

IV. ВТОРАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.

20 февраля 1907 года. — «Берегите Думу!». — В рабочих районах. — Первые шаги социал-демократической фракции. — Декларация Столыпина и ответ социал-демократов. — В партийной организации. — На крестьянском с'езде. — Большевики и думская фракция. — Во второй Думе. — С.-д. фракция и вопрос о помощи безработным. — «Группа Рабочего Заговора». — Перед общепартийным с'ездом. — В военной организации. — Наказ в с.-д. фракцию от представителей петербургского гарнизона. — Арест. — Солдатская депутация в с.-д. фракции. — В погоне за наказом. — Допрос и фотография. — Роспуск второй Государственной Думы. — Провокация в деле военной организации. — Исидор Рамишвили.

Выборы во вторую Думу не оправдали расчетов Столыпина. Если администрации удалось, всякими правдами и неправдами, протащить в Думу около сотни крайних правых и октябристов, то еще в большей степени усилились левые партии.

Некоторое время представлялось даже спорным, кто будет «хозяином» в Думе второго созыва, — кадеты, или крайние левые. Но к началу сессии выяснилось, что социалисты, даже при присоединении к ним трудовиков, не могут образовать устойчивое большинство, что центр в новой Думе будет представлен либералами.

Итак, приходилось ожидать, что вторая Дума, как и предшественница ее, будет «кадетской». Но несмотря на это, накануне 20-го февраля в кадетском лагере царило уныние и тревога, а социалисты, — в частности, большевики, — оценивая результаты закончившихся выборов, чувствовали себя победителями.

Заранее характеризуя собирающуюся Думу, как «самый революционный парламент в самой реакционной стране», предугадывая близкие битвы в Таврическом дворце и вокруг него, мы склонны были чем-либо ознаменовать день 20-го февраля.

При обсуждении этого вопроса в Петербургском Комитете, Алексинский произнес горячую агитационную речь:

— Впервые в Думе появляется многочисленная фракция Р.С.-Д.Р.П. Пусть же знает Россия, что за этой фракцией — сила всего пролетариата! Пусть петербургские рабочие встретят открытие Думы, грозно скрестив руки на груди, и этим продемонстрируют свою боевую готовность!

Часть товарищей возражала против этого плана. Я заметил:

— Тов. Петр устраивает сам себе торжественную встречу.

Алексинский обиделся и заявил, что уходит с заседания. Его кое как успокоили. Но от устройства забастовки отказались. Решили ограничиться заводскими митингами и, — где представится возможность, — уличными манифестациями.

Но на некоторых заводах рабочие все таки вынесли постановление: 20-го февраля не работать. Заводская администрация в этом вопросе охотно шла им навстречу: забастовка в честь Государственной Думы не имела в ее глазах революционного характера.

Вокруг Таврического дворца при с'езде депутатов собралась толпа. Освистывали под'езжавших к дворцу в собственных экипажах. Аплодировали и кричали «ура» депутатам-крестьянам. Шумными овациями встретили социал-демократов, которые подошли к Таврическому дворцу все сразу, толпой, с красными значками на груди.

Депутаты обращались к толпе с речами. Но их не было слышно за уличным шумом. Несколько раз пытался говорить Алексинский. Его качали. То здесь, то там затягивали марсельезу, но каждый раз песня обрывалась

в самом начале. Пускали в воздух красные шары, и толпа аплодировала и кричала им вслед «ура».

Полиции было много. Проезжали казаки. Но не стреляли, — ограничивались тем, что «честью просили» разойтись, раз'езжали по тротуарам на лошадях, грозились нагайками и шашками.

Толпа отвечала на угрозы свистками, но уклонялась от столкновения с полицией. В общем и целом, манифестации этого дня были жидкие, жалкие, — воистину, демонстрация бессилия.

* * *

В день открытия Государственной Думы вышел № 1 большевистской газеты «Новый Луч», которая должна была явиться продолжением наших органов перводумского периода («Волна», «Вперед», «Эхо»).

Передовая первого номера кратко характеризовала изменения, происшедшие со времени созыва первой Думы: «поправение верхов, полевение низов, обострение политических крайностей». Из этого следовал вывод:

«За истекший политический год движение поднялось на высшую ступень, идя зигзагообразным путем, но неуклонно вперед и вперед».

А «высшей ступенью», по нашей терминологии, было восстание. Когда мы говорили, что движение «идет вперед и вперед», это выражало нашу уверенность в том, что миновало время стачек и демонстраций, что приближается последняя вооруженная схватка народа с правительством.

Именно в таком виде представлялась нам политическая обстановка при открытии второй Думы. В этом смысле, в начале 1907 г. мы вернулись к настроениям, господствовавшим у нас до осени 1906 г.

Иное настроение царило в эти дни в либеральных и радикальных кругах общества. Здесь все были полны страха за завтрашний день. Наиболее полное выражение эти настроения нашли в лозунге: «Берегите Думу».

Год тому назад подобный лозунг был бы невозможен. Беречь Думу? От кого? Где безумец, который дерзнул бы поднять руку на эту святыню?

Жизнь горько посмеялась над наивной верой в Думу...

Но не веря уже в могущество Думы, обыватель все же надеялся, что из Думы придет ему избавление. Из Солнца свободы Таврический дворец, в его представлении, превратился в трепетный светильник, задуваемый ветром. Но сколь ни был слаб этот светильник, он казался единственным источником света; вокруг него не было ничего, кроме беспросветного мрака реакции.

Либеральный лозунг «берегите Думу» находил обоснование в той бешеной травле, которой подвергалась в то время Государственная Дума со стороны крайних правых. Черносотенная печать, дворянские с'езды, отделы Союза Русского Народа в один голос требовали роспуска еще не собравшейся Думы и назначения новых выборов на основании закона, обеспечивающего «патриотический» и «государственный» состав «народного представительства». Правительство колебалось. И если перед открытием первой Думы мы спорили с кадетами о том, сможет или не сможет правительство разогнать народных представителей, то теперь приходилось гадать, захочет или не захочет Столыпин терпеть оппозиционную, крамольную Думу.

Нужно, рассуждал обыватель, сделать так, чтобы Столыпин не захотел разогнать новую Думу. Значит, народные представители должны постараться не раздражать его, не вызывать его неудовольствия.

К этому сводился лозунг «берегите Думу» не только на столбцах кадетской печати, но и в устах депутатов-трудовиков и в бесчисленных наказах избирателей. В день открытия второй Думы трудовиковские «Новые Силы» призывали депутатов «разумно использовать все уроки первой

Думы, чтобы не дать жадной реакции пищи для репрессивных мер против самого парламента».

Тактика перводумских кадетов казалась чересчур решительной, чересчур рискованной втородумским трудовикам. В этом сказался глубокий упадок общественных настроений, — поправение России.

Но большевики этого факта не замечали. Для нас «полевение низов» не подлежало сомнению, а «бережение Думы» было очередной предательской выдумкой либерализма. И в нашей печати, и в устной агитации мы вели энергичную борьбу против этого «соглашательского» лозунга.

* * *

Отчетливо сохранились в моей памяти настроения, царившие в рабочих районах в первые дни второй Думы. Было в них что-то напоминавшее настроения середины ноября 1905 года. Вспышки революционных чаяний и надежд перемежались с каким то скорбным предчувствием.

Шли митинги. На многих заводах говорили депутаты социал-демократы. Куда не поспевали депутаты, там выступали агитаторы Петербургского Комитета.

Толпа была напряженная, чуткая. Жадно ловили каждое слово. Громко выражали свое согласие с оратором, аплодировали, кричали «верно». Целый лес рук, как по команде, поднимался за предложенную резолюцию.

Но порой из рабочей толпы раздавались вопросы:

— Поддержать то мы завсегда готовы, да как поддержать?

— Мы то пойдем, а другие то как?

Полиция смотрела на заводские митинги сквозь пальцы. Порой конные городовые или казаки под'езжали вплотную к толпе, слушавшей депутата. Оратор продолжал говорить. А после окончания его речи, пристав или казачий офицер обращался к рабочим с приказанием:

— А теперь расходись!

И толпа расходилась.

Порой в ход пускались нагайки. Но до серьезных столкновений дело не доходило.

Правительство, приняв по отношению к Государственной Думе тактику выжидания, избегало кровопролития.

Но сравнительная сдержанность полиции не производила впечатления слабости. Скорее напротив: казалось, что Столыпин и градоначальник играют с рабочими, как кошка с пойманной мышью:

— «Захотим — разгоним. Захотим — расстреляем. А пока — слушайте ваших депутатов. Нам речи их не опасны».

Все с большей энергией развивала свою работу на фабриках и заводах черная сотня. Даже за Невской заставой, куда в 1906 году союзники не смели показываться, теперь Союз Русского Народа устраивал многолюдные собрания.

И рабочие шли к «союзникам», так как ползли слухи о предстоящих массовых расчетах и о том, что на заводах будут оставлены лишь истинно-русские люди.

Аресты шли непрерывной чередой. Это не были массовые аресты, как в период ликвидации движения 1905 года и в месяцы междудумья. Теперь хватали в одиночку то партийных рабочих, то деятелей профессионального движения, то фабрично-заводских уполномоченных. Обвинений не пред'являли. Одних держали в тюрьме, других высылали из Петербурга.

В то же время шли увольнения рабочих. Быть может, за этими увольнениями не было особого «заговора» буржуазии: просто промышленность переживала кризис, и хозяева, сокращая производство, расчитывали «лишние» рабочие руки. Но, естественно, мастера пользовались случаем, чтобы избавиться от «беспокойных» рабочих, «зачинщиков» всякого рода беспорядков.

Полиция, черная сотня, заводская администрация...

Рабочий чувствовал, что со всех сторон он окружен врагами, зорко следящими за каждым его движением, и что от этих врагов ему нечего ждать пощады. И не было в рабочей массе нашей уверенности, что «движение идет вперед и вперед»...

* * *

Первые дни второй Государственной Думы прошли вяло и скучно.

Дума должна была сконструироваться, выбрать президиум, разбиться на отделы для проверки полномочий и т. д. Этот период был отмечен одним происшествием, которое произвело сильное впечатление на всю страну, — в зале думских заседаний обвалился потолок, и катастрофа лишь случайно обошлась без человеческих жертв. В народе говорили, что это дело подстроено правительством и «господами» умышленно: хотели с одного разу всех народных представителей задавить.

В это время вновь вспыхнула борьба между большевиками и меньшевиками, борьба настолько яростная, что отклики ее еще много лет спустя раздавались в межфракционной полемике.

Началось дело из-за сущих пустяков.

Перед открытием Государственной Думы кадеты предложили всем оппозиционным фракциям и группам собраться, чтобы сговориться о выборах президиума. Народнические группы (социалисты-революционеры в том числе) приняли это предложение без колебаний. Среди социал-демократов закипел спор.

Меньшевики считали, что созываемое кадетами совещание касается не политического, а технического вопроса об организации думской работы, и что у социал-демократов в данном случае нет оснований демонстрировать свое расхождение с думской оппозицией.

Большевики встали на принципиальную точку зрения: никаких совещаний, никаких переговоров с кадетами!

В конце концов, фракция решила принять участие в совещании.

С точки зрения большевиков, это означало вступление с.-д. фракции на гибельную стезю соглашательства. Нельзя было предвидеть, куда далее увлечет ее в этом направлении меньшевистский Ц. К. И чтобы предотвратить опасность, большевики решили апеллировать к массам.

Одно случайное обстоятельство пришло им на помощь в этой кампании: оказалось, что в числе других групп кадеты (без ведома нашей фракции) пригласили на совещание об'единенной оппозиции также и «народовых демократов» (из польского кола). Эта партия, оппозиционная по отношению к русскому правительству, у себя, в Польше, играла откровенно реакционную роль, участвовала в еврейских погромах и даже организовывала убийства социалистов из-за угла. Конечно, было нетрудно доказать, что с такой партией с.-д. совещаться не о чем.

Таково происхождение памятных споров о том, как «социал-демократы пили чай с кадетами и народовцами».

К вопросу об участии в совещании с кадетами вскоре присоединились споры по поводу выборов думского президиума: можно ли предоставить председательское место в Думе представителю партии Народной Свободы? можно ли социал-демократам голосовать за кадетского кандидата? как распределить места товарищей председателя? и т. д.

Формально спор между большевиками и меньшевиками велся по старой линии: за кадетов или против кадетов? Но, по существу, расхождение было глубже. Меньшевики, ориентируясь на длительную работу Думы, рассматривали предварительное конструирование ее с точки зрения создания наилучших условий для дальнейшей деятельности фракции. Большевики исходили из представления о непосредственной близости вооруженного восстания, и потому считали

недостойным и контр-революционным делом шаги, направленные в сторону налаживания в Думе органической работы.

Большевистская печать заговорила о том, что социал-демократы в Государственной Думе стали придатком кадетов и их рабами, что «знамя партии дрогнуло в их руках».

Меньшевики, в свою очередь, обвиняли большевиков в намеренном дискредитировании партийного парламентского представительства, в искажении фактов, в клевете. Полемика, с обеих сторон, приняла крайне озлобленный характер. Организация, в смысле внутренней склоки, вернулась к тому состоянию, в каком она находилась два месяца тому назад, после январьской конференции.

Атмосферу разрядило первое политическое выступление с.-д. фракции, — ее ответ на декларацию, прочитанную Столыпиным в Думе 6-го марта 1907 года.

* * *

Выступлению председателя правительства перед Государственной Думой предшествовали горячие споры в рядах оппозиции о том, как отвечать на его декларацию.

Неизвестно было, что скажет Столыпин, и в каких тонах будет выдержана его речь: будет ли она проникнута презрением к народному представительству, или в ней будет возвещена готовность правительства прислушиваться к пожеланиям Думы и работать рука об руку с нею. Но было заранее ясно, что прения по декларации правительства, если только они начнутся, должны вылиться в критику «столыпинского режима» в целом, должны вскрыть пропасть между правительством и думским большинством.

Логическим выводом была бы формула недоверия правительству, а за нею должно было последовать требование об отставке кабинета, должна была завязаться борьба Думы за выполнение этого требования, а за сим . . . за сим мерещился разгон Думы, изменение избирательного закона.

Лозунг «берегите Думу» не позволял либеральной оппозиции ступить на этот путь.

И вот, в рядах партии Народной Свободы рождается мысль: убедить Думу воздержаться от какой бы то ни было оценки правительственной декларации, — молча прослушать ее и перейти к очередным делам.

Народнические группы (в том числе и эсэры) примкнули к этому плану, отчасти отдавая, таким образом, дань лозунгу «берегите Думу», отчасти потому, что их увлекла идея об'единения всей оппозиции, хотя бы на платформе молчания.

С.-д. фракция отвергла эту тактику и решила ответить на декларацию Столыпина своей декларацией. Обосновать ее фракция поручила своему председателю Ираклию Церетели.

6-го марта Столыпин прочел свою декларацию. Она была составлена в сдержанном, деловом тоне; и в большей своей части была посвящена перечислению законопроектов, которые правительство предполагало представить в Государственную Думу. Речь главы правительства была встречена ледяным молчанием оппозиции и центра и бурными аплодисментами правых.

После Столыпина получил слово Церетели.

Он начал свою речь словами:

«Граждане народные представители! Быть может, многих удивит то гробовое молчание, которым было встречено сегодня первое появление правительства разгона Думы, правительства военно-полевых судов громадным большинством этого собрания. Но именно в этом молчании сказалась вся сила нашего протеста, вся глубина нашего негодования, ибо нет таких криков, нет таких бурных демонстраций, которые могли бы выразить чувства народные по отношению к правительству, сковавшему всю страну цепями военного положения, заточившему лучших ее сынов, к правительству, разорившему в конец население и растратившему народные гроши, предназначенные на помощь голодающим» . . .

Таким образом, с.-д. фракция, отказавшаяся от принятой остальными оппозиционными группами тактики молчания, становилась как бы выразительницей настроений всей оппозиции.

Речь Церетели произвела огромное впечатление. Справа её прерывали враждебными криками, слева аплодисментами. Оратор закончил словами, в которых выразилась вся тактика с.-д. фракции в ее противоположности тактике перводумского большинства:

«Мы не хотим обращаться к правительству с призывом подчиниться воле народа. Мы знаем, оно показало нам, что оно подчинится только силе. Мы обращаемся к народному представительству с призывом готовить эту силу. Мы не говорим: «Исполнительная власть да подчинится власти законодательной». Мы говорим: «В единении с народом, связавшись с народом, законодательная власть да подчинит себе власть исполнительную».

Яростные нападки правых и ответное выступление Столыпина с его гневным окриком «не запугаете» подчеркнули успех выступления с.-д. фракции. Правда, ее предложение о мотивированной формуле перехода было отвергнуто думским большинством, и Дума перешла к очередным делам, не сказав ни слова о своем отношении к правительственной декларации, но с этого дня с с.-д. фракцией стали считаться и в Таврическом дворце, и в либеральной печати, и в обществе, как с серьезной силой.

Что же касается лично до Церетели, то он стал героем дня: газеты посвящали ему статьи, рассыпались в похвалах его такту, находчивости, превозносили его ораторский талант.

Судя по тому, как оценивала большевистская печать каждое слово либеральных газет в похвалу Плеханова, и вообще меньшевиков, можно было ожидать, что такое же отношение вызовут и хвалебные статьи в честь Церетели. Но этого не случилось: эти статьи не только не вызывали в нашей среде раздражения, но, напротив, доставляли некоторое удовлетворение даже фракционно настроенным большевикам, — конечно, за исключением Алексинского.

Столь «снисходительное» отношение большевиков к лаврам, пожинаемым председателем с.-д. фракции в кадетских — и даже более правых — кругах, имело свои причины. Главная из них заключалась в том, что после избирательной кампании во вторую Думу нам приходилось отвоевывать обратно у эсэров заводы и фабрики. Борьба предстояла упорная, и в ней имело значение сравнение выступлений нашей думской фракции с выступлениями эсэров. Мы учитывали в этой борьбе успех Церетели, как успех с.-д. партии вообще, при чем не останавливались на мелочах, против которых можно было спорить с фракционной точки зрения.

Лишь месяц спустя, перед общепартийным с'ездом, подбирая обвинительный материал против меньшевиков, большевики вспомнили, что в речи Церетели и в прочитанной им декларации ничего не было сказано о социализме. Но и за это упущение обвиняли не лично Церетели, а меньшевистский Ц. К. и, — почему то, — лично Дана.

* * *

Успех с.-д. думской фракции, как я упоминал уже, разрядил атмосферу в нашей партийной организации.

После январьского скандала в ней не прекращалась склока. Меньшевики, повторяя, что Ленин «состоит под партийным судом за клевету», требовали от большевиков публичного отречения от их лидера. Большевики, со своей стороны, проводили на партийных собраниях резолюции доверия Ленину и полного одобрения его деятельности. Не довольствуясь обороной, большевики переходили в наступление и обвиняли Плеханова, Мартова, Мартынова и других меньшевиков в сотрудничестве в либеральной печати, в кадетолюбии, в оппортунизме, в ревизионизме, в затушевы-

вании классовых противоречий, а короче и проще, — в предательстве пролетариата.

Преступления обеих сторон были, в глазах рабочих, не одинаково тяжелы: Ленин, на худший конец, был виновен в том, что в пылу спора «загнул» через край; а Дан, как никак, продавал кадетам рабочие голоса и на вырученные деньги купил самовар...

К тому же непосредственными виновниками раскола в глазах рабочих были меньшевики. Именно они кололи партийные ячейки, отказываясь работать с большевиками впредь до суда над Лениным. Большевики, наоборот, выступали в роли поборников единства.

Мне пришлось быть на одном довольно многолюдном собрании, где Григорий (Зиновьев) делал доклад об январьской общегородской конференции. Доклад был построен в «примиренческих» тонах. Ни одного резкого слова против ушедших с конференции меньшевиков. Лишь глубокое сожаление:

— Мы понимаем товарищей меньшевиков: конечно, им тяжело, что петербургский пролетариат отказался от сделки с кадетами. Конечно, положение у них трудное: ведь товарищ Дан уже вел переговоры с кадетами, дал им обещанья, — а вдруг пролетариат отказался от заключенного за его спиной соглашения. Товарищи меньшевики сердятся на товарища Ленина за то, что он слишком прямо написал о них. Может быть, суд и признает, что товарищ Ленин должен был скрывать от рабочих правду. Но ведь вы-то, товарищи большевики, не все под судом, — под судом только товарищ Ленин. И вы, товарищи рабочие меньшевики, не все вели переговоры с Милюковым, — переговоры вел только товарищ Дан. Зачем же вам раскалываться?

При таком обороте спора все шансы победы были на стороне большевиков.

И, действительно, рабочие массы Петербурга все тверже усваивали различие между обеими фракциями: за бур-

жуазию — так меньшевик, против буржуев — так большевик.

Можно было удовлетвориться на время достигнутым результатом, прервать межфракционную склоку и перенести огонь на эсэров.

Январьский успех социалистов-революционеров был легко ликвидирован. Рабочие возвращались к социал-демократам.

Партийная работа начала понемногу налаживаться. Росли, развивались исключительно большевистские организации.

Петербургский Комитет, состоявший после январьского раскола исключительно из большевиков, предложил меньшевикам произвести, под контролем Ц. К., новые выборы общегородской конференции, на основе пропорционального представительства обоих течений.

Меньшевики согласились.

Опять контрольные комиссии, дискуссии, погоня за голосами. На этот раз злоупотреблений было меньше, чем перед январьской конференцией. Но мертвые души пролезали и теперь: как помешаешь рабочему привести на собрание пару товарищей, за которых он ручается? Как откажешь в праве голоса кружку, который из-за полицейских условий не собирался несколько месяцев, а теперь начал собираться? Да, наконец, как определишь, вообще, границы партийной организации, когда нет ни членских взносов, ни списков, ни правильно действующих ячеек?

Не знаю, как обстояло дело у меньшевиков, но в наших ячейках голоса и на этот раз собирались не слишком строго...

Впрочем, приказчики отличились. Для них было вопросом чести доказать, что у них имеется свыше 300 членов партии. И они, в самом деле, устроили до двух десятков кружковых собраний, на которые умудрились притащить даже не 300, а целых 350 человек. Их считали и представители П. К., и представители Ц. К. — счет был правиль-

ный, — «копеечка в копеечку», как говорили приказчики. Но само собой разумеется, среди этих 350 «членов партии» были разные люди. Устроители собрания тихонько, на ухо, предупреждали агитатора-большевика:

— Вы, знаете, полегче... Царя не касайтесь... Чтоб не отпугнуть...

Как бы то ни было, в выборах на конференцию приняло участие без малого 7000 ч. По петербургским условиям, это была цифра огромная.

Большевиков на конференции оказалось в два слишком раза больше, чем меньшевиков.

Меньшевики, — в частности, представители Ц. К., — на конференции почти ничем не проявляли себя, — они заранее знали, что все их предложения будут отклонены.

Конференция решила конструироваться в постоянный руководящий центр петербургской организации. Переизбранный Петербургский Комитет должен был стать ее исполнительным органом, — чем то в роде ответственного министерства при полновластном парламенте. При определении состава П. К. большевики оставили за собой 3/4 мест (помнится, 15 мест из 20), а остальные места предоставили меньшевикам.

Из большевиков в комитет вошли Рожков, кажется, Зиновьев, Николай (Коновалов), Сергей Малышев, я, несколько рабочих и несколько твердокаменных интеллигентов. Меньшевики вошли в комитет несколько позже, имен их я не помню, — во всяком случае, видных работников среди них не было. На заседания они приходили редко, держались, скорее, как понятые, чем как активные члены организации: воздерживались при голосовании, в прениях не участвовали, сидели молча, в сторонке.

Из всей петербургской организации меньшевики прочно удержали за собой лишь Франко-Русский подрайон, несколько заводов на Выборгской стороне и на Васильевском Острове, да еще железно-дорожников. Таким образом, при ликвидации раскола почти вся петербургская организация осталась в руках большевиков.

* * *

В феврале — марте 1906 года с.-д. партийная работа развивалась сравнительно успешно не только в Петербурге, но и в провинции, — даже в деревне.

Уже издавна при нашем окружном районе значилась (кажется, в виде особого подрайона) крестьянская организация. Не знаю, когда и при каких обстоятельствах она возникла. Но в 1906 году она не то рассыпалась, не то утратила связь с Петербургом, и с тех пор числилась в нетях. Был слух, что там засели меньшевики.

Неожиданно в феврале в окружной районный комитет явился с докладом представитель крестьянских работников, молодой человек лет 25, белобрысый, в больших круглых очках, с негромким голосом, плавной размеренной речью, скромными манерами.

Это был видный крестьянский работник, меньшевик Степан Деревенский. От него мы узнали, что с.-д. крестьянские группы рассеяны по всей Петербургской губернии. Особенно много возникло их за последние месяцы, после разгона первой Думы, когда начались усиленные высылки рабочих из столицы на родину. Высланные вызывают интерес среди земляков. Крестьяне расспрашивают их:

— За что тебя пригнали?

— Видел ли в городе царя? Какой он?

— Видел ли депутатов?

Высланный в ответ рассказывает и про царя, и про все остальное. С этого начинается агитация, которой никакая полиция не может помешать. А где высланный оказывается посмелее да поэнергичнее, или где на деревню приходится два-три высланных, там вскоре складывается группка революционно настроенных мужичков, тяготеющих к «рабочей» партии.

Короче, при содействии петербургского градоначальника наша крестьянская организация в короткое время раскинула по губернии такую сеть кружков, о которой полгода назад она и мечтать не могла.

В заключение доклада, Степан сообщил, что в середине марта состоится в Ямбурге уездная конференция крестьянских организаций, и просил комитет послать туда своего представителя. Должен признаться, что я до тех пор и не подозревал о существовании в петербургской губернии уездного города Ямбурга. Мне послышалось, что Степан Деревенский устраивал конференцию в Гамбурге, и я иронически спросил его: Что так далеко?

Степан об'яснил, что это всего в трех или четырех часах езды от Петербурга...

Со времени моей злополучной поездки в Новгородскую губернию (в ноябре 1905 года), я считался в партии специалистом по пропаганде в деревне. Мне и предложили ехать (вместе с Деревенским) на ямбургскую уездную конференцию.

Выехали мы ночным поездом. Сидели на коротеньких лавках у окна, и Степан не спеша рассказывал мне о своей работе в деревне.

Рассказывал, как во время первой Думы он об'езжал деревни, проводя на сходах наказы о земле и воле. Раз приехал он в село, где сход всего за несколько дней до того, по предложению местного священника, послал телеграмму на высочайшее имя с ходатайством о разгоне Государственной Думы и уничтожении «жидовской конституции». Как тут быть?

Степан созвал через старосту крестьян и обратился к ним с речью, как ходок от крестьянского общества какой то дальней губернии.

— Послали меня мужики узнать, где крестьяне хорошо живут. Нигде я такой деревни не нашел, да вот прочел в газете вашу телеграмму к царю...

Начал расспрашивать, всем ли довольны в селе: хватает ли земли? хороши ли кругом помещики? хорош ли земский? Мужики принялись жаловаться: и земли мало, и помещики — кровопийцы, и начальство плохое.

Выслушав все жалобы, Степан сказал мужикам:

— Что же вы, старики, наделали? У вас все ни дать, ни взять, как в нашей деревне. Да и повсюду не лучше, — об этом депутаты уж давно царю докладывали. Да только баре ему сказали, чтоб мужикам он не верил. Царь и не знал, кому верить, депутатам или барам. А как пришла ваша телеграмма, баре с нею к царю и пошли: «Видишь, наша правда, и мужики за нас говорят». Царь им и говорит: «Теперь я сам вижу, что ваша правда». И сел манифест писать, чтобы депутатов прогнать, а начальство оставить и земли мужикам не давать.

Мужики ахнули. Принялись ругать священника, подбившего их на посылку телеграммы. Стали просить агитатора написать другую телеграмму, в которой все было бы сказано по правде. Степан сперва отговаривался, — все равно, мол, дела теперь не поправишь; затем сдался, написал крестьянам новый приговор... Теперь в селе прочная партийная организация.

Приехали в Ямбург глубокой ночью. Степан повел меня в город. Шли по темным улицам; со всех сторон оглушительно заливались собаки. Наконец, Степан остановился у какой то калитки.

— Здесь, подождите минутку.

Он исчез в темноте. Ждать пришлось долго. А вернувшись, Степан сообщил, что полиция пронюхала о предполагавшейся конференции, и потому местные товарищи решили перенести собрание в другое место, — он назвал деревню. Ехать нужно было поездом, а потом от станции идти версты три пешком.

Степан уже бывал здесь и уверенно шагал по занесенной снегом дороге. Снег казался розовым под первыми лучами утреннего солнца. Деревья ближнего леса, как

голубые облака, вставали над равниной. Воздух напоен бодрящей свежестью. Идти весело, приятно.

В деревне зашли в большую избу с резными наличниками. Хозяин, — уже немолодой, бородатый человек, — не то купец, не то крестьянин с виду, встретил нас приветливо, усадил за стол подкрепиться с дороги.

— Как с'езд? спрашивал Степан.

— Собираются понемногу. Которые до свету приехали, а которые под'езжают.

В избу зашел приземистый, плотный мужик, с курчавой бородой, с вздернутым вверх, будто перебитым носом. На груди — медная бляха, в одной руке — большой охотничий рог, в другой — ружье. Взглянул на нас и спросил:

— Петербургские?

Хозяин избы кивнул головой.

Мужик с бляхой подошел к нам и заговорил деловым тоном:

— Это я для порядку. Неровен час, сюда их принесет... Так через деревню дорога одна, — хочешь направо поезжай, хочешь налево... Как с'езд соберется, перед правлением мы лошадей поставим, а за околицу я ребят пошлю, туда вот — с трубой, а на ту сторону — с ружьем. Чуть что, ты труби, а ты стреляй! Мы и будем знать, откуда тревога. Вы, значит, уехали, мужики по избам разошлись, а я с писарем в правлении — будем их принимать. Пока они концы разберут, — вы не то, что до Петербурга, — до Москвы доедете.

Все это — как доклад по начальству. Я спросил старосту:

— В деревне знают о с'езде?

— Как же! Всем об'явлено, чтоб в правление не лезли, не мешали.

Вспомнив свой «опыт» 1905 года, я предложил устроить заседания с'езда открытыми, при всей деревне. Степан и староста одобрили мое предложение. Конференция открылась в избе сельского правления. Спереди, на лавках, расселись делегаты, позади толпились крестьяне.

Делегатов было немного: 16 человек с решающими голосами, да мы со Степаном, да два молодых человека из Ямбурга. Всего было представлено 14 партийных ячеек, насчитывавших, в общей сложности, 200 членов.

Начались отчеты с мест. Слушая их, я диву давался. Во всех партийных группах ежемесячные членские взносы — гривенник, пятиалтынный. Выписывают газеты. Читают вслух, в сельском правлении, для всего общества. В некоторых деревнях установлены особые сборы — на вооружение. Две деревни уже приобрели по браунингу. В одной деревне партийная группа сняла у общества в аренду мельницу: вырученные за помол суммы идут на приобретение революционной литературы и оружия. В другой деревне высланный из Петербурга слесарь смастерил машину для изготовления драни (для крыш) и передал ее партийной группе; работают при машине члены группы поочередно, без всякого вознаграждения; берут заказы; крестьяне, зная, что деньги идут на революцию, платят, не торгуясь. Крестьянин, рассказывавший об этом «доходном» предприятии, с гордостью представил и денежный отчет, — что то на 22 рубля с копейками.

Другие останавливались на экономической борьбе крестьян с помещиками, — из-за арендной платы, из-за покосов: во всем уезде этой борьбой руководили партийные группы.

После докладов с мест конференция перешла к обсуждению «текущего политического момента». Я сделал доклад, делегаты засыпали меня вопросами. Больше всего спрашивали о Государственной Думе, особенно интересовались историей с обвалом потолка.

Затем спрашивали: Долго ли просуществует вторая Дума? На когда назначено восстание?

Вопрос о восстании крестьяне ставили совершенно так, как ставился этот вопрос в нелегальной большевистской

литературе: нужно сговориться, выбрать время и назначить день и час, — а народ уж не «подгадит», восстанет.

Делегаты и время для восстания указывали точно так, как Ленин:

— Поспешить нужно, чтобы до весны управиться. Весной то нам не до революции будет.

Перешли к задачам с.-д. работы в деревне. Мысль крестьян упорно цеплялась за вопрос о вооруженной борьбе народа с правительством. И их предложения поражали меня свежестью, новизной:

— В 5-ом году ошибочка у вас, питерских, вышла, — когда Москва бунтовала, чугунку остановить не сумели. Почему? Потому, что не с того конца дело повели. В городах войско, там ничего не поделаешь. А как начнут мужики по всему пути гайки вывинчивать, да костыли вырывать, да рельсы снимать, кто им помешает?

Говорили о посылке ходоков в Думу, о создании широкой выборной организации, о смещении местных властей.

В заключение — обсудили вопрос о предстоящем общепартийном с'езде. Устроили дискуссию по платформам, — все, так же, в присутствии всей деревни. За большевистскую резолюцию было подано 118 голосов, за меньшевистскую — 54[1]).

Закончилась конференция поздно вечером. Мы со Степаном хотели тотчас же отправиться на станцию, чтобы к ночи вернуться в Петербург, но оказалось, что ближайший поезд проходит лишь утром. Пришлось часов до трех ночи остаться в деревне.

Местный учитель зазвал нас к себе. Вынул из стенного шкафчика графин и принялся усердно угощать нас водкой. Мы отказывались, он пил один, продолжая нас потчевать и жалуясь на скуку деревенской жизни и на темноту мужиков.

[1]) В № 16 «Пролетария» помещен довольно подробный отчет об этой конференции, написанный мною.

Было уже за полночь, когда кто-то легонько постучал в ставню, и под окном послышался тонкий голосок:

— У вас свет? Вы еще не ложились? Можно к вам?

Учитель, поспешно убрав водку, вышел в сени. В избу вошла молоденькая девушка, с раскрасневшимся от мороза лицом, вся запорошенная снегом. Отряхая снег с шубки, она с досадой говорила учителю:

— Такая обида! Зря проездила, — перенесли куда то, а куда, никто не знает.

— А конференция то у нас собралась, усмехнулся учитель.

— Как у нас? Не может быть!

Учитель указал на нас. Девушка с любопытством вглядывалась в наши лица — и вдруг разрыдалась, как 5-летняя девочка, разбившая любимую куклу. Опустилась на лавку, отвернулась к стене, закрыла лицо руками и плакала, жалуясь на свое горе:

— Три месяца ждала... Нарочно в город поехала... А они сюда перенесли... А я ничего не видела...

Чтобы утешить ее, мы предложили ей рассказать обо всем, что было на конференции. Она успокоилась, вытерла слезы, рассмеялась и подошла к нам знакомиться.

Оказалось, что это сельская учительница, помощница учителя, угощавшего нас водкой. Жила она в соседней избе.

Выслушав наш «доклад» о конференции, девушка стала умолять нас зайти к ней посмотреть ее «библиотеку» и посоветовать ей, что читать для самообразования.

«Библиотека» состояла из двух стопок книжек, старательно установленных на столике, служившем учительнице и для исправления школьных тетрадок, и для еды, и для туалета. Подбор книжек был случайный: «Спартак», «Овод», биография Бланки, «Беседы о труде» Карышева, политическая экономия Железнова. Мы похвалили выбор и посоветовали прибавить «Эрфуртскую программу», «Коммунистический манифест» и «Аграрный вопрос» П. Маслова.

С горящими от радостного возбуждения глазами, девушка записывала названия книг, переспрашивая по нескольку раз, как пишется «коммунистический» и «эрфуртская».

Расставшись с нею, мы пошли на станцию по снежной дороге, под сверкающим миллионами звезд безоблачным небом . . .

В Петербурге я рассказал о проведенной нами конференции, как о большой и неожиданной удаче.

Правда, я не говорил, что «в деревне все готово», что «крестьяне ждут призыва». Но из моего доклада, несомненно, мог получиться такой вывод.

Лишь позже я понял, что речи делегатов на ямбургской уездной конференции не представляли собою голос Русской Земли, что в них звучали лишь поздние отголоски настроений рабочих пригородов Петербурга . . .

* * *

В центре нашей партийной работы все яснее становились вопросы, связанные с Государственной Думой, а между тем думская с.-д. фракция была в руках меньшевиков.

Алексинский рассказывал о притеснениях, которым он подвергался во фракции: его затирают, не дают ему выступать, все делается по сговору Джапаридзе и Церетели с представителями Ц. К. Обиднее всего было то, что настоящих меньшевиков среди депутатов было немного, но они вели за собой всю фракцию. Необходимо было противопоставить им сплоченную группу депутатов-большевиков.

Началась обработка депутатов. Центром этой кампании служила квартира, снятая Алексинским на Загородном, недалеко от Технологического Института.

В эту квартиру, куда перебралась и большевистская редакция, сходились депутаты большевики или склоняющиеся к большевизму. Сюда приходили рабочие с наказами, с резолюциями митингов, с жалобами на заводскую администрацию и полицию. Кажется, здесь был устроен также чайный буфет, — во всяком случае, эта квартира была известна в организации под названием «живопырни».

Из большевистских работников здесь подвизались Рожков, Гольденберг и, кажется, Зиновьев. Звали и меня, но я заходил в «живопырню» лишь урывками, между делом.

Иногда, по вечерам, здесь устраивались собрания депутатов с докладами на политические темы.

Одно такое собрание отчетливо запомнилось мне.

Обширная комната, разделенная на-двое аркой. По одну сторону от арки, под электрической люстрой, стол, вокруг него человек десять депутатов. По другую сторону, в полумраке, на беспорядочно расставленных стульях, вперемежку с депутатами расселись петербургские работники. В глубине широкий диван, — на нем развалились Рожков, Гольденберг, Николай. Здесь примостился и я.

Открыл собрание А. Богданов.

— Мы собрались, сказал он, чтобы столковаться о том, как понимаем мы задачи большевизма. Прошу высказываться . . .

Не знаю, был ли запасен для этого собрания официальный докладчик. Но первым попросил слово Красиков. Он был очень красен с лица, один ус торчал у него вверх, другой спускался вниз, и на ногах держался он не вполне твердо. Выдя в пустое пространство под аркой и широко расставив ноги (для устойчивости), он начал свою речь:

— Товарищи, у нас, у большевиков, всегда прямая тактика, мы никогда не должны забывать ее. А в чем наша тактика, товарищи? Всем в морду! Кадет — так кадету в зубы! Эсэр — так эсэру в ухо! Меньшевик — так меньшевику в рыло!

Для большей наглядности Красиков и жестами пояснял, в чем заключается большевистская тактика.

— Говорят, продолжал он, должны мы толкать буржуазию влево. А как ее толкнешь? А ты зайди справа, да хлясть ее по морде! Вот что такое большевизм . . .

Мы, на диване, в глубине комнаты, чувствовали себя неловко. Гольденберг порывался встать, чтобы остановить оратора. Рожков давился от смеха. Но депутаты слушали со вниманием и почтением.

Особенно поразил меня бородатый, благообразный Серов, сидевший прямо против оратора и проникновенно кивавший головой в такт его выкрикам. На лице Анисимова тоже читалось благоговение неофита, перед которым наконец то открылась высшая тайна непонятного культа . . .

Впрочем, обработка депутатов в квартире на Загородном плохо подвигалась вперед. Депутаты приходили в «Живопырню», толковали с нашими рабочими, уверяли, что они сочувствуют большевизму, а во фракции шли за Церетели, Джапаридзе и представителями Ц. К.

* * *

Дело в том, что с.-д. фракции приходилось работать в обстановке, при которой прямолинейная тактика Красикова («всем в морду») была неприменима.

Я говорил уже, что решающая роль во второй Думе, как и в первой, принадлежала партии Народной Свободы. В зависимости от ее позиции, по любому вопросу получалось либо правое, либо левое большинство. А благодаря поддержке промежуточных групп, в отдельных случаях кадеты могли проводить желательное им решение сами — против левых и правых.

Основой же всей тактики конституционалистов-демократов во второй Думе было стремление во что бы то ни стало избежать — преждевременного, с их точки зрения — столкновения с правительством. Не было речи не только об организации общественных сил вокруг Думы, но и о таких методах парламентской борьбы, как вотум недоверия, отклонение бюджета. Даже требование ответственного министерства признавалось несвоевременным. Все усилия были направлены к тому, чтобы наладить органическую работу Думы и добиться делового сотрудничества с правительством, на почве выработки законопроектов, рассмотрения смет и т. д., и т. д. Лишь в запросах партия Народной Свободы проявляла свою оппозицию правительству Столыпина.

Трудовики, как и в первой Думе, не имели собственной определенной тактики. Порой они поддерживали социал-демократов, но чаще, в решительный момент, голосовали с кадетами.

Слабо проявляли себя и другие народнические группы, — энэсы и эсэры. Возможно, что помимо других, более общих причин, их выступления в Думе связывала усвоенная крайними правыми тактика — по всякому поводу выдвигать вперед вопрос о террористических актах и требовать от Думы осуждения революционного террора. Между думской деятельностью социалистов-революционеров и боевыми предприятиями партии было бьющее в глаза противоречие, и оно многопудовой гирей висело на ногах депутатов - народников.

Таким образом, вторая Дума не оправдывала характеристики, которую мы давали ей, как «самому революционному парламенту в самой реакционной стране».

А хуже всего было то, что Дума все время висела на волоске. Не прекращались слухи о предстоящем разгоне ее. Депутаты не чувствовали твердой почвы под ногами.

С.-д. фракции приходилось учитывать все эти обстоятельства. Приходилось считаться и с тем, как бы не сыграть на руку черной сотне, которая старалась провоцировать Думу и вносить в ее заседания элемент скандала.

Наша фракция успешно справлялась с этими трудностями. Ее выступления по вопросам о земле, о помощи

голодающим, о бюджете, о контингенте новобранцев и т. д. были проведены блестяще. С каждым днем она завоевывала в рабочих массах все больше симпатий.

Отчетливо помню: в марте — апреле у нас, в большевистской организации, определенно любили думскую фракцию, — любили ее, несмотря на разговоры о том, что депутаты «ходят пить чай к кадетам».

Правда, в это самое время большевистский центр собирал обвинительный материал против думской фракции для предстоявшего с'езда. Но эта кампания велась под сурдинку, — петербургская организация, в целом, в ней не участвовала.

* * *

Были в работе с.-д. фракции и промахи. Так, неудачным оказалось ее выступление по вопросу о безработных.

Этот вопрос был выдвинут петербургским Советом Безработных, где еще до начала сессии был выработан план привлечения народного представительства к делу борьбы за «хлеб и работы».

На кредиты, которые могла бы отпустить Государственная Дума, мы не расчитывали: ясно было заранее, что, если Дума и решит открыть такие кредиты, они застрянут в Государственном Совете. Но Дума могла своим политическим, моральным весом придти на помощь безработным в той борьбе, которую они вели с начала 1906 года. Как я упоминал уже, эта борьба протекала в русле муниципального рабочего движения и выражалась в пред'явлении городским думам требования об устройстве бесплатных столовых и общественных работ. В Петербурге, Москве и некоторых провинциальных городах эта борьба увенчалась успехом. Но реакционные городские думы неохотно шли на уступки безработных, столовые, и в особенности, общественные работы были для них бельмом на глазу, и по мере усиления реакции, они стремились от них отделаться.

Весной 1907 года столовые почти повсюду уже были закрыты, а работы были накануне закрытия.

Мы хотели поставить в Государственной Думе вопрос так, чтобы на почве его можно было бы возобновить кампанию под лозунгом «хлеба и работы» во всероссийском масштабе.

Конкретно, мы выработали такой план:

С.-д. фракция должна предложить Государственной Думе признать, что органы городского самоуправления обязаны, в случае массовой безработицы, оказывать безработным продовольственную и трудовую помощь;

Признав этот принцип, Дума должна избрать комиссию для выработки соответствующего законопроекта;

Комиссия должна выработать план организации помощи безработным (при непременном участии представителей пролетариата), а также установить порядок исходатайствования органами местного самоуправления пособий на это дело из государственного казначейства, в случае недостатка собственных средств;

Та же комиссия должна определить размеры кредита, который должен быть отпущен государством на удовлетворение таких ходатайств.

В этом плане все сводилось к тому, чтобы укрепить непосредственный натиск рабочих на городские думы и поколебать сопротивление последних.

Что касается до принципа, провозглашения которого мы ожидали от Государственной Думы, то в нем не было ничего утопического: даже наше архаическое «городовое положение» предусматривало, что городские думы обязаны приходить на помощь населению, пострадавшему от стихийного бедствия; и в 1906 году, идя навстречу требованиям рабочих, многие городские думы (в том числе петербургская и московская) — толковали этот пункт в том смысле, что под «стихийным бедствием» следует понимать не только пожар, наводнение, землетря-

сение, градобитие, но и массовую безработицу. Оставалось лишь закрепить это толкование...

Выработанный нами план постановки в Государственной Думе вопроса о безработице был без прений принят Петербургским Комитетом.

14 марта с.-д. фракция приняла депутацию Совета Безработных (в составе меня, Сергея Малышева и одного рабочего меньшевика).

Приняли нас довольно неприветливо, при чем, прежде чем мне было дано слово для доклада, представитель Ц. К. Дан внушительно раз'яснил, что нам предоставляется говорить о положении петербургских безработных, не касаясь политических вопросов и избегая советов и указаний депутатам.

Когда я изложил, чего ждем мы от с.-д. фракции, другой представитель Ц. К. выступил с возражениями: обязывать органы городского самоуправления устраивать общественные работы значит вторгаться сверху в их компетенцию и воскрешать «право на труд»; на этот путь с.-д. фракция не может становиться; фракция может лишь предложить Государственной Думе открыть кредит...

На этом прения были прекращены.

Не думаю, чтобы большинство депутатов было склонно принять аргументацию моего оппонента. Но представитель Ц. К. добился от фракции признания, что вопрос о муниципальной помощи безработным еще не вполне выяснен, а выступать в Думе нужно лишь по вопросам, окончательно выясненным. И на этом основании решено было пока не поднимать в Государственной Думе вопроса об обязанности органов самоуправления оказывать помощь безработным, а говорить исключительно об оказании им помощи государством.

Таким образом, из вопроса было выкинуто то, в чем заключался весь его политический смысл.

Вдобавок, говорить в Думе было поручено Арчилу Джапаридзе, — талантливому политическому деятелю, но слабому оратору, не подходившему для данного выступления.

В результате, вопрос о помощи безработным был в Государственной Думе смазан. Предложение с.-д. фракции оказалось чисто академическим, лишенным политического стержня: фракция предложила избрать комиссию для собирания сведений о безработных, выяснения причин безработицы, изыскания способов и формы оказания безработным помощи и обсуждения вопроса о размере необходимых для этого средств.

Выступление фракции было бы еще более неудачным, если бы его не спасли кадеты, предложившие ограничить задачи комиссии вопросом о помощи лицам, «пострадавшим от промышленного кризиса». Социал-демократы энергично возражали против этого предложения и добились того, что Дума, большинством 223 голосов против 202, его отвергла (один из немногих случаев, когда во второй Думе партия Народной Свободы осталась в меньшинстве).

Итак, комиссия была избрана. Председателем ее оказался эсэр Горбунов, а секретарем Алексинский.

По предложению Алексинского, комиссия постановила пригласить на свои заседания, в качестве «сведущих лиц», Малышева и меня.

В назначенный день и час мы явились в Таврический дворец с ворохами материалов. Но только переступили мы через порог, навстречу нам вышел представительный, блестящий офицер:

— Г. г. Войтинский и Малышев? предупредительно осведомился он.

И получив ответ, еще более предупредительно сообщил:

— В помещение Государственной Думы пропущены вы не будете.

— На каком основании? запротестовал я, пред'являя офицеру полученное мною приглашение за подписью секретаря Государственной Думы Челнокова.

— На основании приказа г. председателя Совета Министров.

Пришлось ретироваться.

Думская комиссия собралась, помнится, раз или два, и работа ее выразилась в том, что она «установила» цифру кредита, необходимого для помощи безработным, — что-то 10 или 15 миллионов. Но до рассмотрения этой цифры в Думе дело не дошло; вопрос был похоронен.

Что же касается до внедумской борьбы за «хлеб и работы», то ей думское выступление с.-д. фракции не только не помогло, но даже, в известном смысле, помешало.

На другой день после обсуждения в Государственной Думе вопроса о безработных, черносотенная печать стала требовать немедленного повсеместного закрытия общественных работ. Городское самоуправление, писали газеты, не имеет права тратить на это дело городские деньги, после того, как высшее законодательное учреждение признало, что помощь безработным — дело государственной власти, а отнюдь не отдельных городов.

Вопрос о закрытии работ, с ссылкой на постановление Государственной Думы, был официально поставлен и в Петербургской Городской Думе . . .

Наиболее поучительно в этой истории то, по какой линии произошло здесь расхождение П. К. и Ц. К.

П. К., вслед за Советом Безработных, предлагал: 1) исходить из исторически сложившихся форм борьбы рабочих за помощь безработным; 2) поставить в Государственной Думе вопрос так, чтобы положить начало длительной кампании.

Ц. К. поставил вопрос теоретически, абстрактно, как вопрос пропаганды.

Иными словами: мы, большевики, сами того не подозревая, поставили вопрос по — меньшевистски, — и этого оказалось достаточным для того, чтобы меньшевики перевернули вопрос и придали ему большевистскую постановку.

* * *

Положение рабочих в Петербурге день ото дня ухудшалось.

Все более обострялась безработица.

Из безработных иные уезжали в деревню, других градоначальство отправляло по этапу до «места приписки». Но многие оставались в городе, по близости от завода или фабрики, откуда были выброшены полтора года назад, в ноябре 1905 года. Жили, голодая, нередко протягивая руку за подаянием. Под влиянием нужды, безделья и унижений, иные из безработных деклассировались, превратились в лумпенов, другие были на пути к такому превращению . . .

Профессиональные союзы были бессильны бороться с бедствием, их средства были ничтожны по сравнению с окружавшим их морем нужды.

Помощь Совета Безработных была недостаточна. Общественные работы сокращались, на них оставалось не больше 1000 человек.

Огромное большинство безработных не получало помощи ни откуда. Участились случаи голодной смерти на улице и самоубийства от голода.

В этой атмосфере рождались акты экономического террора, нападения на мастеров, директоров, инженеров, экспроприации.

В петербургском рабочем движении появилась новая струя, — анархическая. Особенно энергично действовали махаевцы, выступавшие как «Группа Рабочего Заговора».

Мне приходилось часто встречаться с ними, так как главные усилия они направили на то, чтобы подчинить своему влиянию безработных. Я затруднился бы изложить здесь теоретическую основу этой разновидности русского анархизма и определить его отношение к другим родственным течениям. Могу говорить лишь о практической работе махаевцев, об их пропаганде.

Они звали рабочих к «прямому действию», понимая под этим насильственный захват всего необходимого для жизни

и месть врагам трудящихся. Практически это сводилось к экспроприациям и индивидуальному террору.

Обосновывая необходимость такой «тактики», махаевцы резко, в тоне грубейшей демагогии, нападали на социалистов. Так например, рассказывая (по Лиссагаре и Арну) сцены расстрела коммунаров версальцами, они уверяли, что все версальцы, и в частности, Галифе, были социалистами, а коммунары — анархистами. Помню, с какой страстью, с какой ненавистью говорили они о том, как их товарищи умирали от жажды под палящими лучами солнца, в кольце версальских штыков, и как социал-демократы предлагали им пить из лужи, где вода была смешана с кровью . . .

Речи социалистов о вооруженном восстании представлялись махаевцам предательским маневром охранителей капитализма.

— Когда будет ваше восстание? спрашивали они: Восстает лишь голодный, и в тот самый час, когда он голоден. У тебя нет ничего, — так восстань! У тебя нет оружия? Кирпич, булыжник, нож — другого оружия не нужно голодному . . .

Эта проповедь находила отклик среди рабочих. Кое-где махаевцам удавалось проводить резолюции с выражением «презрения социалистам». Но даже и там, где рабочие, после горячего спора между махаевцами и социал-демократами, принимали резолюцию о «верности социалистическому знамени», даже и там призывы «Рабочего Заговора» оставляли известный след.

Кто были эти люди, бросавшие кровавые семена в взрыхленную реакцией почву рабочих кварталов? Я не знаю их имен, не знаю, откуда они явились и куда в дальнейшем исчезли. Но при встречах с ними у меня оставалось впечатление, что это люди искренние, до конца искренние, но охваченные отчаянием и в отчаянии дошедшие до исступления, почти до безумия. В них было что то трагическое и вместе с тем жалкое, какая то затравленность.

Помню мое первое столкновение с ними. Это было немного раньше описываемого времени, когда еще существовали столовые для безработных.

В одной из таких столовых собрались безработные городского района, человек с 1000. Я делал доклад от имени Исполнительного Комитета, говорил о ходе нашей борьбы с Городской Думой. Когда я кончил, на стол рядом со мной вскочил незнакомый мне человек, — с виду не рабочий, — и начал — о расстреле коммунаров, о парламентаризме, о безработице в свободной Америке. Затем, посыпались проклятья против богачей и призывы к индивидуальному террору, подкрепляемые указанием, что и столовым ножем можно «проколоть пузо буржуя». Эта сумбурная речь имела успех, ее прерывали аплодисментами. Отвечая незнакомцу, я старался показать рабочим, что подобные призывы гибельны для них и могут быть полезны лишь полиции. Вдруг мой оппонент выхватил револьвер и, направив его на меня, закричал:

— Вы меня назвали провокатором. Возьмите слова обратно, или я убью вас!

Я тоже вынул револьвер, и так мы стояли несколько секунд друг против друга. Но тут я заметил, что у моего противника все лицо дергается, как у человека, который вот-вот разрыдается. Я махнул рукой и, не отвечая ему, продолжал свою речь. А он спрятал свой револьвер и, взяв после меня слово, стал жаловаться на то, что анархисты повсюду в мире подвергаются преследованиям и оскорблениям . . .

Таково было мое первое знакомство с махаевцами. Не многим лучше были дальнейшие встречи с ними.

Деятельность этой группы среди безработных имела роковые последствия. Правда, махаевцам не удалось увлечь за собою массу безработных, но одиночки пошли за ними по пути крови и смерти.

В мае были убиты на общественных работах в Галерной Гавани два городских инженера В. А. Берс[1]) и Д. К. Нюберг. Виновники убийства остались не обнаружены, но ходили слухи, что это — дело махаевцев...

Мне кажется, что для рабочего движения весны 1907 года махаевщина характернее, показательнее, нежели оживление партийной работы, которыми были отмечены первые недели существования второй Государственной Думы. Ибо радовавшее нас оживление касалось лишь сравнительно тонкого слоя передовых рабочих, тогда как в массах все отчетливее складывались настроения отчаяния.

* * *

В петербургской с.-д. организации апрель 1907 года прошел в подготовке к общепартийному с'езду, в выработке и обсуждении резолюций, в спорах о «платформах».

Большевики мечтали на предстоявшем с'езде вырвать Ц. К. из рук меньшевиков. А так как выполнить эту задачу можно было лишь при поддержке национальных организаций, то большевистский центр, вырабатывая проекты резолюций, старался сделать их более или менее приемлемыми для латышей и бундовцев.

На передний план большевики выдвинули положение, что революционное движение в России идет к новому под'ему, и что партия должна в своей деятельности ориентироваться на неизбежность вооруженного восстания.

Меньшевики выдвигали вопросы о новой тактике и новых организационных задачах для того — быть может, длительного — периода революционного затишья, в который, по их мнению, вступала Россия.

Дискуссии на этот раз велись менее горячо, чем накануне стокгольмского с'езда. Соотношение сил обоих течений было известно заранее, переубедить друг друга противники не пытались.

[1]) Брат Софьи Андреевны Толстой.

Но внутри большевистской организации подготовка с'езда ознаменовалась рядом инцидентов. Прежде всего, в большевистском центре оказалось два течения: большинство, стоявшее за «дипломатические» резолюции, приемлемые для «националов», и меньшинство, отстаивавшее более резкие формулы. Подробностей борьбы между этими двумя течениями я не помню. Помню лишь, что в большевистских проектах резолюций фигурировали два варианта, — по правде, мало отличавшиеся один от другого. Второй инцидент возник по вопросу о соотношении между фракционно-большевистской и партийной дисциплиной.

Дело началось на конференции петербургских работников большевиков, собравшейся в Терноках. Ленин делал доклад. Мне трудно было бы восстановить на память политическую часть этого доклада. Но помню, что Ленин упрекал меньшевистский Центральный Комитет за раскольническую политику, за подрыв дисциплины в партии, и энергично требовал восстановления партийного единства.

Получив в ходе прений слово, я поставил вопрос: как согласовать дисциплину внутри фракции с дисциплиной в партии? Если мы с меньшевиками составляем одну партию, нужно сообща искать решения стоящих перед партией вопросов, — только тогда мы сможем дружно проводить найденное решение. Если же, напротив, меньшевики наши враги, и никакое соглашение с ними невозможно, нужно разойтись, образовать две самостоятельные партии и не обманывать рабочих разговорами о партийном единстве. Исходя из этих соображений, я предложил: на предстоящем с'езде решать все вопросы в пленуме, без фракционных совещаний.

Ну и досталось же мне за эту «маниловщину» от товарищей!

Снисходительнее других отнесся к моей «ереси» сам Ленин: он об'яснил мое выступление тем, что я незнаком с обстановкой партийных с'ездов, и выразил свою уверенность,

что на предстоящем с'езде я буду действовать, как приличествует дисциплинированному большевику.

Но возражения товарищей не поколебали моей уверенности в возможности оздоровить партийную жизнь предложенным мною способом. Я твердо стоял на своем, и потому, поблагодарив Ленина за лестное обо мне мнение, заявил:

— Если вы поручите мне представлять на с'езде петербургский организованный пролетариат, я буду выполнять свой мандат, считаясь лишь с партийной дисциплиной и отвергая всякую дисциплину фракции.

Части рабочих большевиков моя позиция понравилась. Но комитетчики почти все были против меня.

Когда пришло время составлять списки кандидатов на с'езд, большевистский центр решил меня в делегаты не пропускать. Решение было принято с мотивировкой, в которой не было для меня ничего обидного и которую я мог бы счесть даже лестной. Большого желания ехать на с'езд и воевать там с товарищами у меня не было. Я принял устранение моей кандидатуры без малейшего неудовольствия и считал, что вопрос этим исчерпан.

Но группа товарищей с Абрамом (Крыленко) во главе запротестовала и решила проводить меня на с'езд, вопреки большевистскому центру и Петербургскому Комитету.

Активного участия в этой кампании я не принимал, и сам в окружном районе лойяльно проводил комитетских кандидатов. Но вместе с тем я знал об этой кампании и косвенно ее поддерживал, предоставляя товарищам выставлять мою индивидуальную кандидатуру против комитетского списка [1]).

Кампания, вообще, была нелепая, так как ни у меня, ни у товарищей, проводивших меня на с'езд, не было никакой особой платформы, отличной от платформы П. К. У меня лично было еще хоть «особое мнение» по вопросу о дисциплине и фракционной политике. А у моих «сторонников» и того не было, было лишь оппозиционное настроение по отношению к центру.

[1]) Если читатель найдет, что в этом было мало логики, спорить не буду.

В конце концов, когда подсчитали голоса во всех районах, оказалось, что за список П. К. подано, если память меня не обманывает, около 4000 гол., а за меня лично, около 3000 гол. Таким образом, я оказался обладателем шести мандатов на с'езд!

Зиновьев, сообщив мне о результатах подсчета, запросил меня, что намерен я делать дальше:

— Вы бесспорно избраны. Но голоса считаются по платформам. Поэтому вы должны либо выставить собственную платформу, либо заявить, что стоите на почве одной из уже об'явленных платформ и передать ей полученные голоса.

Я ответил, что стою на почве большевистской платформы, отказываюсь от мандата и передаю свои 3000 гол. кандидатам П. К. Последовала трогательная сцена возвращения блудного сына в отчий дом большевизма.

На с'езде петербургская организация была представлена чуть ли не 15 большевиками и 6 или 7 меньшевиками.

* * *

Во время предс'ездовской кампании мне пришлось сблизиться с нашей военной организацией, существовавшей при П. К. на правах особого «района». Представителем ее в общегородском комитете был студент Университета Альберт Сапотницкий, — иначе «Алибей». Бритый, всегда в форменной тужурке с иголочки, всегда улыбающийся, с прыгающей, торопливой речью, он производил впечатление мальчика, играющего в революцию.

До апреля я не был лично знаком с ним. Толчком к нашему сближению послужила моя статья «О некоторых особых задачах во второй Государственной Думы», помещенная в 12 № «Пролетария».

№ с этой статьей был почему-то получен в Петербурге с большим опозданием, во второй половине марта. Вскоре после этого Сапотницкий, на явке П. К. (в столовой Технологического Института), передал мне, что военные работники хотят переговорить со мною по поводу затронутых в моей статье вопросов, и тут же познакомил меня с двумя девицами [1] — Лидией Субботиной и Ниной Морозовой (не помню, под какими кличками он представил мне их). Они рассказали мне, что «сознательные солдаты» заинтересовались моей статьей, так как давно мечтают о том, чтобы сблизиться с с.-д. фракцией Государственной Думы и привлечь ее внимание к вопросам солдатской жизни. Но как это сделать? Я ответил, что лучше всего переговорить об этом с Алексинским.

Сапотницкий возразил, что предпочитает переговорить с Герусом: он человек покладистый, к нему можно обратиться, не опасаясь получить отказ.

Я спросил товарищей, не знают ли они таких происшествий в жизни петербургского гарнизона, которые могли бы послужить основой для запроса в Государственной Думе. Но оказалось, что таких происшествий организация не знает.

В следующие дни, встречаясь с Сапотницким на явке, я не раз справлялся у него, как идут дела в организации. В ответ Сапотницкий жаловался на трудности работы в войсках, на отсутствие квартир для собраний, на усилившиеся строгости в казармах и т. д.

В конце апреля «Алибей» сообщил мне, что военным работникам удалось кое что подготовить, что у них есть в виду вполне надежная квартира, и что теперь можно созвать собрание солдат для обсуждения вопроса об установлении связи с Государственной Думой. При этом он прибавил, что Герус обещал быть на собрании.

[1] В Петербурге, как и в других местах, в военной организации работали по преимуществу женщины, так как опыт доказал, что им легче удается завязывать знакомство с солдатами, проникать в казарму и т. д.

Собрание состоялось в воскресенье 29 апреля, в Политехническом Институте, в обширной, почти пустой комнате во 2-ом этаже одного из институтских зданий. Солдат присутствовало мало, человек 8 или 10. Среди них я запомнил рослого красавца-казака и матроса.

Сапотницкий об'яснил, что приглашено по одному человеку из каждой части, с которыми у партии имеются связи, и что в данном составе собрание представляет собой «гарнизонный комитет».

Кроме солдат, в собрании участвовали Сапотницкий, Морозова, Субботина, Герус и я.

Центром всеобщего внимания был Герус: солдаты в первый раз видели вблизи члена Государственной Думы, и это настраивало их на торжественный лад.

Открывая собрание, Сапотницкий предложил солдатам доложить товарищу-депутату о положении в войсках и о том, что могла бы сделать Государственная Дума для революционизирования армии.

Начали говорить солдаты. Говорили о тяжелых условиях революционной работы в казарме, о черносотенной агитации, о темноте солдатской массы. Ругали офицеров.

Герус спросил, как относится солдатская масса к Государственной Думе. Солдаты отвечали, что в казарме почти ничего не знают о Думе и мало интересуются ею. Об'ясняли это тем, что в Думе говорят непонятным для солдат языком и при том о вопросах, далеких от солдатской жизни, депутаты же, со своей стороны, не сделали ничего, чтобы добиться доверия солдатской массы.

Герус ответил, что все слышанное произвело на него глубокое впечатление, и что он приложит все усилия к тому, чтобы облегчить работающим в воинских частях товарищам их тяжелую задачу. Он упомянул также, что в Государственную Думу внесен какой то законопроект, касающийся условий солдатской службы, — при обсуждении его с.-д. фракция сумеет поставить вопрос так, чтобы привлечь симпатии солдат к народному представительству.

Я спросил депутата:

— Что если товарищи обратятся прямо к с.-д. фракции с просьбой заняться солдатским вопросом?

Герус ответил;

— Я думаю, что подобное обращение было бы встречено фракцией сочувственно и произвело бы на нее впечатление.

Тогда я предложил солдатам изложить письменно, в форме наказа, то, что они только что говорили, и передать этот наказ в с.-д. фракцию.

Это предложение было одобрено всеми, и собрание приступило к обсуждению подробностей.

В это время раздался стук в дверь, и кто-то крикнул: «Пристава едут!» Началось смятение. Солдат спешно отправили в здание студенческого общежития, чтобы дать им возможность спрятаться. Мы с Герусом вышли на улицу. Тревога оказалось ложной, — полиции около Института не было. Но возобновить собрание было уже невозможно. Вместе с Герусом я вернулся в город.

* * *

Не знаю, что происходило в военной организации в ближайшие дни после собрания в Политехническом Институте, но 3-го мая Сапотницкий вновь обратился ко мне (на нашей обычной явке) и попросил написать проект наказа для с.-д. фракции. Я это поручение исполнил, изложив со всей возможной точностью, то, что говорили 29 апреля, в моем присутствии, солдаты.

Документ был озаглавлен мною: «Наказ в с.-д. рабочую фракцию Государственной Думы от представителей воинских частей Петербургского гарнизона».

«Мы — представители тех войсковых частей, которые стоят в Петербурге и на которые первые будет опираться правительство при столкновении с Государственной Думой,

говорилось в начале наказа. Эти части должны перейти на сторону народа, чтобы здесь, в Петербурге, где стоят друг против друга Государственная Дума и царский дворец, чтобы здесь победило народное дело. Когда столкнутся народные представители с царским правительством, на нас, представителей этих частей, будет лежать трудная задача — сказать всем солдатам, что нужно им делать. И мы сделаем это, хотя бы нам пришлось первыми пасть в этом деле и не видеть его торжества. Но чтобы наше дело было посильно нам, вы, представители рабочих в Государственной Думе, должны теперь прислушаться к нашему заявлению».

Далее наказ рекомендовал членам фракции немедленно с думской трибуны заговорить понятным для солдат языком об их нуждах и обидах, а главное — призвать к себе солдат, чтобы поближе узнать солдатские нужды и доказать солдатам, что с.-д. фракция заботится о них не на словах только, но и на деле. Кончался наказ следующими строками:

«Сделайте это теперь же, не медля, так как время уходит. Пусть солдаты слышат не только призывы к бунту против начальства, но и участливое слово и заботы о них со стороны народных представителей. От этого вашего шага, товарищи - депутаты, зависит все ваше дальнейшее дело, от этого зависит, быть может, за кем пойдет армия, за кем останется поле борьбы — за народными представителями, или же за старой властью.

«Если на солдатском вопросе правительство разгонит Думу, не бойтесь, армия будет с вами.

«Наш наказ вам — с думской трибуны подымите не медля солдатский вопрос, призвав к обсуждению его все воинские части... Вы должны внять нам, представителям петербургского гарнизона, которым суждено первыми пролить свою кровь за народное дело, когда вы призовете солдат на поддержку Государственной Думы. От того, при-

мете ли вы наш наказ, зависит, пойдет ли солдатская масса за нами, или против нас».

Этот проект я написал на нескольких длинных полосках бумаги и уже собирался переписать его набело, но подумал, что лучше, если в военной организации не будет моего почерка. Тогда я попросил мою сестру переписать наказ, — что она и исполнила, не задавая мне никаких вопросов по поводу содержания рукописи.

* * *

4 мая, около трех часов дня, в столовой Технологического Института, я передал этот документ из рук в руки Сапотницкому, в присутствии Лидии Субботиной и Морозовой. Сапотницкий сказал мне, что вечером будет собрание комитета военной организации, которое утвердит окончательный текст наказа.

5-го утром я вновь встретился с Сапотницким, и он сообщил мне, что комитет принял мой проект — с незначительными поправками, — с наказа снято 10 копий, которые отправлены в различные воинские части, и сегодня же вечером наказ будет вручен с.-д. фракции.

О том, как произойдет вручение документа депутатам, я не спрашивал, считая, что этот вопрос улажен организацией совместно с Герусом, а моя роль в деле ограничивается оказанной военным работникам литературной помощью.

Ночью с 5-го на 6-ое ко мне явилась полиция с ордером на обыск. Перерыли всю квартиру, но не нашли ничего «явно преступного» и ограничились тем, что забрали кучу всевозможных рукописей, начиная со случайно сохранившихся у меня гимназических тетрадок.

Старший околоточный во время обыска жаловался:

— Сами не знаем, чего ищем. Вот, хоть теперь, берем бумаги, а что в них логического?

Я поинтересовался:

— Что называете вы «логическим»?

Околоточный об'яснил:

— Логическое, это чтобы сразу понятно было: адреса, что ли, или насчет бомб.

Но из квартиры полиция не уходила, это было плохим знаком. И, действительно, на рассвете приехал пристав с новым ордером, — о «безусловном задержании, независимо от результатов обыска».

В ордере была указана моя фамилия, но не было отмечено имя. У пристава возникли сомнения, должен ли он арестовать меня или моего брата Иосифа. Затребовав на этот счет раз'яснений из Охранного Отделения, пристав получил указание арестовать того Войтинского, у которого «очки и волосы рыжие». Этим признакам удовлетворяли, в равной мере и я, и мой брат, и потому, после продолжительного раздумья, пристав «пригласил» нас обоих в участок.

В участке пристав пытался по телефону выяснить, который из Войтинских подлежит задержанию. Но раз'яснить этот вопрос так и не удалось. И, в конце концов, мы были оба отправлены в арестный дом при Спасской части.

Здесь политические занимали целый коридор во втором этаже, — четыре камеры. Двери из камер на коридор были отперты, было довольно просторно и чисто.

Заключенных было человек 30, сплошь свои, социалдемократы, среди них: П. П. Маслов, Н. Рязанов, Хинчук (Мирон), Ельницкий и др. Все они были арестованы накануне вечером в помещении думской фракции. Здесь же был и Сапотницкий, арестованный ночью у себя на квартире. Из конспирации, чтобы не выдавать мою связь с военной организацией, он не подошел ко мне.

От Хинчука и других товарищей я узнал, что произошло накануне во фракции.

* * *

Около 7 часов вечера, когда в помещении фракции, на кв. депутата Озола, находилось 15 депутатов, в квартиру явились какие то люди в штатских шляпах и в пальто поверх форменных мундиров. С первого взгляда было видно, что это переодетые солдаты. Встретивший их в передней депутат (кажется, Лопаткин) так и спросил их: «Что вам, солдатики, надо?» Пришедшие ответили, что они хотят передать фракции наказ от солдат петербургского гарнизона.

Геруса во фракции в это время не было. Из его товарищей никто не знал ничего ни о собрании в Политехническом Институте, ни о принятых на этом собрании решениях: потому ли, что собрание представлялось Герусу делом, не заслуживающим большого внимания, или по иным причинам, но он не сообщил о нем ни фракции в целом, ни ее комитету, ни отдельным ее членам [1]).

Солдатская депутация свалилась на фракцию, как снег на голову. Депутаты знали, что их квартира находится под наблюдением полиции. Поэтому у них явилась мысль, что переодетые солдаты либо подосланы к ним с провокационной целью, либо сами завлечены сюда, как в ловушку. И в том, и в другом случае, необходимо было как можно скорее, избавиться от незванных гостей.

Но не такого приема, не такого отношения к себе ожидали солдаты.

Они прекрасно понимали, что, отправляясь во фракцию с революционным наказом, они подвергаются опасности. И они шли навстречу опасности именно потому, что придавали огромное значение предпринимаемому шагу. А о том, что они подвергают риску не только себя, но и депутатов и самое существование рабочего представительства в Государственной Думе, они попросту не думали: в их

[1]) В это время в Лондоне происходил общепартийный с'езд, и почти все руководители фракции (Церетели, Джапаридзе и др.) были в от'езде. В связи с этим работа фракции была дезорганизована.

глазах народные представители были ограждены от всяких неприятностей депутатской неприкосновенностью, как чудесной кольчугой.

К тому же, после беседы с депутатом в Политехническом Институте, солдаты считали, что фракция предупреждена об их приходе, ждет их и примет их с распростертыми об'ятиями. И вдруг — с ними не желают разговаривать, их отказываются пропустить в помещение фракции!

Произошло замешательство. Депутаты, выдя в переднюю, выпроваживали солдат за двери, торопя их уйти, пока их не «накрыла» полиция. Солдаты возбужденно настаивали на том, чтобы фракция приняла и выслушала их. В конце концов, один из депутатов — кажется, тот же Лопаткин, — взял у солдат их наказ и, прочитав вслух из него первые две или три фразы, обещал доложить его комитету фракции, а солдаты, крайне недовольные оказанным им приемом, покинули квартиру.

Депутаты вздохнули с облегчением, и никто даже не поинтересовался прочесть наказ, который остался лежать в кармане Лопаткина.

А час спустя во фракцию нагрянул отряд полиции с ордером Охранного Отделения на производство обыска.

Депутаты, ссылаясь на закон о неприкосновенности членов Государственной Думы, потребовали вызова судебных властей. После долгих переговоров, явившийся во фракцию прокурор судебной палаты затребовал из Охранного Отделения материалы, обосновывающие необходимость обыска.

Пакет с материалами был доставлен около 3 часов ночи; для ознакомления с содержанием его прокурору оказалось достаточно нескольких минут, после чего он заявил депутатам, что не находит оснований для возбуждения следствия, что члены Государственной Думы свободны, и квартира их не будет подвергнута обыску.

Полиция удалилась, уводя с собой «посторонних», захваченных в помещении фракции, — с ними и встретился я в Спасской части.

Таковы оказались результаты попытки петербургской военной организации «связаться» с с.-д. фракцией.

Но на этом дело не закончилось. О продолжении его мы узнали из газет два дня спустя.

* * *

В понедельник, 7-го, левые фракции внесли в Государственную Думу ряд запросов по поводу вторжения полиции в квартиру с.-д. фракции.

При начале обсуждения этих запросов Столыпин заявил, что произвести обыск в квартире депутата Озола было необходимо в виду того, что «полиция получила сведения, что на этой квартире собираются центральные революционные комитеты, которые имеют сношения с военной революционной организацией». Министр юстиции, в свою очередь, об'яснил, что с ночи на 6 мая, когда прокурор судебной палаты признал данные охранного отделения недостаточными для производства обыска в помещении фракции, положение коренным образом изменилось:

«Те сведения, которые были представлены прокурору судебной палаты, носили характер недостаточной уловимости наблюдений, которые привели полицию к необходимости произвести в квартире члена Государственной Думы Озола обыск. Но позднейшие действия прокурора привели в настоящее время к тому, что у судебного следователя возбуждено предварительное следствие по данным, указывающим на то, что в квартире члена Государственной Думы Озола допускалось посещение ее представителями революционной военной организации, — организации, которая поставила своей целью вызвать восстание в войсках».

Далее министр пояснил, что имевшиеся в распоряжении полиции данные сводились к «наблюдениям, указывавшим на появление в квартире Озола переодетых нижних чинов, принадлежащих к организации, имеющей призывать войска к бунту против начальства. Посещение квартиры Озола этими лицами имело своим назначением установить между членами Государственной Думы, принадлежащими к известной фракции, и переодетыми нижними чинами — сотрудничество на той почве, чтобы для военной организации использовать народное представительство для участливого отношения к нижним чинам».

Эти раз'яснения Государственную Думу не удовлетворили, и запрос по поводу обыска в с.-д. фракции был ею принят почти единогласно.

На следующий день, 8-го мая, в квартире Озола был произведен новый обыск, уже по постановлению судебного следователя и в присутствии следственной власти.

Оффициальным мотивом этого вторичного обыска было выставлено соображение, что «вещественное по делу доказательство — наказ, врученный (солдатской) депутацией членам с.-д. фракции, остался в помещении фракции, и что в том же помещении могут находиться и другие доказательства сношений фракции с тайно существующими преступными сообществами». При обыске 8-го мая во фракции была взята вся ее переписка, множество писем от местных партийных работников, наказы, корреспонденции, прокламации, анкетные листки и пр. и пр. и пр.

Наказа полиция и на этот раз не нашла, но погоня за этим документом и возможность, с соблюдением внешней законности, обшарить помещение фракции дала в ее руки ценную добычу.

Солдатская депутация сыграла в этом отношении роковую роль. Представлялось несомненным, что полиция знала заранее об ее планах. Но мы с Сапотницким (который уже перестал играть со мной в конспирацию) и с Хиничуком на-

прасно перебирали все обстоятельства дела, стараясь выяснить, где именно гнездилось в нем предательство.

* * *

Военная организация подверглась в это время полному разгрому: были арестованы по казармам все члены солдатской депутации, являвшейся во фракцию, весь гарнизонный комитет, Лидия Субботина, Нина Морозова и др. военные работники. Солдаты были отвезены в Петропавловскую крепость. Это давало основание предполагать, что делу придается серьезное значение. Но ничто не указывало на намерение правительства «связать» военную организацию с думской фракцией. Арестованные во фракции 5—6 мая вызывались один за другим для допроса в жандармское управление. О военной организации их не спрашивали. Повидимому, жандармы старались лишь установить, что квартира фракции являлась местом сборища для нелегальных.

Меня лично на допросе спрашивали о каких-то явно ненужных пустяках. Но в заключение ротмистр предложил мне написать показания собственноручно и «возможно разборчиво». Это наводило на мысль, не попал ли в руки жандармов проект наказа, и не собираются ли они по почерку определить автора этого документа.

Но за себя я был совершенно спокоен: как я упоминал уже, документ, переданный мною в военную организацию, был переписан не моей рукой. Поэтому свои показания, —сводившиеся к тому, что ничего по делу я не знаю, — я написал с полной готовностью, не стараясь изменять почерк.

Меньше готовности проявил я, когда в Спасскую часть явился фотограф жандармского управления: мало заманчивого было сниматься, зная наперед, что моя карточка будет передана для опознания шпикам, уже напавшим на след, и арестованным солдатам, в которых я далеко не

был уверен. Надзиратель вызвал к фотографу человек пять, — в списке была и моя фамилия.

Брат спросил меня:

— Ты пойдешь, или мне идти первым?

— Как знаешь, ответил я: Мне сниматься нет охоты...

Фотографированье тянулось все утро. На другой день стали выкликать тех, кто не снимался накануне. И опять — моя фамилия. Я решил не откликаться, ушел в дальнюю камеру и улегся на нарах. Но брат разыскал меня:

— Теперь тебе идти.

— Я не пойду.

— Как же быть? Неудобно...

— Если думаешь, что неудобно — ступай снова... Прогуляешься...

— Войтинского к фотографу! кричал, между тем, надзиратель у двери.

— Иду, иду, заторопился мой брат.

Его сфотографировали вторично, а дальше дело пошло по-канцелярски: получив две карточки Войтинского, жандармы под одной подписали мое имя, под другой имя моего брата, и обе карточки пред'явили для опознания агентам и солдатам.

Никто из них меня не знал.

Но дело с.-д. фракции получило в эти дни более серьезный оборот.

* * *

1-го июня Столыпин потребовал от Думы заслушать в закрытом заседании «прокурора петербургской судебной палаты, который ознакомит Государственную Думу с постановлением судебного следователя о привлечении нескольких из ее членов в качестве обвиняемых».

Свою речь Столыпин закончил угрозой: «Обязуюсь присовокупить, что всякое промедление со стороны Государственной Думы в разрешении пред'явленных к ней тре-

бований или удовлетворение их не в полной мере поставило бы правительство в невозможность дальнейшего обеспечения спокойствия и порядка в государстве».

Вслед затем Камышанский огласил «постановление» следователя по важнейшим делам Зайцева о пред'явлении 55 депутатам Государственной Думы, принадлежащим к с.-д. фракции, обвинения по 1 п. 102 ст. Уг. Ул.

«Постановление» начиналось изложением обстоятельств, которые побудили полицию произвести вечером 5-го мая набег на с.-д. фракцию.

После описания результатов этого — с точки зрения полиции, не вполне удачного — набега и изложения показаний солдат (которые все были арестованы вне фракции, в различных частях города), в «постановлении» шел загадочный абзац:

«Воспроизведя по памяти очень близко к подлиннику содержание наказа, обвиняемые (солдаты) по прочтении им судебным следователем имеющейся в деле копии этого наказа показали, что копия эта по содержанию своему совершенно соответствует содержанию того наказа, который они вручили членам Государственной Думы».

Откуда оказалась в деле копия наказа, подлинник которого полиция тщетно искала в помещении с.-д. фракции, судебный следователь не об'яснял. Но сославшись на свидетельство обвиняемых о полной точности этой копии, он приводил текст наказа, после чего переходил к разбору материалов, взятых во фракции при вторичном обыске 8 мая.

На основании всех этих данных, с.-д. фракции инкриминировался целый ряд противогосударственных деяний (всего 13 отдельных пунктов). Главные обвинения сводились к тому, что фракция «вошла в непосредственные сношения с тайными преступными сообществами, именующими себя центральным комитетом Р.С.-Д.Р.П., петербургским комитетом той же партии и целым рядом подчиненных центральному комитету местных тайных комитетов,

«подчинила свою организацию центральному комитету и, в свою очередь, в деле подготовления народного восстания, управляла деятельностью тайных комитетов, образованных в различных местностях Империи»...

В заключение от Государственной Думы требовалось: 1) разрешение на привлечение к судебной ответственности по 1 п. 102 ст. Уг. Ул. 55 членов с.-д. фракции и устранение всех их от дальнейшего участия в собраниях Думы: 2) разрешение на немедленное взятие под стражу 16 депутатов.

По вопросу о том, как реагировать на это требование правительства, мнения в Государственной Думе разделились. С.-д. фракция предлагала Государственной Думе принять вызов, ответить на требование правительства решительным отказом и предпринять ряд шагов, которые усилили бы ее в ставшем неизбежным конфликте. Но большинство депутатов, верное лозунгу «берегите Думу», пошло за кадетской фракцией, предложившей передать вопрос в комиссию, которая могла бы рассмотреть материалы, лежащие в основе «постановления» судебного следователя, и выяснить, насколько законно требование правительства. Комиссия тут же была избрана, и ей было поручено представить доклад по существу дела не позже 7 часов вечера 2 июня.

Дневное заседание следующего дня было, несомненно, одним из самых драматических моментов в истории народного представительства России. С.-д. фракция пыталась побудить Государственную Думу, перед лицом неминуемого разгона, угрожающего ей, встать на путь действительной, то есть революционной защиты прав народа. К.-д. большинство предпочло «до конца оставаться на почве законности», и занялось обсуждением вопроса о местном суде.

А в 6-ом часу дня председатель избранной накануне комиссии Кизеветтер представил Государственной Думе заявление о том, что к назначенному сроку, к 7 ч. вечера, ко-

миссия не сможет закончить работу, и просил перенести рассмотрение ее доклада на понедельник 4-го.

После него выступил Церетелли, внесший от имени с.-д. фракции предложение назначить вечернее заседание и поставить на обсуждение его основные вопросы государственной жизни.

«Если вы, господа народные представители, хотите оказаться на высоте исторического положения, хотите выполнить ту историческую миссию, которую возложил на вас избравший вас народ, взывал Церетели, то вы должны в этот момент, накануне государственного переворота, поставить в порядке дня обсуждение насущнейших вопросов народной жизни, поставить их в порядке дня в тот момент, когда правительство, по бессмертному выражению Карла Маркса, «поставило штык в порядок дня».

Думское большинство предложения с-д-тов не приняло: назначение вечернего заседания было отклонено 201 голосом против 157. На этом заседание было закрыто — до понедельника 4-го июня.

Но в понедельник Государственной Думе было не суждено собраться: 3-го июня последовал указ о роспуске Государственной Думы и манифест, лишавший участия в выборах широкие слои населения. Одновременно члены с.-д. фракции были арестованы, — частью у себя на дому, частью в помещении фракции.

* * *

Разбирая вместе с Сапотницким «постановление» Зайцева, мы старались выяснить, каким путем могла попасть в руки охранников копия солдатского наказа. Сапотницкий обратил мое внимание на то, что наказ цитируется в «постановлении» не совсем точно, а именно без тех, — правда, незначительных, — изменений, которые были внесены в его первоначальный проект на вечернем заседании комитета.

Из этого Алибей делал вывод, что документ был в руках охранников до заседания комитета, то есть, днем 4-го мая, в промежуток, между 3—4 ч. дня и 7—8 часами вечера.

На мой вопрос, как могло это произойти, Сапотницкий высказал следующее предположение:

Около 3 ч. он получил от меня проект наказа. Придя домой, он переложил его из кармана в ящик стола. Затем, он отлучился по какому-то делу из дому, причем в его комнате оставался его сожитель, студент Университета, имени которого я не помню, — помню лишь, что он не имел никакого отношения к партии. Когда Сапотницкий, перед вечерним заседанием, вернулся домой, проект наказа лежал в ящике, там, где он его оставил, а студента-сожителя не было дома. Сапотницкий был уверен, что именно этот господин, за время его отсутствия, списал, — или может быть, сфотографировал, — документ для Охранного Отделения.

Появившиеся значительно позже — в 1911 году — разоблачения охранника Болеслава Бродского о провокации в деле с.-д. фракции второй Государственной Думы, в известной степени, подтверждают это мнение Сапотницкого.

В самом деле, вот что сообщает Бродский об истории с солдатским наказом:

«29-го апреля в Политехническом Институте состоялось заседание военной организации, на котором был выработан наказ солдат членам с.-д. фракции Государственной Думы. Когда я явился к Герасимову, он показал мне копию наказа, написанную начерно на листе почтовой бумаги, и спросил меня, знаю ли я этот почерк. Я не знал почерка, и он предложил мне достать почерк Рожкова, Луначарского и Гольденберга, как предполагаемых авторов наказа. Откуда Герасимов достал этот черновик, мне до сих пор неизвестно; ясно, что в военной организации, кроме меня, были и другие лица, служившие агентами полиции. Почерк Гольденберга я достал; почерки же Рожкова и Луначарского не удалось достать. О том, что будет снаряжена солдатская

депутация в помещение фракции, и что она будет арестована там, я знал от Герасимова, Комиссарова и Елеонского. Проектом наказа и всем вообще ходом дела они были очень довольны. «Мы им покажем наказ», говорил Герасимов и обещал мне, что за содействие этому предприятию он отблагодарит меня».

Итак, наказ был сообщен жандармам человеком, который не мог толком об'яснить происхождение этого документа и не знал, кто его автор... Указания, совпадающие с предположением Сапотницкого [1]).

* * *

На другой день после роспуска второй Государственной Думы, в камеру № 4, в которой я помещался, привели нового арестованного.

Это был человек маленького роста, с бронзово смуглым лицом, с черной как смоль бородой. Он остановился посреди камеры, беспомощно опустил вещи на пол, снял шляпу, — и я обратил внимание на его волосы, — черные, с металлическим зеленым отливом. Никогда не видал я таких волос! Но лицо вновь прибывшего мне показалось странно знакомым.

Вдруг Хинчук, пристально вглядывавшийся в него, подбежал к нему и схватил за руку:

— Вы? Когда вы арестованы?

Тот ответил:

— Сегоднэ ночью. Проститэ, товарищ, я очень устал.

По голосу я узнал его: Исидор Рамишвили!

Поспешно очистили место на нарах, уложили старика. Смотритель арестного дома, лично сопровождавший его до камеры и с любопытством следивший за этой сценой, спросил меня:

[1]) Подробнее об истории с наказом см. в «Летописи Революции», кн. 1, в моей статье «Дело с.-д. фракции 2-ой Государственной Думы и военная организация» (стр. 99-125).

— А что, князь Амилахвари — важный человек у вас? Он указал глазами на Рамишвили.

— О да, очень важный.

— Из самых главных?

— Как же!

Тогда смотритель подошел к арестованному и сказал ему:

— Ваше сиятельство будете довольны у меня. Если вашему сиятельству что либо потребуется, я к услугам вашего сиятельства.

Рамишвили отпустил его величественным движением руки:

— Если нужно будэт, я скажу.

Старик пробыл с нами недолго. Краска с его волос слезла, сквозь зеленовато черные космы пробивались серебристые пряди. Вид у него был облезлый, потрепанный и совсем не княжеский. Он был болен, почти не подымался с нар, но с утра до вечера рассказывал нам о последних событиях, — о лондонском с'езде, о нападках которым подверглась на с'езде думская фракция со стороны большевиков, о принятых решениях, — а главное, об обстоятельствах разгона Думы и о последних арестах.

В возможность суда над депутатами мы не верили, но тяжелое впечатление произвел на нас рассказ об отношении рабочих масс к насилию над их представителями. Ни протеста, ни сопротивления... Все тихо в рабочих кварталах, отчаяние в душах, задушенное проклятие на устах...

Дня через три Исидора вызвали в Жандармское Управление, и ротмистр сообщил ему, что князь Амилахвари умер пять лет тому назад, а он, арестованный, не кто иной, как депутат первой Думы Рамишвили. После допроса его перевели в Кресты.

Еще раньше увезли куда то Сапотницкого.

В Спасской части остались лишь задержанные в ночь с 5-го на 6-ое во фракции, да я с братом.

* * *

V. ПОСЛЕ ПЕРЕВОРОТА 3-го ИЮНЯ.

Попытка побега из Спасской части. — Настроение на воле. — Среди безработных. — Выборы в третью Думу. — В защиту депутатов-втородумцев. — Обыск и побег. — Митинг на Путиловском заводе. — Каменьщики. — На нелегальном положении. — Планы дальнейшей работы. — С контрабандистом. — Итоги двух лет.

Шел второй месяц со дня обыска во фракции, но никому из нас еще не было пред'явлено обвинений.

А между тем, среди арестованных были люди, которые имели основание опасаться, что их дело примет плохой оборот.

Помню, был среди арестованных молчаливый, застенчиво улыбающийся блондин, сельский учитель из Прибалтийского края. В разгар движения 1905 года он играл видную роль в своем уезде, потом скрывался с «лесными братьями» и приехал в Петербург по какому-то партийному делу, — кажется, в связи с разоблачениями рижских пыток. Он знал, что раскрыв его имя, жандармы отправят его в Ригу, а там — мучительная смерть.

Были еще два парня, за которыми числились дела, грозившие «смертной» статьей. Было несколько человек нелегальных. Между прочим, по чужому паспорту сидел и Хинчук («Мирон»), которого Петербургское Охранное Отделение разыскивало по делу Совета Рабочих Депутатов. Ему, в случае установления его личности, грозила, на лучший конец, ссылка на поселение.

Итак, среди заключенных были люди «серьезные». Но все мы содержались в Спасской части без больших предосторожностей. Сношения с волей были легкие, караул незначительный, надзор поверхностный. Обстановка благоприятствовала попыткам освобождения.

У заключенных в первые же дни явился план: добиться отправки в баню и здесь устроить побег 5—6 человек. Почему то от этой затеи пришлось отказаться. Вскоре, Хинчук предложил новый план.

Я говорил уже, что нам были отведены четыре смежные камеры, на общем коридоре. С обеих сторон этот коридор замыкался тяжелыми дубовыми дверями. Одна из дверей выходила на лестницу, спускавшуюся в тюремную контору, где денно и нощно дежурили городовые. Другая дверь, на противоположном конце коридора, была заперта наглухо.

Во время общей прогулки во дворе Хинчук заметил, что эта вторая дверь выходит на лестницу, по другую сторону которой расположены помещения пожарных и городовых. Эта лестница никем не охранялась. Лишь во дворе, под окнами наших камер, расхаживали часовые. Вырисовывался путь на волю: открыть дверь в глубине коридора, спуститься во двор и незаметно пройти мимо часовых до выходных ворот на улицу.

Чтобы не подводить дело под статью о «побеге с повреждением места заключения» и не ухудшать положение остающихся в арестном доме, Хинчук предложил не пилить замков, а отпереть дверь, подделав ключ. Среди заключенных оказался специалист-слесарь. При помощи щепочек, связанных нитками, и «жуковского» мыла он снял форму с внутреннего механизма замка. Форма была передана на волю, и через неделю мы получили грубо сделанный ключ с набором напильников для дальнейшей его отделки.

Улучив момент, когда на коридоре не было никого, открыли дверь. За ней оказалась железная решетка, а за решеткой вторая дверь, окованная железом. Повидимому, это было последнее препятствие, дальше шла лестница.

Сняли мерку с замков решетки и окованной двери. Передали на волю, чтобы кто либо из товарищей обследовал

дверь со стороны лестницы. Помнится, произвела эту «разведку» жена Мирона. Оказалось, что на двери висит наружный замок. Сняли мерку и с него.

Между тем, мы получили с воли два недостававших ключа. Их пришлось довольно долго подпиливать и подтачивать. Наконец, все было налажено: теперь мы свободно открывали обе двери и решетку, оставалось отомкнуть с лестницы висячий замок, — и можно было идти.

Условились выходить по одиночке: первым должен был идти латыш, затем Хинчук, после два товарища со «смертными» статьями, за ними двое нелегальных. Я лично не решил окончательно, принять ли участие в побеге, но в подготовке дела участвовал с увлечением.

Наступил день, назначенный для побега. Из окна я видел, как прошел вглубь двора товарищ, который должен был отпереть наружный замок. Вот он идет обратно. Перед нашими окнами оправил картуз и, не замедляя шага, вытер платком пот с лица, — условный сигнал, что работа выполнена, замок отперт.

Хинчук с нашим слесарем пошли к двери. Я остался у окна, следить за тем, что происходит на дворе.

Вдруг один из часовых стал обнаруживать необычайное беспокойство, — побежал к выходным воротам, затем бросился вглубь двора, к нашей заветной лестнице. Я успел предупредить Хинчука: «Подождите! Не открывайте дверей!»

На площадке лестницы слышалась возня, тяжелые шаги, стук, громкие голоса. Задребезжали звонки. Двор наполнился городовыми . . .

Спустя несколько минут появилась стража на коридоре. Прошли к запертой двери, возятся около нее. Затем ушли. Все стихло.

В этот момент в нашей камере разразилась безобразная сцена.

Я говорил уже, что среди арестованных во фракции был Н. Рязанов, человек, обладающий огромной физической силой, громоподобным голосом, необузданным темпераментом и несноснейшим в мире характером, — качества, не мешающие ему быть прекрасным товарищем, но создающие вокруг него атмосферу шума, треска, скандала. Теперь Н. Рязанов, внезапно сорвавшись со своего места, стал кричать, что он не желает отвечать «чорт знает за кого» и требует, чтобы подпильники, поддельные ключи и «вся эта дрянь» были немедленно выброшены из камеры.

Мы с Мироном ответили, что ключей не отдадим. Рязанов стал орать еще громче.

В разгар скандала на коридор явился смотритель арестного дома с десятком городовых.

Смотритель, высокий, грузный и лысый человек, вошел к нам в камеру. Он был смущен, волновался, не знал, с чего начать.

— Прошу извиненья, господа . . . Вот уже второй месяц . . . Чтобы ускорить, я все ваши бумаги отослал в Жандармское Управление. У меня даже списка не осталось, только отметки в арестантской книге . . . Разрешите, я буду вызывать имена, а вы откликайтесь . . .

Он хотел, попросту, сделать перекличку и выяснить, не бежал ли кто нибудь, и опасался сопротивления с нашей стороны. Мы выручили его, вышли на коридор, пригласили туда же товарищей из других камер: в наших интересах было замять дело о покушении на побег.

Началась перекличка. Все оказались на лицо. Смотритель чуть не прыгал от радости. Он без конца благодарил нас, рассыпался в любезностях, извинялся за причиненное беспокойство . . .

На этом дело и кончилось.

После этого у заключенных появился новый план: подпилить оконную решетку, подняться на крышу и оттуда спуститься на улицу. Для выполнения этого плана нужно было произвести предварительную рекогносцировку квартала. Началась работа в этом направлении.

Вдруг, в конце июня, в нашем деле наступил перелом. Жандармы начали освобождать одного за другим арестованных во фракции. Одним из первых выпустили П. П. Маслова, — все были рады за него, так как все, за время общего заключения, искренне его полюбили.

В первых числах июля освободили и меня. Хинчук и товарищ-латыш просили меня собрать для них сведения о расположении крыш соседних домов, о ближайших полицейских постах и т. д.

Немедленно по освобождении я принялся за это дело: ходил вокруг участка, считал водосточные трубы, чертил планы и схемы.

Не успел я довести до конца эту работу, как узнал приятную новость: Мирон и латыш тоже освобождены. Повидимому, жандармы решили ликвидировать дело о собрании на квартире Озола, — в их руках, и без «посторонних» участников этого собрания, оставалась достаточная добыча — социал-демократическая фракция второй Государственной Думы.

* * *

На воле я застал большие перемены.

Не помню, произошли ли за это время в Петербурге значительные провалы. Но партия казалась разгромленной до основания. От многотысячной организации, бывшей у нас весной, теперь оставались лишь жалкие обломки: неполный, бессильный, малодеятельный Петербургский Комитет и у него более или менее случайные связи с отдельными заводами.

Как это часто бывает при непродолжительном тюремном заключении, я вышел на волю во власти тех самых настроений, которые были у меня в день ареста: в июле я продолжал смотреть на вещи так же, как смотрел в начале мая, — положение, мол, тяжелое, но об'ективный

ход событий ведет к новому под'ему, к решительной схватке, к конечной победе.

Весной все мы рассуждали по этой схеме. Прошло всего два месяца. Но за это время как будто волна усталости и отчаяния поднялась из рабочих кварталов, захлестнула наши ячейки, смела их в пропасть.

Это было падение с облаков иллюзий на жесткую, черную землю.

Удар был нанесен партии арестом социал-демократической думской фракции.

Именно этим арестом, а не разгоном Государственной Думы, не изменением избирательного закона.

Ведь была же распущена и первая Дума! И безучастное отношение народных масс и, в частности, рабочих к этому акту не убило в нас веры в близость революционного под'ема. Напротив того, — молчание страны мы признали доказательством того, что в народе нет конституционных иллюзий, и это позволило нам торжествовать по поводу провала июльской забастовки.

А вторая Дума была еще хуже первой: первая Дума хоть боролась, — хорошо или плохо, — за ответственное министерство, тогда как вторая раболепно склонялась перед Столыпиным. Разогнали ее, — не велико несчастье!

Так же обстояло дело с изменением избирательного закона. Ведь и старый закон, оставляя бесправными широкие массы населения, отдавал народное представительство в руки помещиков и буржуазии. Правам, которые этот закон предоставлял рабочим, мы не придавали значения. Если теперь реакция отбирает эти крупицы прав, — что же? Одной иллюзией меньше! Для революции это, быть может, плюс, а не минус...

Но существенно было, как, при какой обстановке совершился переворот 3-го июня. Существенно было, что арестом социал-демократической фракции был брошен вызов прямо в лицо пролетариату, — и на этот вызов реакции рабочие массы не смогли ответить.

Ложью оказались все слова о боевой готовности пролетариата. Ложью оказалась вера в рабочие батальоны.

Это был за полтора года третий удар[1]), и, быть может, самый жестокий, самый тяжелый.

Началось бегство из партии. Уходили от партийной работы не случайные попутчики, не массовики, временно примкнувшие к партии, но лучшие, наиболее сознательные рабочие, много лет отдававшие свои силы революции. В партийных комитетах стало пустынно, безлюдно.

Уходили и интеллигенты, до сих пор не имевшие, казалось, никаких интересов, никаких обязательств, кроме партийной работы. Теперь у одного оказывалась семья, у другого выпускные экзамены, у третьего служба . . .

А в стране все было тихо. Ни аграрных волнений, ни политических стачек, ни массовых протестов . . .

* * *

В печальном положении застал я и Совет Безработных.

Я упоминал уже об убийстве руководивших общественными работами инженеров В. А. Берса и Д. К. Нюберга.

Убийство произошло во время моего заключения в Спасской части. Я тотчас же написал товарищам по Совету Безработных, что этот акт может оказать гибельное влияние на движение, что на массы безработных деморализующе подействует кровь невинных людей, пролитая, — якобы в их защиту, — безумными фанатиками. Я рекомендовал товарищам немедленно созвать Совет и вынести резолюцию, осуждающую это убийство. К своему письму я приложил и проект такой резолюции.

Совет, действительно, собрался, принял резолюцию, опубликовал ее. Эти меры, как будто, достигли цели: двойное убийство в Галерной Гавани стало казаться каким то трагическим недоразумением, ничем не связанным с движением безработных.

Но в душах безработных остался след от пролитой на общественных работах крови. Для массы не было сомнений: молодцы анархисты!

Резолюцию Совета одобряли, — но лишь как военную хитрость, для отвода глаз полиции.

Действия Городской Думы усиливали эти настроения: теперь гласные шли на уступки безработным, были необычайно любезны в разговорах с ними, открыли кредит на окончание работ в Гавани. Мотивы такой уступчивости были ясны для всех.

И все шире распространялось среди безработных убеждение, что с «буржуями» нужно разговаривать револьверами и бомбами. Совет Безработных боролся с этими настроениями, но безуспешно.

Вдобавок, в Совете начались трения между отдельными районами и различными партийными группами.

Организация разлагалась, разваливалась. Держались еще лишь общественные работы, — кое какие постройки, земляные и свайные работы в Галерной Гавани, металлические мастерские на Гагаринском Буяне.

В мастерских было занято человек 300. Среди них — десятка два членов первого петербургского Совета Рабочих Депутатов. Здесь же укрылось человек десять матросов, участников Свеаборгского и Кронштадтского восстаний, живших по фальшивым паспортам.

Партийная работа велась в мастерских, как нигде в Петербурге: почти все рабочие входили либо в с.-д. организацию, либо в партию социалистов-революционеров. И среди этих сотен рабочих не было ни одного предателя. Слепо веря в «гагаринцев», зимою и в начале весны 1907 года, я широко «использовал» мастерские для партии: устраивал здесь явки, склады литературы и т. д. Как то в течение нескольких недель не удавалось собрать общегородскую конференцию. В городе не было надежного помещения, а

[1]) Первый удар — в декабре 1905 г., второй — в июле 1906 г.

везти полтораста человек в Териоки значило лишний раз демонстрировать их целой ораве шпиков на Финляндском вокзале и в Белоострове. Мы с Малышевым предложили Комитету собрать конференцию в воскресенье, на Гагаринском Буяне. Накануне, в субботу, я собрал всех рабочих, занятых в мастерских, и сказал им:

— Хорошо было бы отработать один день в пользу безработных. Если согласны, приходите завтра с утра в мастерские. А мы тем временем устроим здесь же партийное собрание.

Все поняли, в чем дело, и сразу согласились.

В воскресенье с утра на Буяне стучали молоты. И целый день под этот шум, под прикрытием работы 300 человек, заседала наша конференция. Распустили мы ее, когда патрули донесли о приближении полиции [1]) . . .

Эта история, имевшая место до моего ареста, в конце апреля или в самом начале мая, достаточно характеризует состав рабочих в Гагаринских мастерских.

Но в июле и здесь стали брать верх анархические настроения.

Явилась идея об образовании террористической группы — «Рабочие - мстители» или просто «Мстители». Эта группа должна была разослать угрожающие письма гласным Городской Думы и устроить покушения против тех из них, которые будут выступать за закрытие общественных работ. В частности, говорили о необходимости «снять» члена городской управы черносотенца Опошкевича - Яцыну. Кажется, дело не ограничивалось разговорами: делались приготовления, — за некоторыми лицами была установлена слежка.

[1]) Об этом заседании упоминает в своих разоблачениях охранник Болеслав Бродский. Он должен был подкинуть здесь хранившийся у него архив военных и боевых организаций, который полиция расчитывала захватить вместе с конференцией. Проделка не удалась, по его словам, лишь потому, что заседание конференции происходило в мастерских на Гагаринском Буяне, куда полиция не могла подобраться незаметно.

Удивительно, как эти планы не провалились в самом начале: о них знал чуть ли не весь Гагаринский Буян.

Под конец, увлеклись идеей террористической борьбы с Городской Думой и некоторые члены нашего Исполнительного Комитета. На заседаниях они не говорили об этом, но в частных беседах не раз высказывали мне свои мысли.

В августе выплыл конкретный план: бросить бомбу в заседание Городской Думы с таким расчетом, чтобы взорвать и перебить главных врагов общественных работ на глазах остальных гласных.

Я уже не чувствовал в себе ни сил, ни решимости, чтобы бороться с анархическими течениями в среде безработных так, как боролся с ними полгода тому назад, при появлении «Группы Рабочего Заговора». Я не мог сказать «мстителям»: «Ваши планы грозят массовому движению». Не мог сказать это, так как знал, что массовое движение, все равно, гибнет. Подавно не мог я пускаться с ними в моральные рассуждения о насилии и убийстве. Поэтому спорил я с ними слабо. В глубине души у меня были сомнения: всегда ли пагубна для рабочих террористическая борьба против буржуазии?

За раз'яснением этих сомнений я обратился к Ленину. Поехал к нему в Куокала и рассказал о настроениях среди безработных, о «мстителях», о их намерении бросить бомбу в заседание Городской Думы.

Ленин слушал чрезвычайно внимательно, вставляя время от времени:

— Вот как? Это крайне интересно.

Затем начал расспрашивать:

— Вы думаете, люди у них найдутся?

— Несомненно.

— Надежные?

— Вполне.

Тогда Ленин сказал раздумчиво:

— А может быть, это было бы недурно. Встряхнуло бы . . .

Но группа «мстителей» распалась, не приведя в исполнение своих замыслов. Для получения средств на устройство покушений члены этой группы решили начать с экспроприации. Нападение, предпринятое ими, оказалось неудачным. Один из участников был убит, другой застрелился во время погони. После этого группа развалилась, наиболее видные члены ее уехали из Петербурга.

Ни о ком из них я не имел впоследствии известий. Вероятно, большинство из них сложили головы в тех налетах, которых так много было в 1907—1908 г. г., или погибли на виселицах.

* * *

В сентябре начались разговоры о выборах в третью Думу.

По закону 3-го июня, петербургские рабочие должны были выбирать своего депутата отдельно от прочих граждан, — рабочая курия была теперь изолирована от городской.

Поднялся вопрос о тактике на выборах. Как в начале 1906 года, закипели споры, — участвовать ли в выборах, или бойкотировать Думу? Социалисты-революционеры решили бойкотировать выборы. Меньшевики твердили, что и первый бойкот был глупостью, и предостерегали от повторения этой ошибки. Среди большевиков обнаружились разногласия.

Часть — пожалуй даже, большая часть — рабочих-большевиков склонялась в пользу бойкота. Но на фракционных собраниях никто из них не мог сколько-нибудь убедительно мотивировать эту тактику. Ссылались лишь на настроения рабочих. Самое слово «настроения» повторялось на каждом шагу. Один из видных рабочих большевиков Михаил (Томский) как то заметил по этому поводу:

— Настроения, настроения! Послушать товарищей, так петербургский пролетариат оказывается нервной девицей с настроениями.

Из партийных теоретиков за бойкот выборов, если память не обманывает меня, стоял лишь А. А. Богданов. Не помню точно его аргументации. Кажется, в основе ее лежала идея необходимости возвращения к партизанской вооруженной борьбе.

Остальные теоретики большевизма стояли за участие в выборах. Энергичнее всех выступал против бойкота Ленин.

— Бойкот, говорил он, допустим и даже обязателен для революционной партии тогда, когда она может противопоставить подаче избирательных записок другой, более действительный метод борьбы. Долой выборы, да здравствует восстание! Это понятно. А теперь что противополагаем мы выборам? Ничего!

И он предлагал призывать рабочих к участию в выборах в интересах организации масс и революционного использования Думы. В общем и целом, рассуждения Ленина осенью 1907 года были очень близки к рассуждениям меньшевиков в период окончания избирательной кампании в первую Думу. Только терминология была другая.

К концу сентября выяснилось, что бойкотисты составляют в большевистской организации ничтожное меньшинство. Партия, в целом, решила принять участие в выборах[1]).

Кампанию в Петербурге мы проводили совместно с меньшевиками.

Но в городской курии, на этот раз, нам нечего было делать. Предвыборные собрания устраивались закрытые, — исключительно для избирателей. А из наших ораторов ни один не имел избирательных прав. К этому присоединялось значительное изменение состава избирателей, в смысле устранения демократических, близких нам элементов.

Впрочем, и со стороны других партий избирательная кампания велась, на этот раз, вяло, без под'ема.

[1]) Помнится, бойкотисты получили компенсацию в виде обещания, что в будущем, если пребывание с.-д. в Государственной Думе окажется бесполезным, партия отзовет своих депутатов.

Мы выставили общий кандидатский список с народниками. Первым кандидатом шел Н. Д. Соколов.

Кандидатура его вызвала большие споры в Петербургском Комитете и большевистском центре: Соколова считали не вполне надежным по части большевизма.

В конце концов, с него взяли торжественное обещание подчиняться, в случае избрания в Думу, директивам Петербургского Комитета.

В закрепление этого устного обещания, Н. Д. Соколову предложили открытым письмом в газеты подтвердить, что он выступает, как партийный кандидат, связанный партийной дисциплиной. К. Д. Соколов это требование исполнил.

В рабочей курии на первой стадии выборов борьба велась между социал-демократами, с одной стороны, социалистами-революционерами, с другой.

— Выбирать? спрашивали эсэры: Куда выбирать? В тюрьму? Нет! Не могут рабочие помогать полиции в выдавливании революционных элементов.

Другой довод социалистов-революционеров сводился к тому, что герои переворота 3-го июня неспроста оставили в Государственной Думе специальное, рабочее представительство: правительству выгодно, чтобы в Думе было несколько человек рабочих, — это нужно для отвода глаз в России и в Европе. Участвуя в выборах, рабочие помогают правительственному обману . . .

Социал-демократы отвечали ссылкой на опыт второй Думы:

— На каком вопросе разогнало правительство Думу? На вопросе о выдаче с.-д. фракции. Думе было поставлено на выбор: или — продолжай работать без социал-демократов, или — разгон! Дума без с.-д. фракции, без депутатов рабочих — это все, о чем мечтает Столыпин.

Поле борьбы осталось за социал-демократами. На выборах лишь несколько незначительных заводов, да отдельные мастерские вынесли резолюции об отказе от голосования. Остальные выбирали. Но замечался большой абсентеизм.

Состав уполномоченных оказался довольно пестрый: большевики, меньшевики, беспартийные, в большей или меньшей степени симпатизирующие с.-д. партии. Беспартийных было, помнится, около половины, — сказалось ослабление организации.

Встал вопрос, кого проводить в депутаты.

Петербургский Комитет не мог решить этот вопрос, так как беспартийные уполномоченные не подчинились бы ему. Пришлось собрать уполномоченных, чтобы сговориться с ними.

Собрание происходило в Терпоках. Меньшевики выдвинули кандидатуру уполномоченного Невского Судостроительного Завода Чиркина. Это был толковый рабочий, прошедший многолетнюю школу партийной работы, и к тому же хороший оратор. Найти равного ему соперника среди уполномоченных-большевиков было трудно. Лучше других казался Полетаев, — старый путиловец, преданный партии. Но, как на зло, Полетаев робел перед незнакомым собранием и говорил из рук вон плохо.

Меньшевики внесли предложение:

— Пусть кандидаты познакомят уполномоченных со своими взглядами и с тем, что намерены они делать в Государственной Думе.

Пришлось Полетаеву, с его суконным языком, вступить в единоборство с бойким и блестящим Чиркиным. Результаты были не в пользу нашего кандидата.

Большевики перенесли тогда вопрос в плоскость партийной дисциплины: депутатом от петербургских рабочих может быть лишь тот, за кого поручится петербургская организация, а за Чиркина организация не ручается.

Тут всплыло против меньшевистского кандидата обвинение в том, что Ц. К. нарочно послал его на Невский завод, чтобы провести его в Думу; а он, Чиркин, выполнял этот план без ведома местной организации, тайком от

нее; и на выборах он выставил свою кандидатуру против желания заводской ячейки.

Эти разоблачения произвели впечатление на беспартийных уполномоченных. Один из них разразился горячей речью:

— Мы не человеку должны верить, а партии. Человек — сегодня хорош, а назавтра выходит подлец подлецом. Выберем такого, — и не знаем, кого выбрали. А партия остается. Партия у него, как смерть с косой, за плечами. От партии он никуда не уйдет.

Чиркин яростно защищался. Полетаев помалкивал. За него говорили другие.

Устроили перерыв для совещания по фракциям. У большевиков царило большое смущение, — больно слаб был наш кандидат. Я предложил проводить Чиркина, связав его формальным обязательством подчиняться Петербургскому Комитету.

— В третьей Думе, говорил я, социал-демократов будет крошечная кучка. Среди них Полетаев многого не сделает. А Чиркин был бы украшением фракции...

На меня замахали руками:

— Можно проводить любого меньшевика, но не предателя — карьериста.

Решено было ни в коем случае не допускать избрания Чиркина и до конца защищать Полетаева.

Собрание уполномоченных под конец согласилось проводить нашего кандидата.

* * *

В начале октября, когда выборы на второй стадии еще не были закончены, нам пришлось начать новую кампанию: приближался день суда над с.-д. фракцией второй Государственной Думы[1]).

[1]) Суд состоялся 22-го ноября, но ожидали его значительно раньше.

В Петербургском Комитете обсуждался вопрос, как всколыхнуть массу, как побудить ее протестовать против суда над ее избранниками.

Меньшевики внесли предложение: выпустить листок. Я предложил устраивать уличные и заводские митинги.

Против моего предложения посыпались возражения:

— В данный момент устраивать митинги — значит провоцировать избиение рабочих! У нас и ораторов нет для митингов.

Митингеров у партийной организации в то время, действительно, не было: из старого состава «ораторской коллегии» оставался я один.

Я сказал:

— На митингах по поводу суда над фракцией могут выступать и рядовые рабочие. Нужно только начать. Первые митинги я беру на себя.

Намечавшуюся кампанию я принимал особенно близко к сердцу, так как меня тяготила мысль о той роли, которую невольно сыграла в судьбе фракции наша затея с солдатским наказом.

Меньшевики предложили мне провести митинги на Трубочном заводе (на Васильевском острове) и на Путиловском. Я оба приглашения принял.

Митинг на Трубочном заводе удалось устроить без затруднений.

К заводу, в час окончания работ, подошло человек тридцать безработных; расположились полукругом перед воротами, а когда повалила толпа, построили цепь и остановили живой поток. Я поднялся на тумбу около ворот и говорил с четверть часа, пока не приехала конная полиция. Рабочие остались довольны: дорого было то, что под носом полиции был проведен многотысячный митинг, была принята резолюция протеста.

Оставалось продолжать в том же духе.

Второй митинг на Путиловском заводе был назначен на 12 октября.

* * *

Утром этого дня ко мне явилась полиция с ордером об обыске. Для меня с первой минуты было ясно, что дело не в обыске, а в аресте. Не знал лишь, по какому именно делу берут меня: распутали ли клубок с солдатским наказом, или арестуют меня, как члена Петербургского Комитета, или проведали о моем выступлении перед Трубочным заводом.

Во всяком случае, больше, чем перспектива тюрьмы, угнетала меня мысль, что с моим арестом оборвется начинающаяся кампания по делу социал-демократической фракции, — мой провал будет понят, как доказательство того, что при данной обстановке митинги в Петербурге невозможны. А кроме того, у меня на руках был Совет Безработных: как раз теперь мы делали отчаянные усилия, чтобы восстановить организацию, кое что уже успели наладить, на днях должно было состояться заседание перевыбранного и пополненного Исполнительного Комитета. Я боялся, что без меня дело расстроится.

Это был уже не первый мой арест. Но впервые я почувствовал страстное желание отстаивать во что бы то ни стало свою свободу.

Квартира была полна полиции. Человек двадцать городовых, околоточных и каких-то суб'ектов в штатском рассыпались по всем комнатам. Помощник пристава рылся в моем письменном столе. Я ходил взад и вперед по комнате, посреди полицейских, обдумывая положение.

Выглянул в переднюю. Там, в дверях на лестницу, стояли два городовых. Повидимому, они имели приказ сторожить выход и не обращали внимания на происходившее в квартире. Со своей стороны, полицейские, производившие обыск, как мне показалось, нимало не беспокоились о выходной двери.

У меня шевельнулась мысль:

— Попробую!

Подошел к помощнику пристава и затеял с ним спор по поводу отбираемых им бумаг. Полицейский попросил меня не мешать ему и отложить замечания до составления протокола.

— Хорошо, подчиняюсь.

Я вышел в соседнюю комнату, а оттуда в переднюю. Городовые попрежнему стояли в выходных дверях. Я сказал им, указывая на дверь моей комнаты:

— Пристав требует к себе, — шкаф переставить.

Городовые поспешно двинулись к двери. Я схватил с вешалки пальто и шляпу, выскочил на лестницу и стал спускаться. На ходу одел пальто и спокойно вышел на улицу мимо дежуривших внизу полицейских...

Мое исчезновение не сразу было замечено полицией. А заметив происшествие, помощник пристава долго не мог понять, как это случилось. Сперва он сгоряча составил протокол о моем побеге из под стражи. Затем, сообразив, что отвечать придется не мне, а тем, кому поручено было меня арестовать, первый протокол уничтожил и составил новый, в котором значилось, что полиция, явившись для обыска, не застала меня дома.

А я между тем уже успел добраться до одной верной квартиры в центре города и здесь соображал, как быть дальше.

В течение двух лет я работал в Петербурге, открыто выступая на митингах во всех частях города. Была ли возможность продолжать эту работу, скрываясь от полиции? В частности, как мог я, при новых условиях, оставаться во главе Совета Безработных?

Казалось, своим побегом я ничего не достиг...

Решил не думать о далеком будущем. На вечер мне предстоял митинг на Путиловском. Дождавшись сумерек, я отправился за Нарвскую заставу.

* * *

Рабочий-путиловец, к которому я явился, познакомил меня с положением. Митинг устраивается внутри завода, во время ломки смен, с таким расчетом, чтоб захватить и дневных рабочих, и ночных. Чтобы не подводить ни одной мастерской в отдельности, заводской комитет постановил митинг устроить во дворе, на перекрестке двух «улиц», по которым при ломке смен всего сильнее движение.

Все это не очень понравилось мне, — в закрытом помещении или на улице, перед воротами, говорить было бы много легче. Но менять план было поздно. Я спросил товарища, как пройти в завод.

— У нас для вас номерок заготовлен, ответил он: Только придется вам приодеться маленько и очки снять.

Час спустя я стоял в толпе рабочих в проходной конторе завода. На мне была засаленная куртка, на голове — измятый картуз, под мышкой жестяной чайничек и краюха хлеба. Повесил бляху с № на доску и прошел благополучно во двор.

Здесь было темно. В разных направлениях двигались люди. Издали доносился стук, грохот. Я потерял своего проводника и не знал, куда идти.

Кто-то тронул меня за локоть:

— За мной идите, товарищ!

Я узнал одного из путиловских уполномоченных, пожилого рабочего, с бородой во всю грудь. Пошел за ним. Остановились в темном закоулке между какими то кладовыми.

— Здесь подождем, говорил рабочий: отсюда недалече. Только личность у вас, товарищ Петров, малость выдающаяся, под маслицем оно не так было бы приметно.

Он протянул мне тряпицу, пропитанную машинным маслом. Зажмурив глаза, я несколько раз провел ею по лицу.

— Так хорошо?

— В самый раз.

Путиловец провел меня на открытое место под электрическим фонарем. Сюда с двух сторон вливалась толпа. Мы стояли у высоких штабелей железа.

— Наверх бы взобраться . . . тихо сказал рабочий: С земли голоса не слышно будет . . .

Поднялся наверх. У моих ног двигались люди, но без очков я не различал их. Путиловец поднялся рядом со мной на штабель и крикнул:

— Стойте, товарищи! Сейчас оратор говорить будет о Государственной Думе и о наших депутатах . . .

Трудно было говорить, не видя слушателей. Махнув рукой на конспирацию, одел очки.

Море голов. Свет от фонаря падает на повернутые в мою сторону лица, замазанные сажей и маслом. Ждут напряженно, и я с мучительной четкостью чувствую, что не нового, неведомого слова ждут они от меня, а жаждут услышать старые, знакомые слова, еще недавно вливавшие в их души столько бодрости, света, веры и заглушенные теперь неумолимой жизнью.

Я начал говорить, — не о Думе, не о суде над с.-д. фракцией, а о Путиловском заводе, о том, что пережито им за последние три года.

Январская забастовка 1905 года . . . Гапон . . . 9-ое января . . . Новая стачка летом . . . Октябрьские дни . . . Совет Рабочих Депутатов . . . Кронштадт, вторая всеобщая забастовка, ноябрьский локаут . . . Начало поражений . . . А затем, — расчеты, безработица, аресты, высылки . . .

Выборы в первую Думу. Крушение последних надежд . . . Военно-полевые суды, виселицы . . .

Я следил за жизнью завода за эти годы и мог назвать день и месяц, когда был закрыт такой-то цех,

когда было выброшено на мостовую столько то рабочих. Мог перечислить набеги полиции на завод, подвиги черной сотни за его воротами.

Случайно, в декабре 1906 года, в Пересыльной тюрьме, мне пришлось встретиться с одним путиловским рабочим социалистом-революционером, приговоренным к виселице и получившим замену смертной казни бессрочной каторгой. Это был молодой парень высокого роста, с красивым открытым лицом, с ласковыми глазами. Он убил мастера (или бригадира), не стерпев его издевательств...

Я рассказывал о нем, каким я видел его в тюрьме, — с обритой головой, с цепями на руках и на ногах.

Затем, перешел ко второй Государственной Думе и к с.-д. фракции. Представители пролетариата всей России — в плену. Их ждет суд. Потерпят ли рабочие это новое издевательство?..

Я кончил речь.

— Забастовка! крикнул кто то из толпы.

И тысяча голосов подхватила:

— Забастуем, все забастуем!...

Медленно потянулась толпа к воротам. Я шел среди других, нахлобучив картуз, сняв очки.

Перед проходной конторой заминка.

В конторе полиция. Я чувствую на своем лице шпиковские взгляды. Но кто узнает партийного агитатора в замазанном мастеровом с устало согнутой спиной и опущенной головой?..

Это был мой последний заводский митинг в Петербурге.

Встретиться вновь с петербургскими рабочими мне предстояло лишь десять лет спустя.

* * *

15-го октября собрался Исполнительный Комитет Совета Безработных. Собрание происходило где то на Васильевском острове. Присутствовало человек 35.

Но только успели мы открыть собрание, как явилась полиция.

Поверхностный личный обыск, — хотят удостовериться, нет ли при нас оружия. Выводят задержанных на улицу, где дожидается многочисленный наряд полиции, и отправляют в ближайшую часть.

В части пристав пытается составить список арестованных. Но одни отказываются назвать себя, другие дают вымышленные имена. Пристав выходит из себя...

Группа товарищей обступила меня, убеждают:

— Вы во что бы то ни стало должны выкрутиться. Попытаетесь собрать остатки Совета...

Один молодой рабочий социалист-революционер предложил:

— Берите мой паспорт! Это — «железка». Квартирная хозяйка и дворник — свои люди. Опознают вас за жильца. А я попозже откроюсь на другое имя.

Я поблагодарил товарища, взял его паспорт и, сев в углу, стал зубрить имя-отчество, волость, деревню, адреса прежних прописок и прочие приметы. «Железка» была выдана на имя крестьянина Ломжинской губернии, Кульчицкого или Клемчинского, не помню точно. Меня записали под этим именем.

Среди арестованных оказался рабочий с фамилией Петрова. Его личность заинтересовала пристава.

— Вы студент?

— Нет.

— Председатель Совета Безработных?

— Нет.

— Напишите собственноручно ваше имя.

И пристав долго, с недоумением рассматривал его каракули.

Была уже ночь, а нас все держали в части. Мы стали выражать нетерпение. Помощник пристава вышел к нам об'ясняться:

— Мы бы вас давно отправили, да из Главного Тюремного Управления никак не можем получить указаний. Бог знает, что там у них сегодня . . .

Было далеко за полночь, когда нам приказали собираться. Под караулом полуроты солдат конвойной команды повели окружным путем, через Петербургскую сторону, в Кресты.

Вот знакомое кирпичное здание . . .

Полтора - два года тому назад я сидел здесь, как Войтинский. У них есть и карточка моя, и почерк. Неужто удастся сойти теперь за крестьянина Ломжинской губернии?

Остановились против тюремных ворот. Старший конвойный звонит. Привратник берет у него пакет. Проходит полчаса, час.

Мы устали. На улице холодно. Начинаем стучать кулаками в ворота. Снова появляется привратник:

— Чего стучите? Нашли место безобразить. Перед тюрьмой!

— Не хотим ждать на морозе.

— А куда я вас дену, когда у м е н я все камеры полны?

Один из рабочих предлагает:

— А ну ка, товарищи, марсельезу! Пускай арестуют . . .

Затягиваем марсельезу. Солдаты не мешают, — как иначе заставить тюремную администрацию скорее принять арестантов?

Выходит из ворот помощник начальника тюрьмы, заспанный, сердитый. Кричит на конвойных, кричит на нас, грозится. Старший уходит с ним в контору. Спустя полчаса возвращается и командует:

— Становись по четыре в ряд!

Велено вести нас обратно на Васильевский остров, в арестный дом, что на Среднем проспекте. Опять плетемся

через весь город. Когда добрались до арестного дома, уже светало.

Обширное, мрачного вида здание под каланчой. Внизу пожарный обоз. Вверху какие то полицейские службы. Арестантские помещения во внутреннем дворе.

Двор заставлен, завален: поленницы дров, творило с известью, бочки, повозки, груды строительного мусора.

Прошли через кордегардию, пропахшую махоркой и кислой шерстью, и, через калитку в железной решетке, вступили в помещение арестного дома. Лестница закапана известкой и глиной. На каждой площадке с обеих сторон прочные решетки, за ними шумная толпа арестантов: одни в серых бушлатах, другие в пестрых лохмотьях.

Нам отвели правый коридор в третьем этаже, всего три камеры.

Кое-как расположились на нарах и на полу. Я сразу заснул. Проснулся, когда по камерам разносили обед.

Через уголовных соседнего коридора товарищи уже раздобыли газету. Из нее мы узнали, что накануне, 15-го, был убит помощник начальника Главного Тюремного Управления Максимович. Становилось понятно, почему Управление не могло распорядиться сразу, куда девать арестованных в этот тревожный вечер.

* * *

В Василеостровскую часть нас поместили по недосмотру. Как раз на том коридоре, который отвели для нас, производился ремонт. Здесь работало четверо каменьщиков: закладывали кирпичами широкие арки, соединявшие камеры с коридором, оставляя в каждой стене лишь узкое отверстие для одностворчатой двери.

Среди арестованных со мною был председатель союза строительных рабочих, — по имени, помнится, Артем, — толковый, энергичный человек. Я попросил его поговорить

с каменщиками, работавшими на нашем коридоре, и выяснить, что это за люди.

Часа через два товарищ сообщил мне:

— Ребята не плохие, а один человек совсем хороший.

— Выясните, пожалуйста, что можно через них сделать в смысле побега.

Вечером тов. Артем передал мне результаты своих переговоров. Тому из каменщиков, которого он определил, как «совсем хорошего человечка», он сказал, что есть среди арестованных один товарищ, которого нужно освободить.

Каменщик ответил на это:

— Подумаю, как сделать. Завтра скажу.

Этот первый день в Васнлеостровской части промелькнул незаметно. Наводили чистоту в камерах, сделали выписку продуктов, выбрали старост. Относительно меня сговорились, что я буду держаться в тени, не показываясь начальству, — это увеличивало шансы выскочить по «железке».

Утром Артем подвел ко мне каменщика, с которым говорил накануне. Это был мужик высокого роста, с правильными чертами лица, с курчавой огненно рыжей бородой и голубыми глазами, — типичное крестьянское лицо. В упор смотря мне в глаза, он сказал:

— Вот, товарищ вчерась говорил . . . Так я могу, хоть сегодня . . .

— Как? спросил я.

— В обед я сюда бочку с цементом подыму. Цемент высыплю. Вы в бочку сядете. Вечером я вас вниз, мимо надзирателей, снесу, а во дворе дно отыму, — вы и пойдете.

— Надзиратель в бочку не заглянет?

— На что ему? Они не смотрят . . .

— Хорошо. Тащите бочку!

Каменщик весь как-то просветлел и стал благодарить меня.

Но после обеда он пришел без бочки, печальный, удрученный, и, избегая меня, отозвал в сторону Артема.

Оказалось, что все каменщики, работающие на нашем коридоре, — земляки, и живут общей артелью. Бородач решил, что он должен предупредить товарищей, и за обедом сказал им:

— Хочу вечером одного человека на волю вызволить.

Один из товарищей одобрил его намерение, два других запротестовали. Последовал спор. Бородач заявил землякам, что больше работать с ними в полицейской части он не согласен. Но от плана с бочкой ему пришлось отказаться.

На следующий день на коридор явилось лишь двое каменщиков: мужичек невзрачного вида, и с ним подручный, парень лет 16—17.

Артем спросил мужичка, почему не вышел на работу его бородатый товарищ. Мужичек сперва отмалчивался, а потом выпалил:

— Потому не вышел, что он человек справедливый, а другие, которые среди нашего брата, — сволочи.

Этого было достаточно. Я подошел к мужичку и предложил ему такой план: я переоденусь каменщиком и изменю наружность так, чтобы походить на его подручного; вечером мы вдвоем возьмем на плечи носилки с ведрами и всяким хламом, он станет спереди, а я сзади; и в таком виде он выведет меня во двор, пока работающий с ним паренек будет болтать и покуривать в камере.

Это было выполнимо. На площадке, между решетками, дежурил всего один надзиратель, грузный увалень с добродушным и тупым лицом. Он еле справлялся со своими ключами, вечно путался в счете арестантов, и можно было поручиться, что, открывая решетку для каменщика, он не будет всматриваться, кто идет сзади него в качестве подручного.

Мужичек колебался. Наконец, сказал:

— Подумать надо. А вы действуйте!

Мы принялись «действовать»:

Наш староста вызвался в контору арестного дома и заявил смотрителю, что арестованные требуют цирюльника. Смотритель ссылался на инструкцию, по которой заключенным полагается бриться и стричься раз в месяц. Но староста настаивал:

— Мало ли что полагается? На политическом отделении насекомых не полагается, а у вас от вшей деваться некуда.

Переговорив по телефону с Главным Тюремным Управлением, смотритель послал за цирюльником.

Одни из заключенных выразили желание постричься, другие брились. А я дал себя постричь под машинку, снял бороду, снял усы, — и стал более похож на 16-летнего парня, чем на лохматого Сергея Петрова.

Тем временем Артем, вооружившись иглой, шил мне каменьщицкий фартук с освященной традицией тысячей складок у пояса. Материалом ему послужил мешок от казенного матраса.

Оставалось добыть круглую шапчонку, рубаху, высокие сапоги.

Вечером я примерил свой новый наряд. Все было бы хорошо, но было заметно, что лицо у меня бритое; а кроме того без очков я невольно щурился. Артем сказал:

— Это ничего! Перед тем, как идти, все равно, нужно будет вас побелить маленько.

Утром пришел на коридор наш мужичек. Я был уже в платье каменьщика, прикрытом длинным пальто. Подошел к нему:

— Ну что, надумали?

Глядя в сторону, он ответил:

— Боязно. Иди один. Я не выдам, а пособлять не могу.

— Да как же я один пойду?

— А так: бери ведро, да и ступай прямо в дверь, за раствором! А со двора Бог выведет.

Решился рискнуть.

Взяв у каменьщика ведро из-под известки, ком глины и какую то жестянку, Артем принялся готовить все необходимое для последней отделки моего туалета и для грима. Я должен был идти ровно в 12 часов, когда начинается раздача обеда, и на лестнице арестного дома снует всего больше народа.

Вот задребезжал полуденный звонок, раздалась команда: «выходи за обедом!» Я сбросил пальто, товарищи обступили меня с заготовленной известкой и жидкой глиной; и в одно мгновение «выбелили» меня с головы до пят. Артем сунул за пазуху моего необ'ятного фартука полдюжины савков и лопаточек, я подхватил ведро из-под известки и вышел на коридор.

Мужичек-каменьщик тихо произнес мне вслед:

— Помогай тебе Бог.

Подойдя к решетке, я окликнул надзирателя:

— Отопри!

— Куда? спросил тот.

— На двор, за раствором.

Надзиратель взялся за ключи. Но кто-то из уголовных, толпившихся за решеткой по другую сторону площадки, узнал меня и крикнул надзирателю:

— Что ты? Не видишь, это политический переоделся, бежать хочет!

Я повторил настойчиво:

— Отопри дверь-то! Работа без раствора стоит.

Уголовные хохотали. Надзиратель растерянно поворачивался то к ним, то ко мне.

Чувствуя, что дело может сорваться, я крикнул уголовным:

— Чего вы к человеку пристали, зубы скалите? Не по своей воле он с ключами ходит.

Надзиратель сообразил, что «шпана» смеется над ним, а я, как человек рабочий, понимаю и заступаюсь за него. Решительно отпер дверь, выпустил меня на площадку и, постучав ключами по перилам, крикнул вниз:

— Пропусти одного, мастерового!

Я уже спускался по лестнице.

Сзади уголовные кричали:

— Смотри, убежит, под суд угодишь.

Вдруг я почувствовал, что неправильно несу ведро: я держал его перед собой, на локте, а нужно было держать его сбоку, на опущенной руке. Эта мелочь вызвала во мне больше тревоги, чем вмешательство «шпаны», и я невольно замедлил шаги. Остановился, опустил ведро на ступеньку лестницы, повернулся к уголовным и громко выругался. Надзиратель уселся на свою табуретку и махнул рукой:

— Чего, мол, с них спрашивать?

Я взял ведро, — уже, как следует, — и продолжал спускаться.

На второй площадке надзиратель сразу пропустил меня и передал вниз привратнику:

— Пропусти одного!

Вышел во двор, подошел к творилу с известью, помешал палкой в ведре. Затем, оправив савки за пазухой, пошел на улицу.

Нужно было, как можно скорее, убираться подальше от участка. Невдалеке стояла пролетка. Подбежав к ней, я сказал вознице:

— Живо, дяденька! Тут на постройке человека задавило, за доктором надо.

Но извозчик флегматично ответил:

— Куда я тебя, такого белово, повезу? Ты мне весь екипаж спортишь.

Приходилось идти пешком.

Я дошел до Невы, сел на пароходик, переехал на другую сторону и прямо с пароходной пристани отправился на Лоцманский Рынок, где производились общественные работы безработных. Здесь я переоделся: один из товарищей отдал мне свой пиджак и ботинки. Затем, я перебрался к одному

товарищу эстонцу. Покрасил в черный цвет волосы, — и этим окончательно перешел на нелегальное положение [1]).

* * *

«Законспирироваться» в Петербурге в качестве нелегального мне не удалось. Меня узнавали на каждом шагу. К тому же, в газетах появилась заметка о моем побеге из Василеостровской части, — кто то из рабочих с Гагаринского Буяна, на радостях по случаю моего освобождения, побежал по редакциям и просил поместить в хронике эту новость. Я хотел, было, письмом в газеты опровергнуть это сообщение, — арестован, мол, не был и ниоткуда не бежал, — но печатать такое письмо, скрываясь от полиции и не имея легального местожительства, было затруднительно.

Пробился я в Петербурге недели две. Партийная работа в это время замирала, организация все больше разваливалась. Избирательная кампания подходила к концу, но рабочие утратили к ней всякий интерес. Кампания в защиту депутатов втородумцев развивалась туго.

В конце октября я переехал в Териоки. Здесь, в занесенных снегом дачах, жило в то время много нелегальных. Были нелегальные и в соседних селах, — в Куокале, Мустамяках. Я встречался с Лениным, Богдановым, Михаилом Сергеевичем и др. Кроме того, часто заходили ко мне скрывавшиеся в Териоках латыши — лесные братья.

Их было пять человек, все молодые, славные. Но на всех лежала какая то печать обреченности. Всегда при оружии, напряженные, готовые дать отпор преследователям, внутренне примирившиеся с мыслью о неизбежности и близости кровавой развязки.

Со мной они говорили, чаще всего, о том, что партия не может обойтись без боевиков, что Лондонский с'езд на-

[1]) Из товарищей, арестованных со мной 15-го октября, некоторые были в вскоре освобождены, а остальные были высланы на 2 г. в Архангельскую губ.

прасно отказался от дружин, что нужно поднять в партийной печати кампанию за пересмотр этого решения. Рассказывали о жизни лесных братьев в Латвии. А дома с утра до ночи либо возились с оружием, либо играли в дурачки, либо читали брошюрки о Шерлоке Холмсе и Нате Пинкертоне.

Я ходил с ними в лес за полотно железной дороги, и там они учили меня стрелять в цель.

От русской полиции мы были недурно ограждены, так как финны сочувствовали революционерам и покрывали их. Особенно ревностно помогал нам один полицейский надзиратель, финляндский патриот-активист, содержавший гостиницу и кофейню на большой дороге, недалеко от вокзала.

Это был любопытный тип. Его гостиница была местом пристанища русских революционеров, а за гостиницей, в глубине двора, была изба, где собирались финны-контрабандисты, возившие в Петербург шведские спички, пунш, серебро. Хозяина гостиницы, помнится, звали Кок, но возможно, что это было не настоящее его имя, а кличка, данная ему в честь знаменитого в Финляндии капитана Кока, начальника рабочей «красной армии».

Главным образом, через Кока мы и узнавали о приближении опасности. Тогда мы оставляли наши квартиры и переходили в более конспиративные «убежища». Я при тревоге перебирался к одному местному рыбаку социал-демократу, не понимавшему ни слова по-русски.

Шпики появлялись в Териоках довольно часто, но без результатов. Один раз они совершили нашествие со значительными силами. При их приезде Кок оказался случайно на вокзале. Он обратился к начальнику экспедиции и в повышенном тоне заявил ему, что русским чиновникам нечего делать на финляндской территории. Охранники арестовали его. Присутствовавшие финляндцы запротестовали. Начался скандал. Охранники оказались в нелепом положении: они приехали ловить русских революционеров, а столкнулись с местной полицией. Кока выпустили. Он обратился к стоявшим у вокзала извозчикам-финнам и предложил им не брать седоками приехавших русских чиновников. Охранникам пришлось идти пешком, а между тем извозчики уже разнесли по селу весть о том, что произошло на вокзале, и мы разошлись по нашим «убежищам».

Но все же на этот раз шпикам досталась кое-какая добыча. Заведовавший техникой большевистского центра Михаил Сергеевич, уходя из дому, забыл взять с собою пачку конспиративных бумаг. А полиция с вокзала отправилась прямо к нему. Произвели обыск, забрали бумаги, опечатали их и сдали на хранение териокскому «полицейскому комиссару».

Вечером один товарищ сообщил мне эту неприятную новость. Не помню точно, что было в захваченных у Михаила Сергеевича бумагах. Кажется, больше всего тревожили нас находившиеся там паспортные бланки, добытые при вооруженном нападении на какое-то волостное правление.

Когда стемнело, я отправился к Михаилу Сергеевичу. Он был до последней степени расстроен и мрачно молчал. Спросил лишь меня, где боевики-латыши. Я назвал ему адрес, и он побежал к ним.

А утром наши боевики явились к комиссару с револьверами, скомандовали ему «руки вверх», забрали у него взятые накануне при обыске бумаги и удалились с ними...

Эта история внесла некоторое разнообразие в нашу териокскую жизнь.

Целые дни я проводил здесь за письменным столом, — работал над книгой о движении безработных и об общественных работах в Петербурге. К декабрю книга была гото-

ва. Большевистский центр решил при первой возможности издать ее [1]).

В жизни партии за это время произошло крупное событие: 22-го ноября состоялся суд над с.-д. фракцией. Судили депутатов при закрытых дверях. Обвиняемые отказались выступать перед судом, боящимся гласного разбора дела. Ушли с суда и защитники.

10 ч. депутатов были приговорены к ссылке на поселение, 17 ч. — к каторге; к каторге были присуждены также все члены военной организации, судившиеся вместе с депутатіами.

В день суда в Петербурге была частичная забастовка протеста. Бастовало до 100 тысяч рабочих. Помнится, бастовал и Путиловский завод.

У нас много спорили о том, правильно ли поступили депутаты, добровольно отдавшись в руки полиции, или они должны после разгона Думы скрыться.

Я находил образ действий депутатов правильным и единственно достойным. Ленин видел в нем бесплодное донкихотство.

Своеобразную позицию занял Алексинский: он предоставил партийной организации решить, должен ли он явиться на суд, или нет. Организация решила, что являться на суд ему не следует. Тогда он заявил, что подчиняется этому решению, хотя и сожалеет о том, что партия не позволила ему разделить участь арестованных товарищей... В искренность этого его сожаления мало кто верил.

* * *

[1]) Печатать ее предлагалось в книгоиздательстве Глаголева, но дело расстроилось, так как издательство подверглось полицейскому разгрому. Надеюсь, что мне удастся еще воспользоваться материалами, которые я собрал в этой книге, и которые не потеряли до сих пор интереса.

По мере того, как приближалась к концу моя работа о Совете Безработных, все острее становился передо мной вопрос о том, что делать дальше.

Ленин уговаривал меня ехать за границу, в Швейцарию, куда собирался перебраться и сам. Он расчитывал на меня для работы в «Пролетарии».

Меня это предложение не привлекало.

Прежде всего, я не чувствовал себя настоящим большевиком.

Большевизм увлекал меня своей прямолинейной революционностью, своей простотой, своей близостью к стихийным движениям рабочих масс. Меня связывал с этим движением его дух бунтарства, отвечавший моим настроениям и уровню моего развития в то время.

Но мне была чужда сектантская нетерпимость большевизма; я не сочувствовал его приемам борьбы внутри партии и партию ставил выше фракции. На этой почве мне приходилось не раз оставаться при «особом мнении» среди товарищей. И я чувствовал, что, отдавшись чисто фракционной, заграничной работе, я либо должен буду отказаться от своего «я», либо окажусь посторонним в тесно спевшемся, дружном кружке Ленина.

Но еще серьезнее были для меня моральные возражения против от'езда за границу.

Больше двух лет я был агитатором, — звал в партию, звал к борьбе, к стачкам, к восстанию. Теперь из тех, что слушали меня, иные пошли в ссылку, другие сидят в тюрьме, — и я в это время уеду за границу?

В частности, меня останавливала история с солдатским наказом: я не видел оснований упрекать себя за свою роль в этом деле, но считал, что я не вправе уклоняться от той судьбы, которую так мужественно встретили наши депутаты.

Поэтому, я сказал Ленину, что за границу не поеду, но готов принять любое поручение внутри России.

Надежда Константиновна предложила мне на выбор: Баку или Екатеринослав.

В Баку должен был ехать меньшевик С. Л. Вайнштейн. На меня возлагалась задача парализовать его влияние, расстраивать его козни и укреплять на нефтяных промыслах большевистское влияние.

В Екатеринославе предстояло поставить нелегальную газету, а затем связаться с Ростовом, Донецким бассейном, Одессой, Киевом, созвать конференцию и восстановить областную южно-русскую организацию. Задание явно превышало силы одного человека. Но центр обещал направить в Екатеринослав еще нескольких работников.

Я принял предложение ехать в Екатеринослав. Помню: принял его без большого энтузиазма, без уверенности в том, что мне удастся выполнить намеченный план. Решил ехать в Екатеринослав потому, что от'езд за границу считал недопустимым, а в Петербурге работать не мог, — значит, куда нибудь надо было ехать.

* * *

Из организации мне выдали паспорт на имя крестьянина Новгородской губернии Андрея Александрова.

Но меня предупредили, чтобы я не ездил через Белоостров: местным жандармам дана моя карточка, и я значусь в списке лиц, подлежащих аресту. Обратился за советом к Коку. Он предложил мне проехать в Петербург с контрабандистами по льду Финского залива, и свел меня с рослым флегматичным чухонцем, который подрядился, за двадцать пять целковых, доставить меня до Колпина. В случае встречи с пограничниками, я должен был изображать финляндца, ни слова не понимающего по-русски, и предоставить все переговоры вознице.

Кок и документ соответствующий вручил мне: я значился по нем Николаем Миколайненом, 33-х лет от роду.

В графе профессии было помечено: «а ф е р и с т», с пояснением в скобках: «раз'ездной торговец». Когда я заметил, что обозначение профессии мне не нравится, Кок показал мне пачку пропусков на различные имена: профессия всех была одна и та же — «а ф е р и с т ы».

На другой день вечером мы двинулись в путь. Сперва ехали большой дорогой, потом свернули на лед. Была безлунная, звездная декабрьская ночь. В одном месте нам попался конный дозор. Мой возница что-то об'яснял дозорным. Я делал вид, будто сплю, убаюканный дорогой. Будить меня дозорные постеснялись.

В Колпино я сел в поезд на Москву, и оттуда поехал дальше на Юг, в Екатеринослав . . .

* * *

В этом месте, на грани, отделяющей мою работу в Петербурге от дальнейших встреч и скитаний, я хотел бы прервать на несколько минут нить моего рассказа.

Как непохожа была русская жизнь конца 1907-го года, когда я покидал Петербург, на то, что застал я на воле, выйдя из «Крестов» в январе 1906 г.!

Тогда, — после декабрьских поражений, — все были еще полны кипения, надежд, ожиданий. Повсюду тлели искры революционного пожара. Шли споры о 47-ом или 49-ом годе. Рабочие, крестьяне, городская буржуазия, — каждый класс по-своему верил в близость обновления русской жизни.

Теперь — все задавлено железной пятой реакции.

Где были те битвы, которые дали победу нашим врагам?

Или не было таких битв, и революция изошла кровью от ран, полученных ею в декабрьские дни, от ран, серьезность которых мы не почувствовали в первый миг, в возбуждении боя?

Три процесса характерны для описываемого периода.

Первый процесс — в крестьянстве.

Крестьянство не участвовало активно в революции 1905 года. Но в то время, когда в городах шла борьба за волю, крестьянство смутно шевелилось, тянулось к земле, — и это родило иллюзию, что начавшаяся революция должна стать всенародной и увенчаться победой.

Движение крестьян к земле чувствовалось еще в 1906 году. Но вскоре оно затихло, — как замирают мало по малу взмахи маятника, как замирает после удара струна, как утихают волны после бури. В то время никто не мог сказать наверное, что кроется под наступившим в деревне успокоением: удовлетворилось ли крестьянство подачками столыпинских законов, или, встретив отпор со стороны помещичьего класса, оно затаило в душе обиду, и боль, и жажду мести? Ответ на этот вопрос принесли лишь 1917—1918 г. г.

Второй знаменательный процесс совершался в это время в либеральных кругах городской и поместной буржуазии.

Это был уход либерализма от борьбы с самодержавием.

Требование Учредительного Собрания в начале октябрьской забастовки[1]), колебания между монархией и республикой в ноябре, приятие монархии в декабре, активная защита монархического принципа в первой Государственной Думе. И в рамках монархизма еще другой путь отступления: в первой Думе — требование ответственного министерства; после разгона Думы, в Выборге, — мимолетная готовность бороться за это требование; затем, отказ от борьбы, а во второй Думе — прямое противодействие этому требованию во имя лозунга «берегите народное представительство».

Каковы бы ни были причины, об'яснения, оправдания этого процесса, — направление его бесспорно.

И на фоне его протекал тот третий процесс, который мне пришлось наблюдать всего ближе, и о котором чаще всего мне приходилось говорить на предыдущих страницах, — я имею в виду все большее изолирование рабочего движения и рабочего класса.

В ноябре 1905 года впервые дохнуло на рабочих холодом одиночества. Но это не было еще полное одиночество. Была еще надежда на «братьев-крестьян». Да и другие классы еще не отвернулись окончательно от пролетариата, еще не протянули руки его политическим врагам. А в июле 1906 года рабочие оказались одни, совершенно одни, на фронте, который должен был быть фронтом общенациональным. Это положение сохранилось в период междудумья, и во второй Думе. Переворот 3-го июня и созданная им система куриального представительства рабочих лишь закрепили эту изолированность пролетариата.

Та безнадежность, которая чувствовалась в настроениях рабочих кварталов, была отражением в сознании рабочих этого об'ективного факта.

И в свете его особое значение приобретает тот спор, который кипел в эти годы в нашей партии между большевиками и меньшевиками. Для массы, воспринимающей все вопросы в упрощенном виде, спор этот сводился к разногласию: с кадетами, или без кадетов?

Были ненужные, бессмысленные эксцессы в этом споре. Была демагогия, были нехорошие приемы борьбы, — и я достаточно говорил о них на предыдущих страницах. Но нужна была безграничная тупость обывателя, чтобы не усмотреть за этим спором ничего, кроме сектантской борьбы сторонников двухперстного и трехперстного крестного знамения. Здесь боролись две политических тактики, две концепции, в которых, быть может, воплотилась вся научно-революционная мысль России. Здесь сталкивались два способа решения того вопроса, к которому вплотную подошло историческое развитие России на грани 19 и 20 столетия.

Спор шел о силах, которые должны ликвидировать дворянски-сословный строй, воплощенный в царском самодержавии.

[1]) На учредительном с'езде конституционно-демократической партии.

Меньшевизм, считая основной задачей социал-демократии в Российской революции сплочение пролетариата в самостоятельную политическую силу, вместе с тем стремился к тому, чтобы заставить либералов участвовать в революции. В основе этого стремления лежало сознание, что это — наиболее выгодный для демократии, и, в частности, для пролетариата, способ решения исторической задачи.

Большевизм, напротив, отметал либералов с пути революции. Эта тактика обосновывалась тем, что либералы не хотят революционной борьбы с царизмом и не примут ее.

И по мере того, как правел русский либерализм, влияние меньшевиков на рабочие массы падало, а влияние большевиков относительно возрастало.

В Совете Рабочих Депутатов 1905 г. меньшевики играли руководящую роль, а большевики составляли маловлиятельное меньшинство. В начале 1906 г. силы обоих течений в Петербурге были, приблизительно, равны. В период междудумья обозначился перевес большевизма; во время второй Думы господство большевиков стало бесспорным, меньшевизм начал сходить со сцены.

Большевики всегда противополагали себя меньшевикам, как левое, революционное крыло социал-демократии, — правому, оппортунистическому крылу. Но не странно ли: в момент высшего революционного под'ема в организации господствуют «правые» элементы, а по мере упрочения реакции берут верх «левые»!

Когда я восстановляю в памяти путь, пройденный рабочим движением в Петербурге за 1906—1907 г. г., мне ясно, что не в «революционности» была сила большевиков, и не в «оппортунизме» коренилась причина падения меньшевизма.

За большевизмом была стихия. Тот путь движения, на который ориентировалась меньшевистская тактика, оказался закрыт отказом либерализма от борьбы с самодержавием. Пролетариату, трагически изолированному «изменой» либералов, представлялся открытым лишь один путь, — тот, на который его звали большевики.

Меньшевики часто обвиняли большевиков за стремление изолировать рабочее движение.

Этот упрек справедлив лишь отчасти. Большевики не были первопричиной одиночества пролетариата, но это одиночество они принимали, как исходную точку, на нем строили свою тактику, этой тактикой углубляли его, и, эксплуатируя это одиночество, одерживали победу над меньшевиками...

Силы царистской реакции, пытающиеся железом и кровью сковать развитие страны и повернуть вспять колесо истории.

Крестьянство, в молчании ждущее судного дня.

Буржуазия, ослепленная первыми молниями революции, оглушенная ее громом и отказывающаяся от участия в исторически неизбежной борьбе.

Пролетариат, оставшийся одиноким на своем посту.

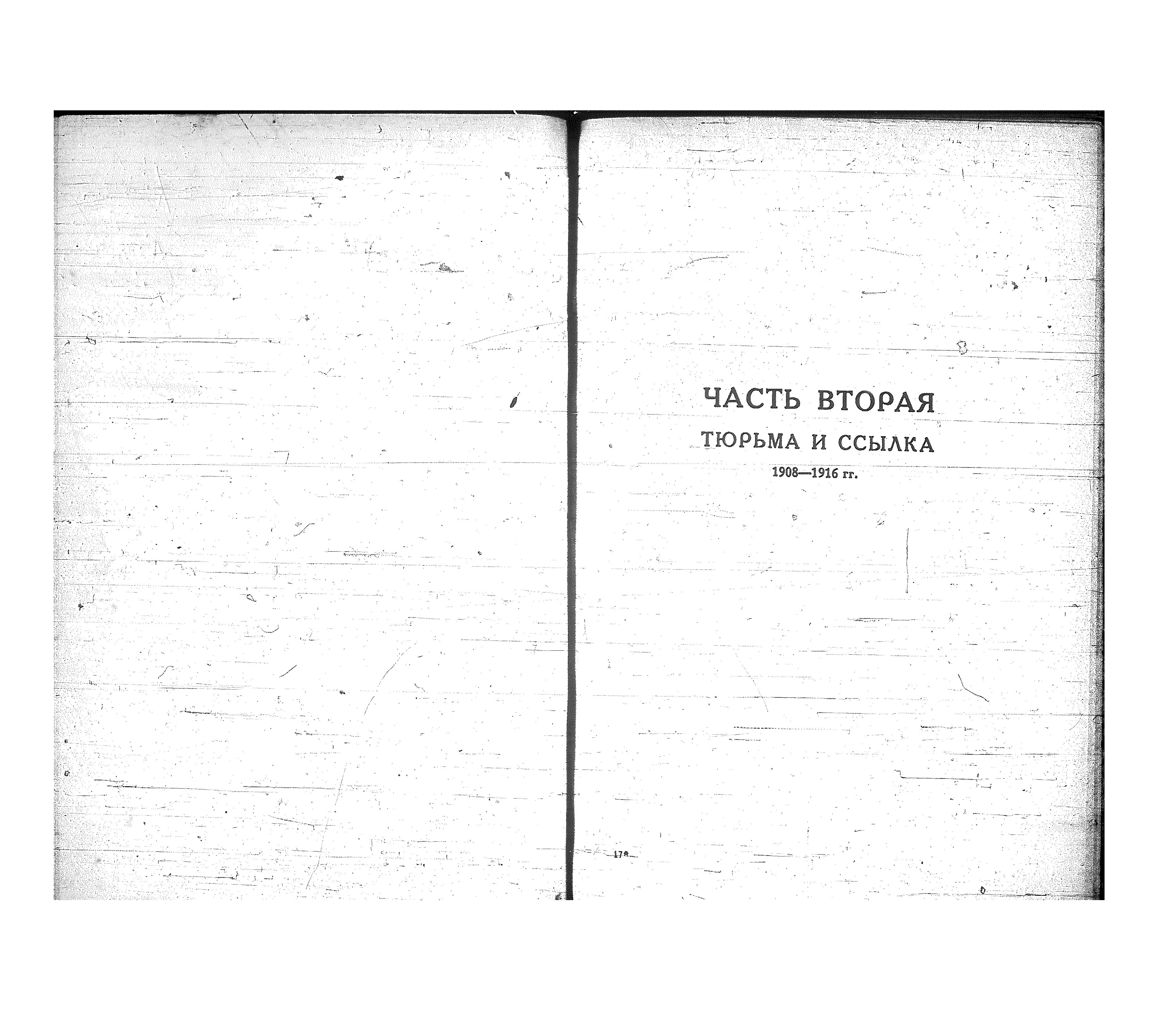
Меньшевизм, безуспешно пытающийся вывести его из этого одиночества.

Большевизм, борющийся против этих попыток, как против «соглашательства» с врагами пролетариата...

Такова была, в самых общих чертах, картина 1906—1907 г. г.

* * *

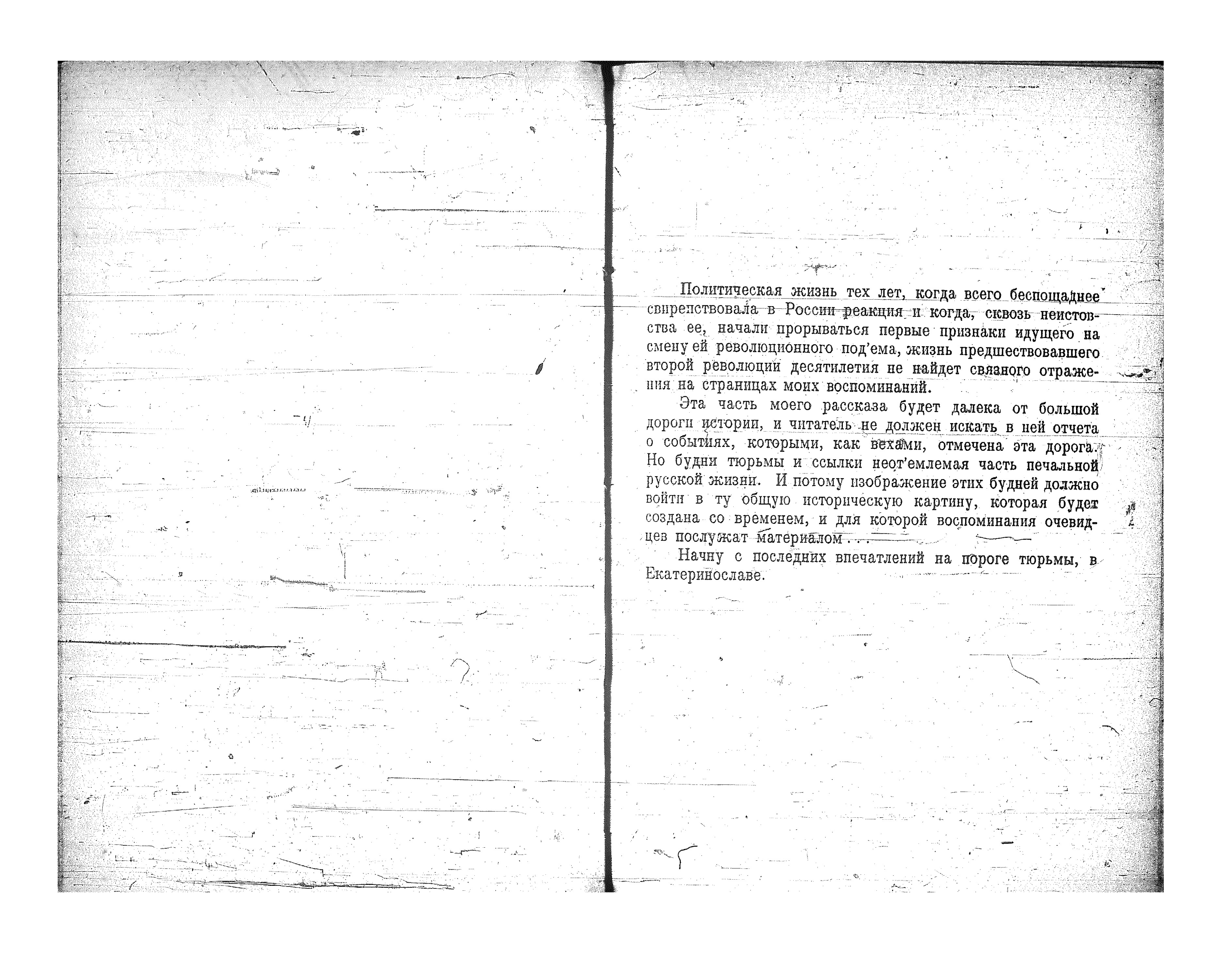
Этой картине суждено было воскреснуть много лет спустя.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ТЮРЬМА И ССЫЛКА

1908—1916 гг.



Политическая жизнь тех лет, когда всего беспощаднее свирепствовала в России реакция и когда, сквозь неистовства ее, начали прорываться первые признаки идущего на смену ей революционного под'ема, жизнь предшествовавшего второй революции десятилетия не найдет связаного отражения на страницах моих воспоминаний.

Эта часть моего рассказа будет далека от большой дороги истории, и читатель не должен искать в ней отчета о событиях, которыми, как вехами, отмечена эта дорога. Но будни тюрьмы и ссылки неот'емлемая часть печальной русской жизни. И потому изображение этих будней должно войти в ту общую историческую картину, которая будет создана со временем, и для которой воспоминания очевидцев послужат материалом...

Начну с последних впечатлений на пороге тюрьмы, в Екатеринославе.

VI. В ЕКАТЕРИНОСЛАВЕ.

Партийная работа. — «Южный Рабочий». — Провокация. — В полицейской части. — В губернской тюрьме. — «Обструкция». — Подготовка побега. — В тифозном бараке. — С анархистами. — Смертники. — Взрыв. — Тюремные избиения. — Борьба. — «Горловское дело». — «Дело 103-х». — Тиф. — Суд и приговор. — Предательство. — Поездка в Новгород. — Возвращение. — Плотники.

В Екатеринославе мне пришлось проработать недолго.

Повидимому, очень рано, — может быть, в первые же дни после моего приезда, — жандармы заметили меня. И в этом не было ничего удивительного, так как не имея опыта подпольной работы, я на каждом шагу допускал грубые промахи против требований конспирации.

Прежде всего, паспорт, полученный мною из большевистского центра, оказался непригоден для Екатеринослава: это был крестьянский паспорт на имя Александрова, — между тем на Юге во мне сразу узнавали еврея. Несоответствие наружности с документом бросалось в глаза.

В меблированных комнатах, куда я заехал с вокзала, хозяин заговорил со мной на жаргоне. А когда вместо ответа я протянул ему свой паспорт, он вздохнул сочувственно и сказал:

— Ну - ну - ну, Андрей Александров, так Андрей Александров. Мне какое дело? Я не пристав. Трудно жить евреям.

Другая неудача постигла меня с изменением наружности. После побега из Василеостровской части я покрасил себе волосы в черный цвет. Краска была хорошая. Но

когда волосы подросли, моя шевелюра приняла вид котикового меха, — сверху черного, снизу рыжего цвета. Возиться с краской мне показалось хлопотно, и я решил остричься: дал парикмахеру снять верхнюю часть волос, и из брюнета превратился в шатена... к большому изумлению моего квартирного хозяина, честного но чрезмерно любопытного портного. К тому же, и превращение оказалось неполным: волосы шли пятнами, было с первого взгляда видно, что над ними производились какие то подозрительные опыты.

В этом виде носился я по Екатеринославу, разыскивая остатки партийной организации.

Вплоть до 1907 года с.-д. работа, несмотря на постоянные провалы, велась здесь довольно широко. Но летом этого года организация была окончательно разрушена массовыми арестами, и от нее остались лишь жалкие обломки.

Уцелела каким то чудом партийная типография. Она стояла без работы; двое товарищей жили при ней, голодая и изнывая от безделья, но не решаясь покинуть ее на произвол судьбы.

Уцелела «финансовая комиссия» в лице одной молодой учительницы, имевшей большие знакомства среди местной интеллигенции и выбивавшейся из сил, добывая деньги для арестованных товарищей и для типографии.

Уцелел «секретариат» в лице высланной из Москвы и перешедшей на нелегальное положение большевички М. Покровской.

И это было все. Дальше шли одиночки, бывшие партийные люди, отошедшие от работы.

У меня была к Мише Беку. Совершенно зеленый юноша, — чуть ли не гимназист, — большой говорун, фантазер, хлопотун, он имел кое какие знакомства с рабочими и с представителями радикальной интеллигенции.

Через Бека я познакомился с д-ром Винокуровым [1]), старым социал-демократом, пользовавшимся в Екатеринославе большим весом. Условия партийной работы в городе Винокуров считал почти безнадежными: рабочие устали, интеллигенция отвернулась от революции, город насыщен провокацией. Впрочем, против необходимости сделать попытку восстановления организации Винокуров не возражал. К моим планам он отнесся сочувственно, хотя от личного участия в работе уклонился, — кажется, по мотивам семейного характера.

[1]) Народный комиссар при советской власти.

Стал я знакомиться с местными рабочими, прежде входившими в организацию.

Среди них выделялся рослый грузчик с мельницы. У него было чисто русское лицо и чисто еврейское имя, — Исаак. Он считал себя членом партийной «боевой дружины», в которую, кроме него, входил еще один рабочий с фабрики Шла. Познакомился и с этим рабочим, — оба парня, как святыню, хранили свои революверы, полученные от комитета в 1905 году.

Был еще рабочий слесарь, Арсений, большелобый, усатый, плохо разбиравшийся в политических вопросах, но настойчиво повторявший:

— Надо арганизацию арганизовать!

Был портной Яков, бундовец, пробывший три года в Америке, умный и начитанный, но обессиленный болезнью. Его квартира была местом своеобразного паломничества: у Якова была дочка, 2-х лет от роду, — мне никогда не приходилось видеть более прелестного ребенка. Известный екатеринославский врач и общественный деятель Караваев (бывший член 2-ой Думы, впоследствии убитый черносотенцами) каждую неделю заходил к Якову полюбоваться на эту крошку, которую считал идеалом детской красоты и здоровья. Забегали поиграть с девочкой и товарищи.

Среди них было человека три или четыре приказчиков-бундовцев и несколько мелких ремесленников, сочувственно качавших головами при разговорах о партии.

Наконец, среди студентов местного горного училища и в старших классах средних учебных заведений оказалось

довольно много ребят, выражавших желание заняться партийной пропагандой. Они кое что читали, недурно знали программу, и некоторых из них можно было приспособить для занятий с рабочими кружками.

А потребность в пропагандистских кружках чувствовалась большая. Все, с кем ни заговаривал я, в один голос уверяли, что местные рабочие с величайшей охотой пойдут в кружки. На этом сходились и ремесленники, которых я встречал у Якова, и приказчики, и фабрично-заводские рабочие, с которыми меня свели Исаак и Арсений.

Эта тяга к пропагандистским занятиям казалась мне хорошим предзнаменованием, особенно, после Петербурга, где уже в 1906—1907 г. пропаганда пришла в полный упадок.

Намечался план: восстановить организацию на основе пропагандистских кружков, а одновременно приступить к изданию газеты.

Но тут начинались трудности: местная партийная интеллигенция — за исключением Винокурова и Миши Бека — тяготела к меньшевизму, а в типографии сидели большевики, заявлявшие, что меньшевистских статей они набирать не будут; Яков и окружавшие его ремесленники терпеть не могли большевиков, а Арсений и Исаак, наоборот, не хотели слышать о меньшевиках. Первой своей задачей я поставил примирить оба течения.

После некоторых усилий это удалось. Пустили в ход с полдюжины кружков, приступили к организации новых ячеек, выбрали смешанную редакцию для газеты, которой решили дать название «Южный Рабочий».

Работа шла дружно, ячейки собирались регулярно. Но чего-то не хватало: не было пафоса борьбы, не было под'ема; казалось, что колеса партийного аппарата вертятся на холостой ход. Я надеялся, что это изменится со временем, когда организация окрепнет и разовьется.

В перспективе было расширение связей с губернией и с Донецким бассейном, установление сношений с Одессой

и Киевом. Предполагали немедленно после выхода «Южного Рабочего» приступить к подготовке губернской конференции.

* * *

На собрании редакции составили план первого номера и распределили темы. Когда собрались вновь для читки, оказалось, что я принес порученные мне статьи, — о платформе газеты и об очередных задачах партии, — а остальные статьи еще не написаны. Моими статьями и меньшевики и большевики остались довольны и предложили передать мне еще две темы. Таким образом, мне пришлось заполнить чуть ли не весь №.

Дня через три после сдачи рукописей в типографию, на нашей явке, у Покровской, я застал незнакомого мне худенького мальчика, который передал мне корректурный оттиск первой полосы «Южного Рабочего».

Сев за стол, я принялся чиркать коректуру, исправляя ошибки.

Мальчик спросил с выражением гордости:

— Хорошая работа?

Не отрываясь от коректуры, я заметил:

— Ошибок много.

И вдруг, подняв глаза, я заметил, что мальчик покраснел, виновато улыбнулся, и из глаз его побежали слезы. Я смутился не меньше его и спросил:

— Это ваша работа?

— Моя... Но я ночью набирал... Освещение плохое... Я еще не проверял сам...

— Значит, это первая коректура? Я думал, это третья коректура. Для первого раза это очень хорошо!

— Вам нравится? переспросил мальчик.

— Очень!

Мир был восстановлен. У нашего наборщика было бледное, почти прозрачное лицо, освещенное огромными,

грустно-ласковыми глазами. Я спросил его, давно ли он работает в технике и сколько ему лет. Оказалось, что ему идет 17-й год, а работает он в партийной типографии с 15-летнего возраста.

Когда он ушел, Покровская сообщила мне, что Миша — так звали молодого наборщика — тяжело болен: у него туберкулез легких, кровохаркание, а кроме того в острой форме порок сердца.

Товарищи давно уже уговаривали его бросить работу в типографии, но он не соглашался покинуть свой пост.

Я возмутился:

— Недопустимо держать в типографии детей, а особенно — больного ребенка!

И я потребовал, чтобы Миша был устранен от работы в технике и помещен в санаторию.

Но через неделю я снова застал на явке юного наборщика. Он пришел об'ясняться, защищать свое право работать в партии так, как он того хочет.

— Другие не могут решать за меня, волновался он: Мне обидно, что вы смотрите на меня, как на несовершеннолетнего.

Сговорились на том, что он получит трехмесячный «отпуск» для поправления здоровья, после чего снова примется за работу, — а за это время ему как раз исполнится 17 лет.

У меня щемило сердце, когда я прощался с Мишей, дав согласие на его возвращение в технику. А дня через два после этого наша типография «провалилась». Были арестованы Алексеева, игравшая роль хозяйки квартиры, и Миша (Мухаревер). В руки полиции попал почти законченный набор первого номера «Южного Рабочего» и все оригиналы статей.

Немедленно принялись восстановлять технику.

При наших связях с типографскими рабочими, добыть несколько пудов шрифту было не трудно. Печатный станок, вал и прочие принадлежности оказались в запасе. Задержка была за людьми и за квартирой.

В это время приехал в Екатеринослав наборщик Хилькевич, которого товарищи еще до провала типографии выписали из Вильны, чтобы заменить Мишу.

Хилькевич казался человеком вялым, слабовольным. Я спросил его:

— Вам не будет слишком трудно в подпольной технике?

— Я же привык...

— Вы знаете, что возможен арест, суд?

— А всюду же могут забрать...

С Хилькевичем приехала его жена, молодая женщина с грудным ребенком. Она решила сесть в технику вместе с мужем. Сильно не нравилась мне эта комбинация. Но товарищи находили, что это хорошо для конспирации. И сама мать на невозможном русском языке об'ясняла, указывая на младенца:

— Кто на нас будет подумать, когда она такой маленький?

Подыскали квартиру для типографии, и Хилькевичи поселились в ней. Перевезли туда станок и шрифт.

Я снова написал целую кучу статей для первого №. Но только успел Хилькевич разобрать шрифт по кассам, как нагрянула полиция, — арестовали его с женой и ребенком, захватили и принадлежности печатания, и рукописи.

Этот провал произвел на нас еще более тягостное впечатление, чем арест первой типографии.

Тогда полиция могла случайно напасть на след техники. Теперь не могло быть сомнений в том, что полиция следила за каждым нашим шагом и «ликвидировала» типографию, когда того пожелала.

Но мы не хотели сдаваться.

На фабриках и заводах уже несколько недель ждали «Южного Рабочего» и говорили, что социал-демократы скоро выпустят газету, в которой «все будет описано». Я решил сделать попытку отпечатать газету тайком в легаль-

ных типографиях, — на этот счет у меня был некоторый опыт по Петербургу. Бросился к печатникам. Набрать они соглашались что угодно, но печатать отказывались.

— Хорошо! Набирайте, а печатать будем сами, хоть на полу, без станка...

В виде опыта написал листок об аресте типографии «Южного Рабочего».

На другой день получил готовый набор и жестяную коробку с типографской краской. Квартира, которой мы располагали, была настолько не приспособлена для печатания, что наши типографщики помялись, помялись и ушли во-свояси, отказались дальше помогать нам. Принялись за работу Покровская, я и еще двое товарищей, и с грехом пополам оттиснули листков 200 или 300.

Для рабочих этот листок явился показателем мощи партии: никакие, мол, аресты ее не берут!

Но, на самом деле, после провала второй типографии у нас опустились руки:

Мы чувствовали, что организация освещена изнутри провокацией. Создавалось настроение, исключавшее возможность работы. Началось бегство из неокрепшей организации, перестали собираться рабочие кружки, стало безлюдно и пусто на явках.

* * *

Вскоре после выхода листка пришел ко мне Исаак.

— Я, товарищ, хочу вам сказать... У нас с 1905 г. провокатор сидит.

— Вы знаете, кто?, спросил я его.

— Может, и не знаю, а только сидит. Его товарищ тогда же его выдал, только имени не сказал.

И Исаак рассказал мне, что в октябрьские дни 1905 г. товарищи заподозрили в предательстве одного партийного работника, — не помню его клички. Это был талантливый

и энергичный человек, пользовавшийся большим влиянием среди рабочих. Назначили комиссию для расследования дела. Подозрения подтвердились. Было установлено, что заподозренный по вечерам бывает в Жандармском Управлении. Тогда созвали партийное собрание за городом, в лесу. Пригласили туда и предателя. На собрании поставили ему ребром вопрос:

— Зачем ходите вы в Жандармское?

После долгих запирательств предатель признался:

— Я служу. Но зла я никому не делаю, я жандармов обманываю.

Его тут же судили и приговорили к расстрелу. Собрание разошлось. Остались с предателем лишь два боевика, чтобы привести в исполнение приговор. Провокатор сперва молил о пощаде, затем вдруг сказал:

— Чорт с вами! Убивайте! Да только знайте, что есть среди вас другой человек, поважнее меня, — через него жандармы все знают. А кто он, не скажу.

Предателя застрелили. Никаких арестов в связи с этим делом не было. Но предсмертные слова провокатора странным образом оправдались: с тех пор аресты в Екатеринославе не прекращались, и все нелегальные, приезжавшие в город, неизменно проваливались. В организации или около нее, несомненно, гнездилось предательство...

Исаак говорил с видимым волнением. Я догадался, что он был одним из тех боевиков, которые привели в исполнение приговор над предателем.

— Вы подозреваете кого нибудь? спросил я его.

— Может быть... Только вы, товарищ, скажите, что с ним делать. Убить его можно?

Я спросил настойчивее:

— Кого вы подозреваете?

Исаак назвал Мирона, которого я хорошо знал. У него была небольшая писчебумажная и книжная торговля на Чечелевке, — в самом начале рабочего поселка. Этой лавочкой мы пользовались для явок. Сам Мирон произво-

дил впечатление хорошего, идейного человека с уклоном в сторону просветительной работы, — с культурнической точки зрения смотрел он и на свою торговлю: распространение среди рабочих популярных книжек по естествознанию интересовало его больше, чем партийные кружки и листки.

Непохоже на провокатора! Я запросил у Исаака обвинительный материал.

Оказалось, что в основе обвинения лежит письмо из тюрьмы: один из арестованных осенью товарищей прямо пишет, что его выдал Мирон. За этим следовал ряд косвенных улик. Из них запомнились мне две: Мирон часто бывает в полиции, и лавочка его существует только для виду, так как никто в ней ничего не покупает.

— Этого недостаточно, чтобы обвинять человека! сказал я, выслушав Исаака.

Но он упрямо возразил, не глядя на меня:

— А мы решили Мирона убить.

— Кто это «мы»?

— Рабочие, боевая дружина. И его жену убьем, — что он знает, то и его жена знает.

— Вы с ума сошли! Разве подобные дела так решаются?

— А как же их решать?

Я потребовал передачи дела в комитет. Но к моему изумлению, и в комитете рабочие высказались за немедленную расправу. Насилу согласились поручить комиссии из трех человек допросить Мирона. Но при этом заранее постановили: если обвинение подтвердится, Мирон должен быть немедленно убит. Предложили мне войти в комиссию. Пришлось войти, — это был единственный шанс предупредить трагическую ошибку.

Выбрали место, где комиссия должна была встретиться с Мироном, — на окраине города, над Днепром, в пустынном, деревянном домике. Здесь можно было привести в исполнение приговор, — никто не услышал бы выстрела . . .

Я приехал туда с Исааком. Другие два члена комиссии и «боевик» с фабрики Шла уже ждали нас. Минут через пять появился Мирон, — его вызвали запиской о «срочном и важном деле».

В комнате было темно, еле мерцала в углу заплывшая свеча. Мирон поздоровался со мной и спросил:

— Почему это вы в такую глушь забрались? Можно было бы у меня . . .

И вдруг заметив угрожающие фигуры «боевиков», он догадался, по какому «срочному и важному делу» вызвали его. Бледный, дрожащий, он смотрел поочередно на каждого из нас. Наконец, произнес, обращаясь ко мне:

— Об'ясните, что это значит.

Я сказал ему, что на него пало тяжкое подозрение, которое обязывает нас попросить у него об'яснений.

— Кто меня обвиняет? спросил он.

И сразу сам же ответил:

— Знаю! Это идет из тюрьмы?

— Да!

— В таком случае, это —

и он назвал товарища, на которого ссылался Исаак. Мы переглянулись. Я подвердил его догадку.

Мирон сказал:

— Это месть низкого человека. Но, вероятно, кроме этого показания, у вас есть еще что нибудь? Спрашивайте!

Я приступил к допросу. На все вопросы Мирон давал исчерпывающие ответы.

Обвинение рассыпалось, как дым. По требованию Мирона, мы проехали к нему в лавочку, познакомились с его счетоводством. Заключение комиссии было единогласное: тов. Мирон сделался жертвой клеветы.

Мое самочувствие во время «допроса» было отвратительное. Но было сознание, что этим путем удалось предотвратить ужасное дело.

На другой день я принес Мирону скрепленное печатью комитета постановление, в энергичных выражениях реабилитировавшее его от всех подозрений.

А полтора года спустя, в тюрьме, где на моих глазах угасала жизнь бедного Миши Мухаревера, я узнал, что в организации, действительно, был провокатор, работавший бессменно с 1905 года, — это был лобастый, усатый рабочий Арсений, неустанно повторявший затверженный в Жандармском Управлении урок:

— Надо арганизацию арганизовать.

* * *

В середине января полиция явилась с обыском на квартиру, где хранился наш архив. Забрали протоколы, письма, денежную отчетность, печать комитета, листки. Арестовали хозяина квартиры студента Александровича, стоявшего вне партии, но помогавшего нам.

А вскоре после этого, глубокой ночью, я был разбужен криком:

— Ни с места! Руки вверх!

После обыска отвезли меня в 4-ую полицейскую часть, о которой мне уже приходилось слышать: о ней много говорили в городе, — здесь приводились в исполнение смертные приговоры, здесь помещалась губернская виселица.

Когда меня вели через двор к низенькому одноэтажному строению с подслеповатыми, забранными решетками оконцами, я внимательно смотрел по сторонам, — искал глазами виселицу. Но ничто в запущенном, грязном дворе не напоминало о казнях.

Арестантское помещение состояло из двух «общих» камер, двух «секреток» и двух комнатушек для жилья. В «общих» содержались арестованные до отправки в тюрьму. «Секретки» предназначались для приводимых из тюрьмы «смертников». В одной из «жилых» комнат помещался надзиратель, требовавший от арестантов, чтобы его звали «дедушкой», а сам обращавшийся к заключенным не иначе, как со словами: «Эй ты, подлюга». Во второй комнатушке жил палач.

Камера, в которой я очутился, была расчитана на 10—12 человек, но помещалось в ней человек 40.

Кого только не было здесь! Профессиональные воры, оборванцы, подобранные на улице в пьяном виде, лавочник, повздоривший с околоточным, и тут же компания молодых людей, арестованных на экспроприации.

Теснота, духота, невероятная грязь, паразиты, шум, ругань...

Но всего хуже была близость смертницких секреток. Когда меня привели в часть, они пустовали: последние смертники были повешены за несколько дней до моего ареста. И новых смертников из тюрьмы не ожидалось, — с осужденными последней сессией военно-окружного суда было покончено.

Но все было полно памятью недавних казней. Заключенные то и дело возвращались к жутким картинам, вспоминая, как привели смертников, как плакали, молили о пощаде, клялись в своей невинности какие то крестьяне-аграрники, как пел песни перед смертью молодой рабочий анархист... А потом, судебные чиновники на коридоре, священник, солдаты... Выводят по одиночке на двор. В глубине его, за арестантским помещением, старый бревенчатый сарай с покосившимися стенами, с широкими воротами посередине... Здесь вешают на поперечной балке под стропилами...

Палач жил тут же рядом, за стеной. Высокий, плотный мужчина, с загорелой, жилистой шеей, со светлыми, гладкими волосами. Ходил он согнувшись и всегда отворачивался, проходя мимо заключенных. Лишь случайно я разглядел его лицо: крупные, правильные черты, выражение тупого самодовольства, — только глаза странно бегают по сторонам.

Заметив, что я смотрю на него, он нахмурился, оскалил верхние зубы, втянул голову в плечи...

Тогда смертная казнь не была еще «бытовым явлением» для России. Трудно было заставить себя смотреть без волнения на виселицу и на палача.

Я вздохнул с облегчением, когда после двухнедельного содержания в части, меня перевели в губернскую тюрьму.

* * *

Екатеринославская губернская тюрьма, в которой мне пришлось провести 2½ года, представляла собою удлиненный трехэтажный корпус, с четырьмя круглыми башнями по углам, помещавшийся посреди обширного двора, обнесенного высокой кирпичной стеной. Спереди, со стороны тюремной площади, над воротами тюрьмы — контора и квартира начальника; рядом — цейхгауз и баня. Вдоль противоположной стены — низенький одноэтажный флигель с одиночками — «заднее строение».

Тюрьма была расчитана на 400—450 заключенных. Но в ней помещалось не меньше 1000 чел., а порой число арестантов доходило и до 2000 ч.

Заключенные делились на три категории: политические, уголовные и уголовно-политические. От последней группы — порождения смутных послереволюционных лет — ложилась на тюрьму зловещая тень.

Среди уголовно-политических можно было проследить все оттенки от революционного подвижничества до грубой уголовщины. Общее у них было лишь одно: 279 статья Свода Военных Постановлений и в будущем — виселица. Привлекались они по всевозможным делам, входившим в газетную хронику «анархии». В 1906—1907 г. г. мы рассматривали эти дела, как «партизанские боевые действия», и видели в них залог предстоящего революционного под'ема. Но только теперь, в екатеринославской тюрьме, мне пришлось столкнуться лицом к лицу с героями этих «партизанских» действий.

Героями?.. Да, в иных из них было что то героическое: презрение к смерти, молодецкая удаль. Но как далеки были они от нашего представления о революции!

В прошлом, почти у всех них были либо партийные кружки, либо революционные митинги. А затем — горькое разочарование. Иногда безработица, иногда избиение в участке. Обида, озлобление. Презрение к партиям, «занимающимся лишь разговорами». Тяжелые мысли: «Все равно, погибать... Хоть месяц поживу... По крайней мере, даром не дамся...»

Из этой школы выходили «люди браунинга», на воле наводившие ужас на полицию, а теперь ожидавшие суда и казни.

Среди них оказался один мой товарищ по петербургскому Совету Рабочих Депутатов, — тот самый, который 3-го декабря при составлении Статковским списка арестованных членов Совета, избрал себе псевдоним «Крамольник». Теперь он сидел в 10-ой камере под фамилией Грибова. Из своей камеры он присылал мне длинные письма, в которых старался об'яснить, почему ушел от партии и стал экспроприатором. Эти письма, сумбурные, путанные, но глубоко искренние, помогли мне понять не только его душу, но и внутренний мир тех, с кем связала его злая судьба.

В огромной 12-ой камере, куда я попал, были почти равномерно представлены социал-демократы, социалисты-революционеры и анархисты.

Среди с.-д. выделялся меньшевик Каффи («Андрей»), итальянец, выросший в России и с 1905 года работавший в петербургском союзе рабочих печатного дела. Богато одаренный от природы, широко и разносторонне образованный, полный внутреннего горения, он производил, при первой же встрече, чарующее впечатление. И это впечатление усиливалось от редкого сочетания в нем бесстрашия с

чисто женственной деликатностью. Но в партии он был чужой — с метущейся мыслью, с невысказанными сомнениями, со смутной тягой к какому то своему социализму, в котором Маркс дополнялся бы Ницше, и исторический материализм сплетался бы с утонченным эстетизмом.

У меня установилась с ним тесная дружба.

Из других с.-д. сидевших в 12-ой камере, помню: старого «романовца» Хацкелевича; студента - естественника Цукерина (Михаила), состоявшего у нас камерным старостой; рабочего Маркова, энтузиаста и фантазера, мечтавшего о том, что при социализме не будет ни городов, ни домов, а все будут жить в автомобилях, раз'езжая по свету и останавливаясь там, где приглянется.

Припоминаю еще: Виктора Паперно, вскоре освобожденного и уехавшего в Америку; рабочего Колесникова, убитого 29-го апреля; приказчика Жедыка, игравшего роль заботливой няньки при Каффи и отчасти при мне; ротного фельдшера Дувина.

Среди эсэров наиболее заметную фигуру представлял рабочий Ветвицкий, серьезный, молчаливый, с манерами, преисполненными достоинства и внутренней силы.

Анархисты вначале держались особняком, отчужденно от социалистов, но позже у нас наладились дружественные отношения с ними. Это была пестрая, разнородная группа, но преобладали в ней анархисты - коммунисты, связанные с заграничным журналом «Буревестник». Наружность одного из них, с первого взгляда, поразила меня: волнистые волосы темно каштанового цвета, бледное, обрамленное бородою лицо, ласковые глаза, — голова Христа. Его партийная кличка была «Павел», арестован он был под именем Абрамчука, и лишь после, перед казнью, открылась его настоящая фамилия Хазанов.

Это был рабочий самоучка и подлинный революционер духа. До 1906 года он работал в партии социалистов - революционеров, затем увлекся идеями Соколова («Медведя»), ушел к максималистам, а от максималистов перешел к анархистам, так как решил, что «анархизм справедливее». Он благоговел перед Львом Толстым, интересовался Штирнером и Себастьяном Фором. А сам жил среди револьверных выстрелов и взрывов, среди террористических актов, экспроприаций, отстрелов, и через убийства и кровь шел к неизбежному концу, к виселице.

Днем в камере было шумно, не было возможности сосредоточиться над книгой. Я читал по ночам, у тусклой лампы. Порой подсаживался к лампе и Павел. Между нами завязывалась беседа. Иногда он расспрашивал меня о государственном строе западно - европейских государств и, слушая, раздумчиво повторял: «Лучше, чем у нас, а плохо. За это бороться и умирать не стоит». Но чаще он рассказывал, а я слушал.

Медленно, останавливаясь, чтобы припомнить, как было дело, рассказывал Хазанов различные эпизоды из своей бурной жизни...

Этот человек с незлобивой и нежной душой был сторонником «безмотивного» террора.

«Лучшие анархисты, говорил он, это Христос и Лев Толстой. Их путь — самый верный. Но если этот путь закрыт, и приходится браться за оружие, то убивай, как молния, а не как палач! Направляй удар не против человека, — ибо человека судить ты не можешь, — а против класса».

Он горячо защищал устроенные в Одессе анархистами террористические акты против буржуазии (в гостинице «Бристоль» и в кафе Либермана).

Слушая его, я думал о безумной, замутившейся в кровавом вихре русской жизни...

Вокруг Хазанова группировались остальные «буревестниковцы»: энергичный и властный Ефрем - Кардаш, считавшийся среди анархистов теоретиком и писателем, позже умерший от чахотки; рабочий Ваня Посух; заводской парнишка — скандалист Маркин и др.

К ним примыкал еще один интересный человек, — матрос - черноморец, уже однажды приговоренный к

смертной казни и бежавший из тюрьмы. Он сидел под именем Леонида Иванова, а кличка его была «Богородица» — слово, которое он поминутно употреблял в разговоре. Он напоминал огромного зверя, засаженного в клетку и мечущегося взад и вперед, пробующего железные прутья и замки, ищущего лазейку, через которую можно было бы вырваться на свободу. Это был боевик, насквозь пропитанный порохом, но в сношениях с товарищами он отличался добродушием и уступчивостью.

Кроме с.-д., с.-р. и анархистов, были в 12-ой камере и беспартийные: сельские учителя, рабочие, арестованные в декабре 1905 года за участие в восстании, солдаты.

Были в камере и люди, не имевшие никакого отношения к политике. Помню встрепанную фигуру в длинном сюртуке, — спившийся подпольный «аблакат». Он уверял, что его посадили в тюрьму сенаторы, так как он раскрыл про них такие дела, что им деваться было некуда: или должны были его арестовать, или сенат распустить и всех сенаторов — на каторгу. Рассказ о своем деле он кончал многозначительно:

— Мир стоит на пороге великих событий.

При мне привели в нашу камеру двух евреев. Один из них, старик с интеллигентным лицом, долго озирался по сторонам, стараясь сообразить, что за люди окружают его. Наш староста подошел к нему с обычным вопросом:

— Вы по политическому делу?

Но старик еще не решил, выгоднее ли ему быть политическим или уголовным, и отвечал уклончиво:

— Немножко по политике, немножко не по политике... Что значит, по политике?..

— Значит, вы по уголовной статье?

— Зачем же сейчас по уголовной? Я сказал: немножко по политике...

Прибывших приняли в «коммуну». Но затем спутник старика рассказал, что они вдвоем обходили богатых евреев с подложными удостоверениями, собирая деньги якобы для

жертв погромов. Камерное собрание решило, что в политической камере им не место. В тот же вечер, во время поверки, их выгнали из камеры на коридор.

Но и без них не мало осталось у нас людей, сидевших «немножко по политике, немножко не по политике».

* * *

Режим в тюрьме был сравнительно легкий. Можно было подходить к окну, переговариваться с гуляющими во дворе. Из камеры в камеру передавались записки, книги, табак. Была нелегальная переписка с волей. Изредка получались газеты. В политических камерах происходили групповые занятия, рефераты. Однажды устроили даже — не помню, по какому поводу — литературно-музыкальный вечер с любительским спектаклем: поставили сочиненный в камере фарс «Жених-экспроприатор», декламировали стихи, пели хором, а один искусник смастерил музыкальный инструмент из стаканов с водой и деревянных ложек.

И все же неспокойно было в тюрьме. Чувствовалась нароставшая со дня на день тревога.

Среди заключенных начинался тиф. Через старосту мы пред'явили начальнику тюрьмы требование о переводе заболевших в городской тифозный барак. Начальник ответил, что это от него не зависит.

Двое или трое из заболевших умерли. Пошли разговоры о том, что необходимо чем нибудь поддержать требование о переводе больных. Эсдеки и эсэры стояли за голодовку. Анархисты отстаивали обструкцию.

Я сперва колебался, затем присоединился к предложению анархистов. Исходил я из того, что к обструкции можно было привлечь всю тюрьму, а голодовку пришлось бы проводить исключительно политическим, да и то, быть может, не всем. Да и не верил я в возможность упорной

голодовки в нашей разношерстой общей камере. А обструкция?.. Здесь был риск: могло кончиться плохо, но могло и удасться, — следовало попробовать.

После долгих переговоров с партийными товарищами и эсэрами, удалось склонить их в пользу этого плана.

Сговорились с другими камерами и через Цукерина передали тюремной администрации ультиматум:

— Требуем к 12 часам в тюрьму прокурора.

В назначенный час прокурор не явился, и заключенные принялись вызывать его криком и стуком.

Часам к 5 прокурор приехал в тюрьму. Узнав, в чем дело, он отказался пройти в «зараженные» камеры и приказал начальнику удовлетворить требование заключенных.

Вечером, действительно, часть больных была отправлена в барак.

Эта обструкция, увенчавшаяся столь быстрой и полной победой, подбодрила и сплотила тюрьму. Но отношения с администрацией после этого испортились: и начальник, и его помощники, и, больше всех, старший надзиратель Белокоз злились на заключенных, особенно, на политических.

Белокоз прямо говорил:

— Это вам так не пройдет! Вы думаете, так оно и кончилось? Ан оно еще и не начиналось...

Но никто не придавал значения его угрозам.

* * *

С первого дня заключения я не переставал думать о побеге. Это была для меня в то время своего рода навязчивая идея.

Мне казалось, что революционер не имеет права добровольно отказываться от борьбы за свою свободу, что попав в тюрьму, он обязан пытаться бежать.

Заговорил как то об этом с Абрамчуком. Тот весь загорелся и стал горячо доказывать, что для революционера

бесчестие отдаться в руки полиции без вооруженного сопротивления. Это шло дальше моего взгляда на дело. Но все же у нас с Павлом оказалась новая почва для сближения, — мы стали вместе искать способа, чтобы вырваться из тюрьмы.

Думали о подкопе. Но тюрьма стояла на каменистом грунте и была со всех сторон окружена широким двором. Выдти из нее путем подкопа не было возможности...

Не помню точно, кто из товарищей — кажется, наш староста Цукерин, — подал мне мысль о возможности бежать из городского тифозного барака. Караул там слабый, — всего четыре надзирателя: один сидит у дверей, один бродит под окнами, тогда как два другие либо спят в «караулке», либо уходят в город. Об'ясняется слабость охраны тем, что в барак перевозят из тюрьмы лишь тяжело больных, без памяти; а выздоравливающих, только начнут они подыматься на ноги, отправляют обратно в тюрьму...

Намечались два плана: либо заразиться тифом и устроить насильственный увоз из барака; либо добиться перевода в барак, не будучи больным, и бежать самому. Я остановился на втором плане, на симуляции тифа.

Цукерин достал из тюремной аптеки учебник по патологии, и я принялся изучать признаки сыпного тифа: характерная кривая температуры, розеолы, увеличение селезенки... Как воспроизвести эти симптомы?

Обратился к нашему военному фельдшеру. Дувин оказался специалистом по симуляциям всякого рода. От него я узнал, что сыпь, почти не отличающуюся от тифозных розеол, можно вызвать, приняв сильную дозу брома. Труднее воспроизвести типичное для тифа лихорадочное состояние, но имеются средства и для этого. И фельдшер рассказал мне о тех приемах, к которым прибегают солдаты, чтобы избавиться от службы, — раствор купороса, настой махорки, — варварские приемы, разрушающие здоровье, навсегда превращающие человека в калеку.

— Это не подходит, решил я.

Дувин обещал подумать, подыскать какое нибудь не столь разрушительное средство.

Помнится, написали на волю доктору Винокурову, прося и его совета...

Был уже конец марта, когда я получил с воли чудодейственное средство, — соединение эпикукуана с кокаином. Эта микстура должна была вызвать отравление, признаки которого давали картину, весьма близкую к тифу. Но при таком отравлении могли появиться и другие симптомы, которых не бывает при тифе. Чтобы обезопасить себя с этой стороны, я достал из аптеки книгу о действии различных ядов. Отыскал главу о кокаине. Первый признак отравления — расширение зрачков. По этому признаку врач мог бы раскрыть симуляцию. Но тот же признак сопровождает ряд других отравлений. Я решил, что в тюремной больнице не дам врачу смотреть мне зрачок, а в бараке об'ясню, что в тюрьме, мол, мне впрыскивали в глаза атропин.

Дувин показал мне, как «подбивать» до желательной температуры термометр, постукивая ногтем по его головке, и как вызывать учащение пульса, задерживая дыхание. После двух-трех дней упражнения я мог доводить пульс до любого числа ударов в минуту. Заучил, сколько ударов должно соответствовать определенному показанию температурного листа.

Сообщил о своем плане Абрамчуку. Он слушал меня молча, в явном смущении. Наконец, сказал:

— Я рад за вас... Но теперь мне придется отказаться...

— Отказаться от чего?...

— Я тоже готовил побег этим путем. Но немного иначе. За деньги через тюремного фельдшера... Ну, что же?.. Я пойду позже, с другими.

И он рассказал мне, что с воли подготовляется массовое освобождение сидящих в тюрьме анархистов. Павел должен был бежать через тифозный барак, чтобы принять руководство предприятием.

Я предложил ему воспользоваться для побега моим путем. Но Павел на это не соглашался, — хотя с моей стороны жертва была невелика. Решили, что мы пойдем оба. Я предпринимаю попытку первым, но в бараке буду ждать. За мной следом постарается перевестись в барак Павел. Если ему не удастся, пойдет кто нибудь из его друзей анархистов. Из барака бежим вдвоем, — в случае надобности, нам помогут боевики с воли.

Утром я должен был «заболеть». С вечера принял бром, а затем столовую ложку приготовленного для симуляции раствора. Ходил взад и вперед по камере, ожидая, когда скажется действие лекарства. Считал удары пульсы. Но пульс бился ровно и редко.

Дувин, не ложившийся спать в эту ночь, решил, что доза, указанная врачем, недостаточна.

— Они всегда по каплям считают, заметил он: Всякое лекарство надо брать вдвое или втрое против докторского рецепта.

Он налил мне большую деревянную ложку микстуры. Я выпил и снова принялся ходить по камере. Голова кружилась, но пульс не учащался.

Между тем, небо в квадратах оконных решеток начинало светлеть.

Я обратился к Дувину:

— Дайте еще!

Тот протянул мне бутылку. Я сделал два-три больших глотка прямо из горлышка.

— Что вы? Это яд!

Фельдшер вырвал у меня из рук наполовину пустую бутылку.

Я снова ходил взад и вперед. Но с каждым шагом тяжелее становились ноги, начали стучать зубы, кровь билась в висках.

С трудом добравшись до своего места на нарах, я лег, укрылся одеялом и пальто, но чувствовал, что весь коченею.

Руки и ноги уже не повиновались мне. Какой то особый жуткий холод шел от кончиков пальцев и медленно подымался к коленам, к локтям и дальше, захватывая все тело. Я лишился сознания . . .

С температурой выше 40 градусов меня перенесли в тюремную больницу. Тюремный фельдшер сразу определил сыпной тиф. После обеда в палату пришел врач. Он никогда не прикасался к заразным, всегда осматривал их издали, стоя в трех шагах от кровати. Так осмотрел он и меня. Осмотрев, приказал фельдшеру:

— До завтра. Если температура не спадет, лист приготовьте.

«Лист» — это свидетельство на отправку в барак.

Вечером Дувин дал мне еще ложку эпикукуана с кокаином. Утром и температура, и пульс были как раз такие, как это «требовалось наукой».

После 12 часов меня вынесли на носилках под тюремные ворота. Белокоз, подозрительно оглядев меня, приказал привратнику:

— Пропусти!

Двое солдат конвойной команды подняли меня с носилок на извощичью пролетку. Один из них сел рядом со мной, другой поместился на переднем сидении, и пролетка задребезжала по мостовой.

*

Тифозные бараки помещались на краю города. Ехали долго. Помню, в воздухе чувствовалась весна; зеленеющие почки, как легким облаком, окутывали деревья. На душе было радостно и спокойно: я так был уверен в успехе!

Вот и бараки.

Длинные бревенчатые строения. Легкий заборчик. Огромные окна без решеток. В палисаднике под окнами ни души, — часовой, верно, отлучился куда нибудь . . .

Конвойные слезли. Зовут меня:

— Сходи, что ли?

Но я твердо помню, что я тяжело больной, и валюсь бессильно на сиденье, предоставляя солдатам нести меня на руках.

Поверхностный фельдшерский осмотр на корридоре. «Розеолы» разрешили все сомнения. После ванны меня поместили в палату № 1-ый.

Часа через три появился старший врач, грузный старик в белом халате. Он долго и тщательно осматривал, ощупывал меня, ласково спрашивал, как началась болезнь. Окончив осмотр, старик осторожно снял у меня очки и приподнял пальцем веко. Я успел пробормотать:

— Атропин . . .

— Я так и думал, сказал врач.

Обернулся к фельдшеру и распорядился:

— Запишите: «тиф неопределенный».

И уходя, ласково сказал мне:

— Ну, поправляйтесь, поправляйтесь!

Я не знаю имени старого врача и вообще ничего не знаю о нем. Но у меня осталось смутное ощущение, что он разгадал, что за тиф у меня, и сразу решил не выдавать арестанта . . .

Я остался в палате «тяжелых».

Восемь коек, по четыре с каждой стороны. Моя койка была крайняя у окна. Налево от меня стоял крошечный больничный столик. Дальше лежал молодой парень с пергаментно желтым лицом. Он бредил без умолку, повторяя все одни и те же польские слова.

У противоположной стены один больной лежал неподвижно, другой громко стонал, хрипел, вскрикивал. Изредка показывался в дверях надзиратель в полной форме, при оружии. Но видно было, что заглядывает он в нашу

палату не для контроля, а потому, что на корридоре ему некуда деваться от скуки.

Я был голоден. Но тифозным в палате № 1-ый обеда не полагалось.

Подошла к постели сестра милосердия. Я попросил ее дать мне поесть. Она принесла крошечный графинчик вина и яйцо всмятку. Попросил хлеба, но сестра отрицательно покачала головой. Проглотил яйцо, — голод не уменьшился. Попросил еще, — сестра опять покачала головой и занялась моим соседом-поляком.

Я обдумывал положение. Подвергать себя голодовке не входило в мои планы. Я должен был беречь силы...

Когда сестра уходила, я сказал ей, указывая на соседнюю койку:

— И ему бы яичко...

— Да он не в памяти.

— Только что был в памяти, просил.

— А как же он есть будет?

— Я помогу с ложечки.

Сестра принесла еще одно яйцо.

В последующие дни я продолжал пользоваться этим приемом: с'едал порцию не только моего безответного соседа, но и других больных, которые уже не нуждались ни в пище, ни в питье.

Человек, лежавший на койке против меня, сам предложил:

— Бери, товарищ, и мое, — авось, тебе в пользу пойдет, а мне, все едино, помирать.

Он, действительно, вскоре умер.

Затих, не приходя в себя, и парень-поляк.

Ночью в палате было ужасно, — крики, стоны. Каждую ночь умирал кто-нибудь. Утром приходили санитары с длинным деревянным шестом. Разложат на полу три полотенца, на них опустят покойника, на мертвое тело положат шест, так чтобы один конец его торчал над головой, а другой выступал за сложенные ступни ног. Свяжут

концы полотенец поверх шеста, вскинут шест на плечи, — и покойник повиснет на нем, как спеленутый ребенок.

Я лежал, полузакрыв глаза, выдерживая роль тяжело больного. Ждал Павла. Но никого не привозили из тюрьмы, и не было оттуда никаких вестей.

Действие эпикукуана с кокаином давно прекратилось. Температура у меня была нормальная. Но я «настукивал» термометр, и кривая на температурном листе над моим изголовьем развивалась по всем правилам: вечером на 5—6 десятых выше, чем утром, с падением после перевода в барак, с последующей тенденцией к повышению по мере приближения «кризиса». Так же плясала и кривая пульса. Но силы с каждым днем убывали.

На пятый день — помню, это было в пятницу на страстной неделе — перед обедом ко мне подошел надзиратель и, тронув меня за плечо, сказал:

— Ты, что ли, Александров будешь? Так к тебе приятель пришел, во дворе стоит... Ты подняться можешь?.. До окна дойдешь?..

Я поднялся с постели. На этот раз мне не пришлось симулировать, так ослабел я за эти дни. Подошел к окну. На дворе стоял Исаак с мельницы.

Он передал мне: из тюрьмы справляются, в бараке ли я, просят меня подождать еще.

Я просил дать знать товарищам, что дольше ждать я не в силах и, если дело затянется, то я буду просить врача об обратном переводе в тюрьму. Исаак обещал еще до вечера передать в тюрьму мои слова и, не позже, чем завтра утром, сообщить мне ответ.

Я вернулся на свое место в крайнем раздражении против товарищей. В первые дни я мог уйти из барака без всякого труда. Теперь это становилось значительно сложнее. Пятые сутки без сна, почти без пищи, среди умирающих, при непрерывном напряжении нервов... Я уже сам не знал, здоров я, или болен, симулирую тиф, или, действительно, заразился... А заразиться и умереть в

бараке — это было бы слишком глупо... С другой стороны, мне и в голову не приходило итти, не дождавшись Павла или кого либо из его товарищей. Но меня возмущало, что товарищи в тюрьме, как будто, забыли обо мне.

Этот день и последовавшая за ним ночь показались мне особенно тяжелыми. Утром Исаак не пришел. Я готов был грызть подушку от бессильной досады. Под вечер надзиратель окликнул меня:

— К тебе, Александров, опять пришли... До окна доползешь?

Во дворе был Исаак. Он спросил надзирателя:

— Господин дядька, курить больным разрешается?

Тот пожал плечами:

— По мне что? Пущай курят, когда дохтура нету.

Тогда Исаак передал мне в форточку папироску, которую сам держал в зубах:

— Пока хоть эту покури!

А когда надзиратель отошел от окна, он быстро сказал мне:

— Завтра после полуночи будем ждать у ворот с лошадьми.

Вернувшись на свою койку, я развернул мундштук папиросы и на внутренней бумажке его прочел:

«Больше не будет, идите один».

Итак, товарищам не удалась симуляция, или у них явились новые планы.

Я соображал. Завтра воскресенье. Надзиратели, наверное, напьются. Часового в саду не будет, можно будет вылезть в окно... А может быть, и на корридоре будет пусто, — тогда через дверь. Но нельзя итти через бесконечный двор в одном белье. Нужно добыть одежду.

В ногах у меня лежал длиннейший больничный халат. Из него можно было бы сделать подобие мужицкого армяка, — нужно было только укоротить его, убавить рукава, перехватить в поясе. Но под рукой не было ни иголки, ни ножниц.

На подоконнике между раздвижными рамами валялись осколки стекла. Попробовал их на поле халата. Оказалось, что стекло режет сукно, как нож.

Ночью принялся за работу. Приспособил армяк; из суконного одеяла соорудил подобие брюк, скрепляя швы бичевкой; устроил и шапку, скрепив ее вынутым из стены гвоздем.

Теперь важнее всего было соснуть, хоть на полчаса. Но заснуть не удавалось.

За ночь опять в нашей палате умер один. На рассвете пришли санитары с шестом. Полотенца у них оказались слишком короткие. Они никак не могли увязать покойника и долго возились, ворча:

— Откуда они, там, в тюрьме, таких здоровых берут, — что ни больной, то пять пудов.

Днем барак обходило какое то начальство. Мелькнул в дверях священник с крестом. Пели «Христос воскресе».

После обеда на корридоре появилась гармошка. Били в ладоши, стучали каблуки, гремели половицы.

Надзиратель прикрыл дверь нашей палаты, — чтобы шум пляски не тревожил больных. Я понял, что разгулялась наша стража.

Выглянул в окно: часового в саду нет. Видно, и он у гармоники.

Перед ужином два надзирателя подрались. Их насилу разняли.

Сестра милосердия зашла к нам в палату красная, сердитая. Я спросил ее:

— Что там, сестрица?

— Разбойники безобразят, ответила она. Один другому нос укусил, чуть не отхватил с хрящем.

Все шло, как нельзя лучше.

Снова заливается гармоника на корридоре, гремят доски пола. Затягивают хоровую песню... Считаю голоса... Там не только все четыре надзирателя, но и какие то посторонние...

Наконец, стихает веселье.

Уже 12 часов. Но теперь под окном маячит часовой. Приходится ждать.

Выглянул в дверь. Надзиратель лежит на лавке, спит глубоким сном. Я вернулся к постели, натянул брюки, одел армяк, шапку. Но руки, как не мои, ноги не слушаются... Хватит ли сил дойти до ворот?

Выхожу в коридор. Надзиратель храпит у самой выходной двери. Как бы скрип блока не разбудил его?.. Вернее — итти через соседнее отделение, где лежат вольные больные, — там выходная дверь не охраняется никем.

Держась рукой за стену, я прошел неслышно мимо спящего надзирателя, вышел из арестантского отделения и уже взялся за ручку наружной двери, как вдруг почувствовал, что кто то схватил меня за плечо. Обернулся, — передо мной малый в фельдшерском халате. Обеими руками он вцепился в мой армяк. Он пьян вдрызг и лепечет что-то о докторе и о том, что ночью полагается спать. Пытаюсь стряхнуть его руки, но нет сил.

С каждой минутой он становится шумливее.

— Молчите! Пустите меня! вырываюсь я...

Но уже проснулся надзиратель... На корридоре тревога...

Со стесненным сердцем, ничего не видя пред собой, я возвращаюсь в палату.

Надзиратель вдруг протрезвел. С револьвером в руке он стоит передо мной, ругается, грозится. Я не слышу его выкриков. Наконец, разобрал:

— Застрелю на месте!

А за спиной надзирателя, в дверях, жмутся перепуганные сестры и санитары, сбежавшиеся из соседних бараков. Овладев собой, я сказал надзирателю:

— Спрячь револьвер! Ты бы тогда стрелял, когда я в дверях был. А теперь, если еще хоть слово скажешь, — завтра доложу начальнику, что у тебя, пьяного, арестант чуть не убежал. Понял?

Угроза подействовала. Надзиратель спрятал револьвер и стал упрашивать плаксиво:

— Вы уже начальнику не говорите... Семья у меня...

Утром приехал в барак начальник тюрьмы Фетисов [1]) в сопровождении надзирателей. Выслушав доклад о ночном происшествии, он распорядился перевести меня обратно в тюрьму и заковать, а стоимость больничного халата и одеяла удержать из моих денег.

Два часа спустя я был снова в тюрьме. Под воротами встретил меня Белокоз и бросил:

— Рано вернулись. Я тогда еще, как выносили, заметил, что не спроста это с вами.

Поместили меня в тюремной больнице. Заковку отложили до выздоровления.

* * *

В тюрьме я узнал, почему мне пришлось так долго ждать в бараке вестей от товарищей.

Павлу не удалась симуляция: эпикукуан вызывал у него неудержимую рвоту. Пытался воспользоваться раствором один из его товарищей, — и тоже без результата. Неудачей окончилась и попытка действовать через тюремного фельдшера Пушкина: врач заметил обман.

Моя симуляция осталась нераскрытой: администрация считала, что я, действительно, был болен, но перенес кризис в первые дни после перевода в барак и пытался бежать, уже будучи выздоравливающим.

В тюремной больнице меня поместили в камеру горячечных. Здесь, среди других больных, я застал Каффи, заболевшего в то время, когда я был в бараке. Определить его болезнь врач не мог. Повидимому, это была нервная

[1]) Впоследствии проворовался и покончил с собой самоубийством, повесился.

горячка с какими то осложнениями. Опасались за его жизнь. Он очень мучился, часто впадал в беспамятство. Я принялся ухаживать за ним и постепенно превратился в «брата милосердия» при горячечных больных: подавал им воду и лекарство, менял лед на голове и т. д.

Всего труднее было колоть лед. В камеру лед доставлялся глыбой, в большой деревянной кадушке, а колоть его приходилось эмалированной кружкой. В результате — ободранные, израненые руки. Но и помимо этого, бессменно ходить за больными было не легко.

Я не раздевался на ночь, спал урывками. Порой по 2—3 ночи подряд не смыкал глаз.

Дней через пять после моего возвращения из барака пришел в камеру горячечных Хазанов, — его пропустили в больницу навестить товарищей. Он отвел меня к окну, где никто не мог нас слышать, и сказал:

— Вы из за нас не ушли из барака. Хотите теперь итти на свободу вместе с нами?

И он посвятил меня в подробности подготовляемого с воли нападения на тюрьму, о котором мельком говорил мне еще до моего перевода в тифозный барак.

Не буду передавать здесь подробности этого дела, — может быть, я вернусь еще к нему в другом месте.

Скажу только, что предприятие велось широко.

Подготовлялся взрыв тюремной стены; в момент взрыва заключенные анархисты должны были напасть на стражу, обезоружить и связать надзирателей, отобрать у них ключи, отпереть камеры. Одновременно, на воле, в различных частях города, должны были разорваться бомбы. Отряды бомбометателей должны были стоять на пути между казармой и тюрьмой, готовые пустить в ход снаряды, если солдаты будут двинуты в погоню за бежавшими арестатами...

Развивая этот план, Павел подчеркивал одну особенность его: боевые действия должны разыграться вне стен тюрьмы, так что опасности подвергаются лишь

прямые участники предприятия. Он сослался также на то, что с воли ведут дело товарищи, которым удалось уже посредством взрыва освободить одну тюрьму (кажется, симферопольскую).

С моей стороны было безумием вступать в это дело, задуманное людьми, которым нечего было терять. Но предприятие анархистов подкупило меня своим боевым, революционным романтизмом. К тому же, как всякий узник, которому не удалась попытка побега, я склонен был ухватиться за любой новый план освобождения. А наконец, мне было тогда 22 года, и в этом возрасте стремление к действию сильнее, чем рефлексия.

Я, не колеблясь, заявил Павлу, что готов участвовать в деле, и принял на себя поручение: получать оружие, которое должен был доставлять в тюрьму фельдшер Пушкин. Предполагалось, что он принесет девять револьверов, сотни две патронов, несколько фунтов динамиту и пироксилину и еще другие матерьялы.

Вечером фельдшер пришел в камеру и решительными шагами направился в угол, где лежал Каффи. Остановившись в проходе между его кроватью и моею, он тихо сказал мне:

— Подойдите ближе!

Затем принялся выслушивать и выстукивать больного.

Когда надзиратель, позвякивавший ключами в открытых дверях, обернулся к нам спиной, я тронул фельдшера за локоть:

— Где?

Тот ответил скороговоркой:

— В левом наружном кармане.

Я опустил руку в его карман, нащупал тяжелый металлический предмет и быстрым движением переложил его себе под подушку.

Ночью я осмотрел полученный предмет: это был черный вороненый пистолет с двойным дулом, похожий на браунинг, но другой, незнакомой мне системы.

С этого вечера Пушкин каждый день приносил что-нибудь, — либо пачку динамита в длинных палочках, похожих на свечи, либо пакет пироксилиновых шашек. Утром в камеру заходил Павел, и я сдавал ему полученное накануне.

Павел был молчалив и чем-то подавлен. О подготовляемом освобождении он не говорил. Раз я спросил его, как идет дело. Он ответил:

— Там, — он указал глазами на окно, на волю, — там все идет хорошо, а здесь очень плохо. Может быть, не следовало начинать, лучше было ждать смерти.

Расспрашивать его я не стал.

26-го апреля — я хорошо запомнил этот день — в тюрьме был обыск по предписанию охранного отделения, получившего сведения, что у арестантов имеется оружие, приготовленное для побега. Обыск продолжался с утра до вечера. Перерыли все, разбирали нары, тяжелыми ломами выстукивали полы и стены.

Начали с дальних корридоров и постепенно приближались к больнице.

У меня в подушке лежал полученный накануне динамит. Каффи, с большой тревогой следивший за моим участием в предприятии анархистов, советовал мне отделаться от пакета, выбросив его в ушат для нечистот в уборной. Но я не решался.

Выручил меня старик-аграрник Нестеренко. Он не знал, что именно получаю я от фельдшера, но догадался, что через него я веду нелегальные сношения с волей, — что-то отправляю, получаю, передаю. Старик смекнул также, что именно в подушке хранится у меня нелегальщина, — может быть, запрещенные книжки, может быть, письма, а может быть, и бутылка водки.

Он подошел ко мне и тихо спросил:

— У вас что нибудь есть в подушке?

— Есть.

— Поменяемся?

— Хорошо. Если найдут, я скажу, что подушка моя.

— У меня не найдут . . .

Четверть часа спустя в камеру явилась толпа надзирателей с Белокозом во главе. Направились прямо к моей койке. Вспороли матрас и подушку, перетряхивали каждую соломинку, ощупывали каждый шов белья. Другие койки обыскивали менее тщательно.

Нестеренко, между тем, готовился. Положил посередине койки подушку, на нее постлал цветной платок, на платок выложил пару портянок, и еще какие то тряпицы, а поверх всего положил свою шапку высыпав на нее табак и спички, — нате, мол, вот все мое имущество, ничего от начальства не прячу!

Белокоз потрогал табак и бросил сквозь зубы:

— Забирай свое барахло!

Обыск не дал результатов, — в тюрьме не нашли ничего.

* * *

На другой день пришел Павел. На нем лица не было. Я рассказал ему, как удалось сохранить динамит. Он слушал сумрачно, безучастно. Когда я кончил, он сказал:

— Дело, все равно, погибло.

И он передал мне о том, что происходило за последние дни в тюрьме.

Предприятие, начатое анархистами, неожиданно столкнулось со сходным делом, задуманным 10-ой камерой. Это была камера уголовно-политических, дела которых были назначены к слушанию в ближайшей сессии военно-окружного суда. Здесь помещалось 22 человека, все со смертными статьями. Они тоже задумали бежать при посредстве взрыва тюремной стены. И уже успели добыть с воли небольшое количество динамита, когда узнали о приготовлениях анархистов.

Попытались об'единить обе попытки. Но выяснилось, что это невозможно: сессия военного суда начиналась

30-го апреля, в этот день следовало ожидать первых смертных приговоров и перевода осужденных из 10-ой камеры в подземные секретки; поэтому уголовно-политические хотели предпринять попытку побега никак не позже 29-го; а анархисты не могли закончить свои приготовления раньше 10—15 мая и считали недопустимым «давать бой», не обеспечив все шансы победы, и подвергать тюрьму смертельному риску в случае, если взрыв стены не удастся.

Переговоры между обеими группами не привели ни к чему, и 10-ая камера пред'явила анархистам ультиматум:

— Передайте нам ваше оружие! Если не передадите, мы на ура пойдем с тем, что у нас есть. Не хватит заряда для взрыва, — тем хуже: нас перебьют, но и ваше дело провалится.

Это было трагическое столкновение людей, у которых всех впереди была виселица, но из числа которых одни еще могли ждать, взвешивать свои поступки, оценивать обстановку, а другие ждать не могли...

Среди анархистов требование 10-ой камеры вызвало возмущение. Большинство склонно было отказать наотрез. Но Павел восстал против такого решения.

29-го, говорил он, они пойдут на верную гибель. Стены они не взорвут. Их будут расстреливать на наших глазах, в то время, как мы будем хранить имеющееся у нас оружие для будущего дела...

А кроме того: при неудачной попытке взрыва стены, если участники покушения останутся внутри тюремной ограды, месть администрации обрушится на всю тюрьму: единственное средство предотвратить бойню — это увеличить силу взрыва и опрокинуть стену. Исходя из соображений, Павел настоял на том, чтобы все полученные с воли материалы были переданы в 10-ую камеру. С этим решением он и пришел ко мне.

Он спрашивал меня, считаю ли я это решение правильным. Я не знал, что ответить, так как не чувствовал себя

в праве быть судьей в споре, где все, кроме меня, были, так или иначе, обречены смерти...

Под вечер пришел Пушкин, принес сверточек пироксилиновых шашек и каких то еще принадлежностей для бомб. 28-го фельдшер дважды забегал в камеру и передал мне второй револьвер, четыре запасных обоймы с патронами и еще палочку динамита.

10-ая камера помещалась прямо над палатой горячечных. Из окна в окно передавались посредством «воздушного телефона» записки, табак, а иногда и полученные с воли «гостинцы», — колбаса, сало.

Поздно вечером сверху пришла записка за подписью Леонида Иванова, до этого я не знал, что он в 10-ой камере. Он просил немедленно отправить наверх по «воздушному телефону» все «обещанное Павлом».

Я отправил ему бывшее у меня оружие.

* * *

29-го апреля я с утра стоял у окна. В этот день заключенных выводили в баню, помещавшуюся у передней стены тюремной ограды, рядом с конторой. Я думал, что 10-ая камера воспользуется этим моментом для устройства взрыва...

Около 8 часов утра, вскоре после раздачи по камерам кипятку, уголовно-политических провели в баню. Среди них я заметил Леонида Иванова, Грибова («Крамольника»), анархиста Якова Нагорного, социалиста-революционера Алексея Дубинина...

Через полчаса их провели обратно в корпус.

На дворе шла обычная прогулка заключенных. Гуляли внутри проволочных загородок у противоположных стен, слева и справа от тюрьмы.

Перед обедом вывели на прогулку 12-ую (политическую) камеру. Несколько минут спустя, в противоположную загородку (у левой стены) вывели уголовно-политических.

Некоторые из них несли соломенные матрасы. В этом не было ничего подозрительного: матрасы полагалось перетряхивать время от времени во дворе, и естественно было, что арестанты решили заняться этим в банный день.

Не отрываясь от решетки окна, я следил за прогулкой.

Выбивали матрасы. Потом сложили их один на другой у стены, в конце загородки. Арестанты отошли на противоположный конец отведенного для прогулки пространства. Делают гимнастику, приседают по солдатски, изображая «гусиный шаг». У матрасов остался один Леонид Иванов. В руках у него большой жестяный чайник. Он ставит его на матрасы, а сам отходит на несколько шагов, закуривая папиросу. Но ветер задувает спичку. Иванов подходит к стене, наклоняется над матрасами... Затем быстро отходит в дальний конец загородки, туда, где занимаются «гусиным шагом» его товарищи...

В этот момент здание тюрьмы потряс оглушительный взрыв. Двор наполнился густым дымом, сквозь серую пелену его метнулись языки пламени. Со звоном сыпались оконные стекла. Горячая волна воздуха отбросила меня от окна. На внутренних корридорах тюрьмы хлопали двери, бухали выстрелы, раздавались крики...

Внезапно все стихло.

Я выглянул в окно. В левой загородке не было ни души, валялись на земле обгорелые лоскутья от матрасных мешков. Искал глазами пролома в стене, но пролома не было видно. Случилось то, чего опасались анархисты, отказываясь предпринимать попытку раньше, чем будут закончены все приготовления, — сила снаряда оказалась недостаточна.

В правой загородке, где гуляла 12-ая камера, лежали на земле людские фигуры: заключенные прилегли в момент взрыва. Спустя минуту они начали подыматься один за другим. Надзиратели и часовые скрылись куда то.

Но вот послышались выстрелы, сперва редкие, потом все чаще и чаще. Это надзиратели из под ворот обстреливали тюрьму. И отвечая им, те из надзирателей, которых взрыв застал на корридорах корпуса, стали сквозь прозорки стрелять в камеры по обезумевшим от страха, беззащитным арестантам.

В это время на дворе показался Леонид Иванов. Он шел медленно, слегка раскачиваясь, держа револьвер в вытянутой руке. Остановился около старого развесистого дерева, росшего одиноко посреди двора, между тюремной конторой и главным корпусом.

Открылась калитка в воротах, и надзиратели бросились гурьбой во двор с берданками на перевес. Иванов сделал шаг навстречу им и выстрелил. Надзиратели метнулись назад и из за тяжелых, обитых железом ворот продолжали стрелять, целясь в стоявшего между ними и тюрьмой человека.

Несколько минут продолжалась неравная борьба. Иванов медленно ходил взад и вперед, порой припадая на одно колено, порой пользуясь для прикрытия стволом старого дерева. Он был ранен, но продолжал стрелять. Я видел, как, прислонившись к дереву, он переменил обойму в револьвере. Но вот, он свалился, пораженный на смерть. Тогда двор наполнился надзирателями. Началась расправа над безоружными людьми, не принимавшими никакого участия в попытке взрыва стены.

Слышался голос Белокоза:

— Бей всех до последнего! Бей политику!

Стреляли по прогулке 12-ой камеры: Цукерин, поднявшись с земли, крикнул Белокозу:

— Не стреляйте! Отсюда никто не пытался бежать...

Вместо ответа старший приказал одному из надзирателей:

— Сними мне этого жида!

И Цукерин упал убитый.

Во двор тюрьмы ввели две роты солдат. Их выстроили около конторы. Но они не принимали участия в бойне. Стреляли только надзиратели.

Во дворе было много всякого начальства, военного и гражданского. Суетился, кричал, размахивал руками толстый тюремный инспектор. Лебезил перед ним Фетисов. Какой то чиновник шевелил тросточкой лежащие на земле трупы. Другой указывал надзирателям, куда стрелять. Распоряжался Белокоз. Снова и снова раздавался его крик:

— Бей всех до последнего!

Надзиратели вошли в корпус тюрьмы. Грохотали выстрелы на внутренних корридорах. Снова обстреливали камеры через двери.

Крики ужаса, стоны, вопли, ругательства...

Выстрелы прекратились, когда в корпус тюрьмы вошли солдаты [1]).

В этот день в екатеринославской тюрьме было убито 28 человек и ранено 44. Из раненых 7 человек вскоре умерли.

Из 10-ой камеры осталось в живых человек 5. Иванов был убит на дворе, Нагорный и Дубинин были застрелены на крыше «заднего строения», остальные перебиты на кухне, куда они бросились, ища спасения после неудачного взрыва.

Среди уцелевших был Грибов, — ему предстояло умереть на виселице.

Из остальных камер больше всего пострадала 12-ая. Здесь было убито 8 или 10 человек, среди них: Цукерин, Вейсман, рабочий социал-демократ Колесников, юноша-анархист Маркин. Имен остальных я не помню.

* * *

[1]) Позже в Екатеринославе передавали, что бойня была прекращена военным начальством, указавшим губернатору на настроение солдат, которые громко грозились перестрелять надзирателей, если те не перестанут стрелять по беззащитным арестантам. Не знаю, насколько это верно. Но тюремные надзирателю, говоря о 29-ом апреля, ругали солдат, говорили, что солдаты им «помешали».

За убийства 29 апреля надзиратели получили благодарность от губернатора, «царское спасибо» от Столыпина и по рублю на водку. Это благоволение начальства, сознание безнаказанности и опьянение пролитой кровью, еще в большей степени, чем пережитые минуты страха, разнуздали зверские инстинкты в тюремной страже. Екатеринославская тюрьма стала адом.

День начинался с избиения арестантов. Били уже на утренней поверке, без всякого повода, по приказанию Белокоза:

— Бей вот этого! Возьми вон того!

И до вечера тюрьма оглашалась звуками ударов, криками, стонами. Избитых, порой в беспамятстве, тащили в подземные карцера.

Я все еще оставался в больнице. Состав больных в палате переменился. Часть политических перевели в другие камеры, на место их пригнали уголовных — сифилитиков. Из прежних оставались Каффи, Ветвицкий и я.

В начале мая Каффи (еще тяжело больной) был освобожден: он получил высылку за границу, как иностранец. На другой день я заявил фельдшеру, что прошу выписать меня из больницы.

Перевели меня обратно в 12-ую камеру. Как много воды утекло с той ночи, когда я лежал здесь на нарах, чувствуя, как постепенно холодеют, отнимаются у меня руки и ноги!

Многих из прежних товарищей уже не было в живых. Другие выбыли из камеры тяжело ранеными. Некоторых (как Павла и Ефрема) перевели на другой корридор. Оставшиеся были запуганы, боялись громко разговаривать, шопотом передавали подробности пережитого.

Почти каждый день кого-нибудь из камеры избивали и брали в карцер.

Вскоре дошла очередь и до меня...

В карцере было абсолютно темно. На полу стояла вода, — точнее, глубокая, жидкая грязь.

Нас было семь человек в каменном мешке...
При вечерней поверке бросили к нам восьмого.
Прошла ночь. Мы узнали об этом по команде:
— Становись на поверку!

Маленькая тюремная лампа-коптилка, внесенная в подземелье, показалась мне большой и яркой, как солнце. Но вдруг пламя ее подпрыгнуло вверх и потухло. Надзиратели с шумом шарахнулись в двери. Белокоз распоряжался на корридоре:

— Оставь дверь открытой. Пусть воздух найдет. Надышали, вонючки проклятые...

Я провел в карцере дней шесть или больше.

Затем, меня перевели на верхний корридор, в башню.

* * *

В башне режим был легче, чем в больших камерах. Здесь помещалось шесть человек (в числе них Миша Мухаревер). Было не слишком тесно.

А на корридоре по-прежнему раздавались звуки ударов, крики, стоны. Часто, выходя на прогулку, мы видели на асфальтовом полу и на ступеньках лестницы брызги крови.

Моральная пытка — быть безгласным свидетелем происходящих в десяти шагах от тебя избиений — становилась невыносимой. Казалось, самому подвергаться насилию менее унизительно, чем смотреть, как истязают других.

Анархисты поговаривали о том, что их товарищи на воле не оставят без расплаты бойню 29 апреля... Но главный руководитель расстрела и избиений, старший надзиратель Белокоз, никуда не выходил из ограды тюрьмы, и было трудно устроить покушение против него. Кажется, подготовлялось покушение против одного из его подручных, красноротого силача-надзирателя, носившего кличку «Мамай». Во всяком случае, анархистами был выпущен листок, угрожавший смертью виновникам тюремных избиений, и эти угрозы дошли до тюремной стражи.

Как то утром — это было уже в начале июня — в большую следственную камеру, рядом с нашей башней, явился Белокоз, окруженный десятком надзирателей. Остановились перед выстроившимися в два ряда заключенными, и старший начал речь:

— У вас на воле есть товарищи. Хорошо! Но и у меня есть товарищи. Вот моя боевая дружина. Если кого из нас хоть пальцем тронут, мы здесь из вас всех лапшу собачью сделаем... Пусть товарищи ваши на воле это знают!..

Но все же, под влиянием слухов о подготовляемой анархистами мести, избиения политических прекратились. Надзиратели отводили душу, истязая безответную уголовную шпану. Но затем, когда выяснилось, что никакая опасность виновникам тюремных убийств не угрожает, бросили шпану, и вновь принялись за «политику».

Мне казалось, что можно было бы положить конец этим безобразиям путем обращения к печати, к Государственной Думе, к общественному мнению Европы. Посвятил несколько человек товарищей в свой план: произвести в тюрьме анкету, собрать как можно больше точных, строго проверенных фактов и передать этот материал на волю. Особенные надежды возлагал я на кампанию заграницей, — расчитывал на Каффи, который мог говорить о начале екатеринославских избиений, как очевидец.

Товарищи отнеслись к моей затее недоверчиво: Как собирать материалы в залитой кровью тюрьме? Как передать эти материалы на волю? А главное, кто обратит внимание на наши разоблачения?

Все же, взялись помогать мне. В каждой камере мы наметили одного-двух человек, которые должны были описать, что происходило на их глазах, начиная с 29-го апреля. Каждое показание старались проверить допросом других очевидцев.

Материал разростался. Получился обильно документированный «доклад», об'емом около печатного листа. С помощью одного товарища я переписал этот «доклад» на листки тончайшей папиросной бумаги. Писали остро отточенным карандашем, так мелко, как могли: на листок размером немногим больше спичечной коробки удавалось уместить 1000—1200 букв.

Исписанные листки, свернутые в трубочку, засовывались в швы передаваемого на волю белья при помощи выдернутого из метелки стебелька «татарского проса». Трудность была в том, чтобы листки ложились один за другим, без малейшей складки и без пустых промежутков.

На воле записку переписали в нескольких экземплярах, — один экземпляр отослали заграницу Каффи, другой в Петербург, в с.-д. фракцию Государственной Думы. Кажется, пытались также — но безуспешно — огласить часть материалов в местной печати.

Я чувствовал после этого некоторое моральное облегчение, — было сознание, что я сделал все, что мог.

Но избиения в тюрьме продолжались, то усиливаясь, то ослабевая: надзиратели уже привыкли бить; привыкли к побоям и заключенные. Твердо установилась традиция плюх, зуботычин, палочных ударов, топтанья ногами поваленного на пол арестанта.

Внезапно все изменилось.

Помню, это было в ноябре, — кажется, в конце месяца. Уже отошла вечерняя поверка. Вдруг — тревога на корридоре. Пробежал Белокоз, суетятся надзиратели, вызывают из камер уборщиков, приказывают подмести пол, вынести ушаты с нечистотами. Тюрьма готовится к приему важных гостей.

Через двор идут толпой, человек двадцать. Впереди губернатор, за ним какие то чиновники. Позади всех начальник тюрьмы Фетисов.

Прошли на наш корридор, в следственную камеру.

Команда:

— Смирно!

Прильнув к прозорке двери, мы прислушиваемся. Губернатор держит речь арестантам. До нас явственно долетают слова:

— . . . снять темное пятно, наложенное на высшую администрацию действиями низшей администрации . . . ,

— . . . здесь творились недопустимые вещи, но я ничего об этом не знал . . .

— . . . никто пальцем не смеет тронуть арестанта!

Со дня побега из василеостровской части ниразу не торжествовал я в душе так, как в этот вечер[1]).

Тюремного инспектора, покровительствовавшего тюремным избиениям, убрали. На его место прислали из Петербурга другого чиновника, который начал с допроса заключенных, названных в моей «записке»[2]). Допрашивал он их с явным желанием добыть материал для опровержения. Но ни одного факта опровергнуть ему не удалось, и, как показало дальнейшее, это внушило ему большое уважение к авторам разоблачений.

Режим в тюрьме оставался суровый. За всякую мелочь брали в темный карцер. Часовые стреляли по окнам. Пища была отвратительная. Обращение стражи оставалось грубым. Но избиений не было.

Тюремное начальство проведало, каким образом получили огласку его подвиги.

Мой защитник, присяжный поверенный Гальперин, при первом свидании сказал мне об этом, советуя добиваться перевода в другую тюрьму.

Но я иначе смотрел на дело и воспользовался первым поводом, чтобы выяснить положение. На обыске у меня

1) Не знаю точно, в какой мере повлияли на губернатора разоблачения о порядках в екатеринославской тюрьме, сделанные в Государственной Думе. Но главную роль сыграли, кажется, статьи, помещенные Каффи в немецких, итальянских и французских газетах.

2) Помнится, фамилия его была Френкель.

забрали тетрадку. Я вызвался к начальнику тюрьмы и потребовал, чтобы тетрадка была мне возвращена, заявив, что в противном случае буду жаловаться. У Фетисова от такой дерзости глаза чуть не вылезли на лоб, но тетрадка в тот же день была мне возвращена.

А через пару дней разыгрался такой случай.

Мы с Мухаревером стояли у окна. Часовой заметил и донес старшему. Тот влетел в башню с криком:

— В карцер!

И затем спросил:

— Кто стоял у окна?

Я ответил:

— Я стоял.

Белокоз осекся и, помолчав, сказал:

— Нет, вы не стояли.

— Стоял! И часовой видел...

Старший повернулся и вышел из башни, яростно хлопнув дверью.

* * *

Вспоминая о годах, проведенных в екатеринославской тюрьме, я не могу не коснуться, хоть вкратце, того, что окутывало в эти годы, как мертвым саваном, все мысли, все чувства заключенных: я имею в виду военные суды и смертные казни.

В Екатеринославе при мне было вынесено несколько сот смертных приговоров. Со многими из «смертных» дел мне пришлось близко познакомиться, так как заключенные часто обращались ко мне для составления прошений о доследовании, о вызове новых свидетелей, о кассационном пересмотре приговора.

Десятками проходили через мои руки обвинительные акты и выписки материалов законченного следствия. Из этих документов складывался лик русского суда времени 3-ей Думы.

Я говорю «русского суда», потому что в судебных убийствах тех лет принимали участие не только военные судьи, но и судебные следователи, и прокуроры, и председатели окружного суда и палаты, — через руки всех их проходило каждое дело, прежде чем осужденный поступал в распоряжение палача, и руки всех их в равной мере были обагрены кровью.

Из множества дел выплывают в памяти два: дело о Горловском восстании и дело «103-х анархистов».

В свое время я писал в «Русском Богатстве» о горловском деле[1]. Судили участников волнений, имевших место на Екатерининской железной дороге в декабре 1905 года. Часть обвиняемых была арестована тогда же или в самом начале 1906 года. Но таких было немного, — человек 20. Затем, по мере усиления реакции, в течение 1906 и 1907 г. г., среди железнодорожников и шахтеров производились новые аресты, и всем арестованным пред'являлось обвинение: участвовал в декабрьском восстании.

В середине 1908 года следствие было закончено. Был составлен обвинительный акт — целый том убористой печати — чуть ли не с двумя сотнями обвиняемых. В ноябре начался суд. Из числа обвиняемых, 82 человека были доставлены в суд из тюрьмы, 50 человек явились добровольно, — и были в зале суда, по требованию военного прокурора, взяты под стражу. Затем всем обвиняемым были пред'явлены смертные статьи (100 ст. Уг. Ул. и 279 ст. XXIII кн. свода военных постановлений), которых не было в обвинительном акте. 132 кандидата на виселицу, — такого дела до того времени не бывало в России!

Дело велось до последней степени пристрастно. Отвергались законнейшие ходатайства защиты. Прокурор и председатель суда кричали на свидетелей, угрозами вымогали у них показания против обвиняемых. И обвиняемые

[1] «Суд победителей», «Р. Б.», 1911 г. №№ 6-7. По цензурным условиям, я должен был изменить в этом очерке имена, но все выведенные в нем лица, все эпизоды списаны с натуры.

— в большинстве, случайные люди, не имевшие никакого отношения ни к декабрьскому восстанию, ни к революции, — чувствовали, что петля все туже затягивается на их шее.

Среди «горловцев» зародилась тогда мысль предупредить роковой приговор заблаговременным обращением к высочайшей милости. Накануне 6-го декабря — дня тезоименитства царя — 88 человек из числа обвиняемых послали в Петербург верноподданническую телеграмму. А в царский день те же заключенные обратились к начальнику тюрьмы с просьбой дозволить им отслужить в тюремной церкви молебен с провозглашением многолетия . . .

19-го декабря был об'явлен приговор: 44-м человекам — смертная казнь, из них — 12-ти несовершеннолетним виселица заменялась бессрочной каторгой; 49-ти человекам — каторга на разные сроки; 39 человек были оправданы.

Из числа приговоренных к смерти половину составляли люди, арестованные по ошибке или по оговору соседей и не принимавшие никакого участия в восстании.

За освобождением оправданных, в тюрьме осталось 93 человека «горловцев». Из них 78, сразу после суда, отправили телеграммы царю, вдовствующей и царствующей императрицам, наследнику, петербургскому митрополиту и председателю Государственной Думы с выражением раскаяния, мольбами о помиловании и клятвами отдать все силы на борьбу с внешними и внутренними врагами царя и отечества. Спустя несколько дней к «подаванцам» присоединились еще 5 человек.

Теперь их было уже 83 человека, пытавшихся вымолить себе жизнь и свободу. А рядом 10 человек в ручных и ножных кандалах ждали казни. Они были повешены в начале весны 1909 года. Во главе их был рабочий социал-демократ Ткаченко - Петренко.

Остальные добились - таки смягчения участи.

Унижение этих несчастных людей было источником непередаваемого торжества для суда и для губернской администрации.

* * *

«Дело 103-х» было создано екатеринославским следователем по важнейшим делам, носившим странную фамилию Шпигановича.

Имея на руках целый ряд незначительных дел об экспроприациях и нападениях на полицию, этот господин задумал построить из них процесс - монстр против анархистов и стал стягивать в екатеринославскую тюрьму подходящий «материал» из Луганска, Харькова, Одессы. Среди привлеченных им были и уголовные - рецидивисты, и типичные «экспроприаторы», и заводские парни - боевики, и простые обыватели, неизвестно почему навлекшие на себя подозрение полиции. Меньше всего было среди них настоящих анархистов.

В основу соединения всех дел в одном процессе Шпиганович положил хронику заграничного анархистского журнала «Буревестник», отмечавшего не только нападения на полицию, но и смелые грабежи, как «проявления анархии». Следователь выбрал из этой хроники десятка три фактов, имевших место на Юге России за 1907 и 1908 г. г., и распределил эти дела между числившимися за ним арестантами, — как распределяет режиссер роли между артистами.

Затем, он привлек к делу некоего Вишневского, железнодорожного сторожа, арестованного, помнится, за кражу доски. Запугав этого человека, следователь заставил его подписать ряд протоколов допросов, дававших «картину» деятельности анархистов в трех губерниях за два года, — картину, которая была целиком выдумана самим Шпигановичем.

Из этих протоколов выходило, что Вишневский знал обо всех задуманных анархистами предприятиях. Идя на террористический акт, анархисты, будто бы, обращались к сторожу с просьбой достать им револьверы и об'ясняли:

— Хотим убить такого то.

А выполнив дело, снова приходили к нему и рассказывали о том, как произошло убийство.

Другие анархисты, якобы, брали у того же Вишневского рубль с копейками взаймы на железнодорожный билет, обещаясь вернуть после экспроприации. И два-три дня спустя отдавали долг, сообщая подробности совершенного налета, при чем эту часть «показаний» Вишневского следователь попросту списывал из хроники «Буревестника».

Но Шпиганович не остановился на этом: чтобы придать делу художественную законченность, он считал полезным установить, что все обвиняемые предварительно сговорились между собой и выполняли общий план. Сообразно с этим, он написал протокол допроса, в котором Вишневский рассказывал о собрании анархистов, происходившем, будто бы, в 1906 году на квартире рабочего Онуфрия Галковского. Присутствовало свыше 50 человек. Свидетель всех их называл по имени, отчеству и фамилии, отмечая относительно некоторых: «стольких то лет», или: «розыскиваемый полицией по такому то делу», или: «крестьянин такой то волости», или: «уклонившийся от явки на военную службу».

На это собрание Вишневский, по словам протокола, попал случайно: зашел в праздник к Галковскому, не зная, что у него собрался народ, а потом остался слушать речи. И он на память пересказывал эти речи: надо убить такого то, надо устроить экспроприацию там то и там то.

Следствие было закончено. Обвиняемые получили копии касающихся их свидетельских показаний.

Онуфрий Галковский, сидевший со мной в одной башне, передал мне бумаги, прося совета. Я спросил у него:

— Откуда Шпиганович узнал о происходившем у вас собрании? В группе была провокация?

— Да не было у меня никакого собрания! У меня на квартире не то что 50 человек, и 6 человек не поместятся: кухонька да одна комнатушка, а в ней кровать да два стула всей мебели!

Я ухватился за эту подробность и предложил Галковскому попробовать разбить обвинение до суда.

Вишневский сидел в камере «скрывающихся». Послали ему записку: «Зачем, мол, оговорил невинных людей?»

Он ответил длинным письмом:

«Господин следователь меня так запутал, что я и сам не знаю, что подписывал, а больше подписывал, не читая. Только на суде я покажу всю правду перед иконой, что сам невиновен, и виноватых не знаю, а все делал г. Шпиганович, говоря, что хочет меня повесить, а у меня семья на воле».

Вооружившись этим письмом, мы подали в Судебную Палату ряд прошений — от имени нескольких обвиняемых — с ходатайством о возвращении дела для доследования и об из'ятии его из рук Шпигановича.

Прошения возымели действие. Другой следователь получил поручение осмотреть квартиру Галковского и подтвердил, что собрание в ней происходить не могло.

Дело было сорвано. Человек 20 было освобождено, некоторые пошли в административную ссылку, другие впоследствии судились небольшими группами по различным делам . . .

* * *

Почти все время в екатеринославской тюрьме свирепствовал тиф.

Весной 1908 года эпидемия пошла, было, на убыль. Но после 29 апреля, когда больных перестали отправлять в барак, и в тюрьме воцарился режим избиений и голода, болезнь снова усилилась.

Каждый день выносили 2 — 3 покойников. На этой цифре держалась смертность всю зиму 1908 — 1909 г. г. Весной эпидемия усилилась. Умирало уже по 5 — 6 человек в день. Затем — новый скачек смертности: за два дня умерло 23 человека . . .

Всего при мне умерло от тифа около 1200 чел., — еслибы на место умерших не приводили вновь арестованных, тюрьма опустела бы...

Казалось, стены тюрьмы настолько пропитались ядом заразы, что из них не было другого выхода, кроме дороги на кладбище.

Но — странное дело — эпидемия свирепствовала не с одинаковой силой в различных камерах. Всего беспощаднее косила смерть каторжан-кандальщиков в переполненных общих камерах. В политических камерах, где благодаря передачам с воли, заключенные питались немного лучше, смертность была меньше. В башнях заболели лишь немногие. А в одиночках «заднего строения», помнится, не заболел никто.

Никаких мер против эпидемии администрация не принимала. Цифры 11—12—13 умерших в сутки — не поражали никого в городе, где еще недавно военный прокурор — в одном только горловском деле — требовал 132 смертных казней.

Но вдруг положение переменилось: началась энергичная борьба с тифом, улучшили пищу заключенным, удлинили прогулку, стали чаще водить в баню, раздавали по три раза в день кипяток, дезинфецировали белье и матрасы, стали кропить по углам карболовой кислотой, начали даже освобождать подследственных под залог, в видах сокращения тюремного населения.

Что вызвало этот прилив человечности?

Пустой случай! Приехал в тюрьму губернатор, представительный старик генеральского склада, с багровым лицом и седыми усами. В камеры он не заходил, лишь обошел корридоры. А несколько дней спустя он уже лежал в тифу. Весть о том, что губернатор заразился сыпняком, вызвала в тюрьме ликование. Теперь у заключенных была одна мечта, — о том, чтобы губернатор умер: чувствовали, что в этом — спасение.

И, действительно, когда губернатор умер от тюремного тифа, администрация решилась принять меры борьбы с заразой, и эпидемия прекратилась.

* * *

Под следствием я просидел 1 год 4 месяца. Мое дело разбиралось в военно-окружном суде. Судили меня за принадлежность к с.-д. партии, по 1 части 102 ст. Уг. Ул., вместе с товарищами, арестованными при обеих типографиях и при архиве.

Обвиняемых было шесть: Алексееева и Мухаревер, муж и жена Хилькевичи, студент Александрович и я.

В смысле судебном дело было малоинтересное. Александровича и жену Хилькевича суд оправдал, остальных всех приговорил к 4 годам каторги. Мухареверу, как малолетному, каторгу заменили тремя годами тюрьмы и засчитали предварительное заключение. Но здоровье юноши было уже окончательно разрушено заключением.

После суда мое положение в тюрьме стало щекотливым: как кандальщик, в общей каторжной камере, я должен был утратить тот своеобразный «имунитет», который охранял меня от мести Белокоза и его дружины. Я настроился на лад «будь что будет», и с этим настроением шел в тюремную контору на «приемочную комиссию». В комиссии заседали трое: врач, начальник тюрьмы и тюремный инспектор, господин довольно добродушного вида, которого до этого дня я ниразу не видел изблизи.

Совершенно неожиданно для меня, инспектор предложил комиссии освободить меня от ношения кандалов в виду ревматизма, — хотя ни на какую болезнь я не жаловался и ревматизмом в жизни своей не страдал. Комиссия с инспектором согласилась и признала меня «к ношению кандалов неспособным».

Затем, меня переодели в каторжанское тряпье, но не перевели в общую камеру, а оставили в башне, — повидимому, опять таки по приказанию инспектора [1]).

В башне летом было нестерпимо душно, а зимой вода текла со стен и собиралась лужами в выбоинах каменного пола. В особо холодные дни стены замерзали кругом, так что заключенные оказывались как бы в ледяном мешке. Печь отапливалась с корридорчика, соединявшего круглую камеру башни с общим корридором. На печь полагалось четыре полена в день. Но дрова выдавались сырые, промерзшие, и пользы от них было мало. Полагалось топить печь утром. Но мы прятали дрова до вечера, и уже после поверки обливали их керосином из лампы и зажигали в печи. Когда дрова загорались, мы открывали дверцу печки и садились перед нею на пол, поочередно грея у огня руки, прежде чем лечь спать. Здесь я схватил лихорадку, которая трепала меня почти полгода.

Но несмотря на все, в башне было значительно лучше. чем в соседних общих камерах, где в то время сидело по 100—120 человек.

* * *

Во время моего содержания в башне, разыгралась в тюрьме одна не совсем обычная история, о которой я хочу вкратце рассказать здесь.

Я упоминал уже о том, что в конце 1908 года избиения заключенных были прекращены вмешательством высшего начальства. Надзиратели не скрывали своего недовольства этим вмешательством, как умалением их прав и вольностей. Белокоз не раз грозился в общих камерах:

[1]) Этот тюремный инспектор, вообще, склонен был оказывать некоторые послабления заключенным — интеллигентам. А ко мне он относился с особым вниманием, как к автору разоблачений, благодаря которым он получил назначение в Екатеринослав, и в серьезности которых он смог убедиться в ходе расследования.

— Вы на своих защитников не больно надейтесь. Бить вас нельзя? Так пороть будем. Розгами! По закону [1]).

Другие надзиратели говорили:

— Это вам ненадолго, — снова на нашей улице будет праздник. Опять вас с бомбами или револьверами застукаем, — тогда отыграемся.

А в тюрьме было свыше 400 человек подследственных со смертными статьями, свыше 100 человек каторжан-вечников. Все — люди, которым терять было нечего. В камерах «скрывающихся» (на тюремном жаргоне «сучьих кутках») сидело свыше 60 провокаторов, доносчиков, кандидатов на должность палача. Они жили в вечном страхе перед остальными арестантами и готовы были на что угодно, чтобы насолить тюрьме.

Естественно было опасаться, что Белокоз и его «боевая дружина» используют эту обстановку с тем, чтобы подстроить в тюрьме новую бойню.

Мы, политические, были на чеку и старались следить за неустойчивыми и авантюристическими элементами тюрьмы, предупреждая их против провокации.

В начале весны 1909 года моя сопроцесница Алексеева, сидевшая в «заднем строении», получила с воли, от мужа, два письма, которые были переданы ей в тот же день, как они пришли в тюрьму. В первое письмо был вложен клочок бумаги с надписью:

«Это письмо должно итти к жандармам, но вы получаете его сразу, никто его не читал». Подпись: «Ваш доброжелатель».

Во втором конверте оказалась записка:

«Это письмо вы получаете тоже помимо жандармов. Так будут итти все письма вашей камеры. Можно и ваши письма посылать без цензуры, если вы напишите на конверте, в верхнем углу справа, букву «Б». Напишите на волю, что письма, помеченные этой буквой, будут передаваться

[1]) Он повторял эту угрозу и в женских камерах.

без промедления, и никто их не будет читать. Ваш доброжелатель Б.»

Подозревая ловушку и желая вывести таинственного «доброжелателя» на чистую воду, Алексеева отправила на волю письмо невинного содержания, пометив конверт условной буквой, и на свидании передала, чтобы с воли ей послали письмо — тоже совершенно цензурное — с такой же пометкой.

Ответное письмо пришло очень быстро, — и опять с запиской:

«Видите, я исполнил свое слово. Вы можете положиться на меня. Что я обещаю, то сделаю. Преданный вам и вашим друзьям В. Б.»

Кажется, в этой же записке — или, может быть, в следующей была еще такая фраза:

«Передайте это г-же Соломахиной».

Соломахина сидела в одной камере с Алексеевой. Это была молодая девушка, дочь сельского священника, приговоренная к смертной казни за участие в аграрных беспорядках 1905 г. и получившая, в виду несовершеннолетия, замену казни бессрочной каторгой. У нее начинался туберкулез, но, несмотря на болезнь и арестантское платье, она была очень хороша собой, — с пышными золотистыми волосами, с нежным овалом лица и детски-наивными голубыми глазами. И помимо счастливой наружности, это была славная девушка.

Прошло несколько дней. «Доброжелатель» становился все настойчивее. Его записки появились и в следственной камере, у одного анархиста-смертника.

Наконец, пришло предложение бомб. Это было целое послание, вложенное в письмо Алексеевой, но адресованное не ей, а Соломахиной.

«Многоуважаемая г-жа Соломахина. Вы могли убедиться, что я, действительно, преданный вам доброжелатель и друг. Поэтому позволяю себе обратиться к вам с этим предложением. Я хочу помочь вам вырваться из этого

ада. Для этого я мог бы перенести в тюрьму револьверы и бомбы. Напишите вашим друзьям на воле, чтобы они доверились мне, и дайте мне их имена и адреса, где я мог бы встретить их, а также пароль. Я выдам им планы тюрьмы, а они передадут мне оружие для вас и для тех смелых товарищей, которые решатся бежать вместе с вами. Для себя я прошу одной милости: дать мне самую сильную бомбу и поставить меня в день побега на самом опасном посту. Я с наслаждением брошу бомбу в контору тюрьмы и взорву всех, кто там находится, и буду счастлив погибнуть за вас.

Преданный Вам
Василий Будиленко».

Мы получили одновременно: имя таинственного «доброжелателя» и исчерпывающие доказательства провокации.

Выдав себя, Будиленко не мог дальше тянуть игру. Можно было ожидать, что в ближайшие дни он сделает сходные предложения смертникам. А полной уверенности в том, что мы следим за **всей** его перепиской с заключенными, у нас не было. Это обязывало нас к поспешным действиям.

Прежде всего, необходимо было точно установить личность Будиленко.

В тюрьме был один вполне порядочный надзиратель; помнится, фамилия его была Дутиков; он разносил по камерам письма.

Когда он принес письма в нашу башню, я спросил его, кто такой Будиленко. Надзиратель ответил, что никакого Будиленко в тюрьме нет, а есть Будилов, новый помощник начальника, заведующий арестантскими делами и почтой.

Различие в окончании фамилии не удивило меня: было естественно, что малоросс Будиленко на службе именовал себя на великорусский лад, а в частной переписке писал свое имя по-украински. А нового помощника мы прекрасно знали (не знали только его фамилии). Он поступил в

тюрьму из полиции и отличался грубостью в обращении с заключенными...

Около этого времени один из заключенных в следственной камере получил из тюремной конторы бумагу — кажется, отказ на какое то прошение — за подписью Будилова. Подпись была с росчерком, нельзя было разобрать окончание имени, но первые пять букв — Будил — были выписаны вполне отчетливо. Устроили экспертизу, сравнили подписи под бумагой, полученной из конторы, и под письмом Соломахиной. Тождество почерка было вне всякого сомненья.

Тогда, после совещания, в котором приняли участие эсдеки, эсэры и анархисты, мы решили вызвать в тюрьму прокурора и передать ему весь материал с просьбой оградить тюрьму от готовящейся провокации.

Переговоры с прокурором были возложены на ссыльно-поселенца Пригару, социал-демократа большевика, сидевшего в «заднем строении». Он подал в контору тюрьмы заявление о желании видеть прокурора по важному делу. Прокурор приехал в тюрьму, прошел в одиночку к Пригаре и, отослав надзирателей, долго беседовал с ним.

А вечером во двор тюрьмы были введены солдаты. Оцепили тюремную контору и приступили к обыску в ней.

Мы торжествовали.

Но утром по тюрьме разнеслась весть: в результате обыска арестован брат помощника Будилова, 16-летний мальчик, работавший в тюремной конторе в качестве младшего писаря!

Это было совершенной неожиданностью. Никто из нас не подозревал о существовании этого юноши, знали лишь его брата.

Начали собирать справки и узнали следующие подробности.

Помощника начальника зовут Дмитрием, а его младшего брата Василием. Между братьями открытая вражда: Дмитрий не раз, на глазах надзирателей, бил Василия по лицу. Василий не имел ни квартиры, ни собственного угла, и спал на лавке в канцелярии. Работал он за нищенское вознаграждение, главную часть которого составляло довольствие из арестантского котла.

И еще одна подробность: при обыске в его мешке нашли кучу истрепанных брошюр — Шерлока Холмса, Ната Пинкертона.

На вопрос прокурора, вел ли он нелегальную переписку с заключенными и с какой целью, юноша ответил:

— С заключенными переписывался, так как сочувствую им и хотел их освободить.

На вопрос, почему он обратился со своими предложениями именно к Соломахиной, он отвечать отказался.

После допроса его арестовали и отправили в 4-ую часть.

Там он просидел с полгода, после чего его перевели в тюрьму и поместили в башне, — через корридор против той башни, в которой сидел я. На прогулках я встречался с ним.

Он производили впечатление юноши с добрым сердцем и с твердым характером. Не могло быть сомнений в искренности его побуждений в злосчастной переписке. Я рассказал ему, при каких условиях мы передали его письмо прокурору. Он ответил, что много думал о случившемся и убедился, что мы были совершенно правы, так как имели основания заподозрить провокацию и должны были принять меры предосторожности. Он об'яснил мне и непонятную историю с экспертизой почерка: на арестантских бумагах он расписывался за своего брата Дмитрия Будилова. Больше мы не возвращались к этому тяжелому делу.

Товарищи предложили Василию войти в камерную «коммуну». Он сперва отказывался из гордости (так как не получал никаких передач), потом согласился. Он много читал, учился, заметно развился, возмужал в тюрьме.

Продержали его больше года, затем дело было прекращено: следователь по особо важным делам — умный и честный старик — занимавшийся этим делом, разгадал его основу: увлечение бедного, забитого мальчика каторжанкой-

вечницей, нежная красота которой должна была особенно поразить его на фоне тюремной грязи, грубости, жестокости. Василий упорно возражал против этого предположения следователя, но самое упорство его явилось для старика подтверждением правильности его догадки, и он решил дело до суда не доводить.

Когда Василий в мае 1910 года вышел на свободу, его тотчас же устроили на частную службу, — хотелось верить, что трагическое недоразумение, за которое он поплатился годом тюрьмы, помогло ему вырваться из ненавистной среды . . .

* * *

Поздней осенью или в начале зимы 1909 года меня взяли на этап: предстояло отправляться в Новгород на выездную сессию Петербургской Судебной Палаты по старому боровенковскому делу. Палата вызывала меня по ошибке, не зная о том, что екатеринославский приговор поглощает наказание, грозящее мне по 129 ст. Уг. Ул. за пропаганду среди крестьян.

Описывать путешествие не буду.

В Новгородской тюрьме меня поместили с уголовными. Компания оказалась пренеприятная.

На проверку явился старший надзиратель, — маленький, сухонький старичек с бритым подбородком и длинными усами. На мое заявление о переводе в политическую камеру он сердито сказал:

— Знаю петербургскую политику. Голенища стянет, — и уже политик. Нет, ты мне бумаги покажи.

Я пред'явил ему свой каторжанский билет с ссылкой на 102 статью, но оказалось, что этой статьи старик не знает. Взяв билет в контору, он обещал:

— Если вы политический, к политическим пойдете, а если ты уголовный, здесь останешься.

Час спустя меня перевели в политическую камеру, — на крепостной корридор.

В камере было, кроме меня, семь человек, из них трое солдат. Все трое имели по $3\frac{1}{2}$ года дисциплинарного баталиона за оскорбление лиц царствующего дома, — самого царя, царицы и великих княжен. Всем трем инкриминировалось произнесение одного и того же нецензурного слова.

Режим в тюрьме был легкий. Продолжительная прогулка, ежедневная выписка продуктов, а, главное, в обращении стражи с заключенными не было той грубости, той озлобленности, к которым я привык в Екатеринославе.

Старший надзиратель, при более близком знакомстве, оказался на редкость хорошим человеком. К политическим он относился, как к «умственным людям», а на уголовных смотрел по народному, как на «несчастненьких». Он был очень честен и строго следил за надзирателями, чтобы те не крали, повторяя:

— Если ты у вольного украл, — ты вор. А если у арестанта украл, — то совсем ты подлый человек.

Среди уголовных он пользовался большим авторитетом. Когда какой нибудь «иван» вступал с ним в спор, он подымал правую руку, пересеченную глубоким красным шрамом, и, указывая на шрам, кричал:

— Видишь? Ну, и молчи!

И уголовный умолкал.

Товарищи об'яснили мне этот жест. Несколько лет тому назад, при приемке партии перед воротами тюрьмы, один арестант бросился бежать. За ним погнались солдаты и надзиратели, в том числе и старший. Первым настигли беглеца солдат и старший. Солдат замахнулся на арестанта шашкой, старший крикнул ему:

— Стой! Не смеешь бить.

Солдат пришел в ярость:

— Не смею бить? Так вот же!

И он с плеча рубнул прямо по голове арестанта. Но старший успел подставить руку под шашку и отвел удар.

После этого старший надзиратель стал в глазах уголовной шпаны героем. И он нашел способ держать эту шпану в повиновении. Своей изувеченной рукой он напоминал уголовным:

— Я себя не пожалел, чтобы в а ш е г о от смерти спасти. З н а ч и т, должны теперь вы меня слушаться...

В нашей камере были книги, был стол, можно было писать, заниматься.

Заключенные жили коммуной. Крепостники, вместо тюремного пайка, получали по 20 копеек в день. Покупали через надзирателя продукты на базаре и варили обед на керосинке, исполняя по очереди обязанности повара.

В начале декабря состоялся мой суд. Дело было назначено к слушанию при открытых дверях. За смертью А. Литкенса (Евгения) я был единственным обвиняемым. В качестве свидетелей было вызвано человек 10 крестьян деревни Хорино. В зал суда набралось много публики — из местной интеллигенции. Но заседание продолжалось не более 5 минут. В самом начале, на вопрос о моем звании, я ответил:

— Лишенный прав состояния, каторжанин.

Среди судей произошло движение. Товарищ прокурора предложил прервать слушание дела до получения официальной справки по этому новому обстоятельству. Заседание было закрыто. А неделю спустя, на распорядительном заседании, Палата решила прекратить дело.

* * *

Товарищи по камере много раз просили меня рассказать им об екатеринославской тюрьме, о бойне 29-го апреля, о военных судах и, в особенности, о смертных казнях. Сперва я избегал разговоров на эти темы. Но после суда согласился прочесть «доклад» о смертной казни.

Материала оказалось много. «Доклад» занял два вечера и произвел на товарищей сильное впечатление. Но

еще сильнее подействовала на меня самого необходимость воскресить в памяти картины, оставшиеся позади меня, в Екатеринославе. Явилась острая потребность в с е м сказать о том, что видел я в Екатеринославе, и я сел писать обширную статью, которой дал название «Среди виселиц» [1]). Эта работа нервно измучила меня.

В заключение статьи я писал:

... «перешагнув через тюремный порог, не уйдешь от этого кровавого ужаса. Ужас положения не в том, что здесь, вблизи, совершаются убийства людей через посредство палача, и я не могу помешать этим убийствам. Ужас в том, что эти убийства, вообще, совершаются... Я мог бы быть далеко, мог бы быть по ту сторону тюремной стены, мог бы не видеть, не слышать ничего. Было-ли бы это лучше для меня? Нет! Ибо ничего нет отвратительнее спокойствия человека, основанного на том, что человек не видит и не слышит того, что происходит вдали от него. Пусть в куски рвется сердце, но человек должен все видеть, все слышать. Это лучше, чем благополучное существование с закрытыми глазами и заткнутыми ушами».

Переправив (нелегальным путем) статью на волю, я в тот же день подал начальнику тюрьмы прошение об обратной отправке меня в Екатеринослав.

В московской пересыльной тюрьме нашли, что я иду не по форме: заковали меня и отобрали очки.

В Екатеринослав я прибыл в сочельник. Рождество провел в пересыльной камере с уголовными. Там же встретил 1910 новый год. Вскоре после этого меня перевели в башню, в которой я сидел до отправки в Новгород.

С месяц еще ходил в кандалах: администрация ждала, чтобы я подал заявление о расковке, а я такого заявления не подавал, считая неправильным постановление приемочной комиссии об освобождении меня от кандалов. Перед посещением тюрьмы каким то начальством в нашу башню

[1]) Позже она появилась в «Вестнике Европы» под измененным заглавием «Смертники».

прибежал Белокоз и поспешно потребовал меня в кузницу, при чем об'яснял мне во время расковки:

— Вы должны были сами заявить... Мы не обязаны о каждом заключенном особо помнить.

* * *

В 1909—1910 г. г. в екатеринославской тюрьме оказалось не меньше 500 человек, осужденных на каторжные работы. Но никаких работ не было: заняты были лишь уборщики, повара, хлебопеки, да еще 5—6 человек в швальне, столько же в сапожной мастерской, 3—4 человека в кузнице и 2 человека в мастерской, изготовлявшей гробы. Остальные заключенные ничего не делали, и для них вынужденное безделье в переполненных, отравленных камерах было хуже всякого подневольного труда.

В начале 1910 года, по распоряжению тюремного инспектора, в тюрьме были открыты столярно-плотницкие мастерские. Городское самоуправление дало им заказ на газетные киоски и рыночные рундуки (для торговли мясом и овощами).

Во дворе тюрьмы появились доски, бревна, застучали топоры, завизжали рубанки и пилы, забелели стружки и смолистые щепки.

Работали, главным образом, уголовные. Но пускали в мастерские и политических. В числе других попал в плотницкую артель и я. Для меня было вопросом самолюбия работать, не отставая от заправских плотников. А это было не так легко: мне пришлось порядком помучиться, прежде чем я достиг желательного числа распиленных и оструганных за день досок. Да и то чистотой отделки мои доски не отличались до самого конца.

Уголовные на работе относились ко мне дружелюбно: охотно помогали, показывали, как работать, оттачивали иступленный инструмент. А когда кончилась заготовка материала, и работа стала более разнообразной, старались предоставить мне такую часть работы, которая была бы по моим силам. Так, например, поручали мне обшивать рундуки выстроганными «под вагонку» досками. При этом старший артели, передавая мне ящик с гвоздями и молоток, отмечал:

— Дело, на вид, не хитрое. А без образования никак не потрафишь, чтобы доска к доске ровно лежала. Как раз для вас работа.

Венцом моих честолюбивых мечтаний было — научиться владеть топором и тесать по шнурку бревна. Для читателя, не посвященного в тайны плотничьего ремесла, поясню, что топор — самое универсальное орудие в умелых руках и самая бесполезная вещь в руках новичка. Я в этом убедился на личном опыте. Мало было научиться держать топор и направлять его так, чтобы удары отделяли щепу по намеченной линии. Нужно было еще привыкнуть работать, согнувшись в три погибели над бревном. Привык я и к этому, спина окрепла, и мне удалось под конец отесать с четырех сторон целое бревно, — правда не совсем ровно, но так, что оно пошло в дело.

В камеру я возвращался, еле держась на ногах от усталости, не мог поднять руки, чтобы повесить на колышек бушлат. Но к утру усталость проходила, руки начинали двигаться.

В общем, эти весенние месяцы, когда я работал до изнеможения, как плотник, были лучшим временем за 2½ года, проведенные мною в екатеринославской тюрьме.

В начале июня 1910 года меня отправили в Сибирь, в Александровский каторжный централ, о котором у нас, в Екатеринославе, ходили смутные, противоречивые слухи.

VII. В АЛЕКСАНДРОВСКОМ ЦЕНТРАЛЕ

По этапу. — Солнце. — Первые впечатления в централе. — «Коллектив». — 12-ая камера. — Заключенные и администрация. — Вольная команда. — Первые командовцы. — В собственном доме. — Село Александровское. — Сенокос. — Политическая колония.

Переполненный, грязный арестантский вагон. Неделя ожидания в самарской тюрьме. Снова вагон, — как сновидение, мелькнули сквозь решетку окна темнозеленые склоны Урала и реки в глубине тенистых ущелий. Остановка в Челябинске, остановка в Красноярске. И опять арестантский вагон, а за решеткой стена беспредельной тайги...

От Екатеринослава до Иркутска ехали месяца полтора.

Кого только не было в партии! Закованные по рукам и ногам каторжане-обратники, гордые кандалами, как знаками боевых отличий. Семейства крестьян — бородатые мужики, бабы, малые дети, выселяемые в Сибирь за «порочное поведение», — чаще всего, за ссору с кем нибудь из деревенских властей. Аграрники, молчаливые, сумрачные, полные страха перед таинственной Сибирью. Солдаты и матросы-повстанцы. Смуглые, оборванные кавказцы, не понимающие ни слова по русски и не знающие, куда и зачем их везут...

До Челябинска политических было немного. Позже в партию влилось человек десять политических каторжан из Тобольска.

Настроение в партии было тяжелое, напряженное. Уголовные «иваны» задирали политиков, грозились, сквернословили.

В Екатеринославе мне приходилось наблюдать подобную ненависть уголовных к «политике» лишь в первые дни после взрыва 29-го апреля, когда уголовные считали, что политические «подвели» тюрьму. В Сибири эта вражда была глубже. Здесь до революции 1905 года уголовный мир представлял своеобразное государство, деспотически управляемое олигархией хищников-«иванов». После 5-го года, когда суды начали тысячами отправлять на каторгу участников революционного движения, царству «иванов» пришел конец. Местами они пытались сохранить свое господство, — разгоралась борьба, дело доходило до ножей, но верх остался за политическими. «Иваны» превратились в низложенных властителей: они сохранили свои гордые повадки, удержали вокруг себя кучку почитателей и льстецов, но утратили выгоды действительной власти. Отсюда шла их ненависть к политическим.

В партии, с которой я шел, положение обострялось из за присутствия тобольчан. Среди них был эсер Иван Кашин, рослый, веселый парень, которому уголовные еще в Тобольске вынесли смертный приговор. В пути «иваны» следили за каждым его движением, улучая момент для нападения. Но Кашин умудрился пронести с собой, несмотря на обыски, сапожный нож и был готов к обороне. Были готовы к столкновению и другие политики.

Под конец, «иваны» отступились, решили не связываться. Но дней пять мы провели в ожидании свалки и поножевщины.

* * *

Яркое воспоминание оставила дорога от Иркутска до Александровского.

Вышли из тюрьмы на рассвете. Накануне ночью шел дождь. Против тюремных ворот стояла огромная, во всю ширину улицы, лужа. Конвой заставил арестантов строиться

в воде по щиколодку. Ругательства, угрозы. Гонят, как стадо баранов.

Перешли через мост над Ушаковкой, выходим из города. Дорога подымается в гору. За выгонами потянулись поля. Солнце начинает припекать... Это было какое то новое ощущение. Шел всего третий год с моего ареста, но чувство было такое, как будто десятки лет я не ощущал на лице солнечных лучей...

Дальше начался лес, чудесный сибирский лес, с голубыми мохнатыми кедрами, с пушистыми лиственницами, с сочной зеленью березы и ольхи, с красными огнями шиповника, с волшебным цветочным ковром у ног деревьев-великанов.

Дорога шла перевалами с холма на холм. И с каждым новым под'емом картина становилась величественнее и прекраснее.

За первый день прошли сорок верст. С непривычки, после тюрьмы, устали, выбились из сил. Еле-еле добрались до места ночевки.

На другой день итти было труднее. Приходилось чаще останавливаться для отдыха. Сильнее пекло солнце. Когда под вечер добрались до Александровского, почти у всех ноги были в ранах. В корридоре тюрьмы, в ожидании переклички, лежали на полу, и путь через внутренний двор до «карантина» казался бесконечно длинным.

Но в памяти навсегда запечатлелись эти два дня пути, пронизанные солнцем, — такой впервые представилась мне Сибирь.

* * *

В карантине спать пришлось на полу, так как уголовные успели захватить все места на нарах. Но доски пола были белые, протертые песком. В камере не было обычной в пересыльных помещениях грязи.

Утром вызвали меня к двери. За решеткой человек в арестантской одежде, в кандалах. Тонкое нервное лицо, пенсне на черном шнурке.

— Сколько у вас в партии политических? Составьте список, отметьте, кто кого знает из здешних политических, имеет ли деньги, может ли руководить кружковыми занятиями.

— Зачем все это?

— Для распределения по камерам. Я староста политического коллектива Саур-Снегульский.

Я не знал ничего о существовании в Александровском централе «политического коллектива», да и имя Саура я слышал в первый раз. Принялись все же составлять список. «Иваны» смотрели на нашу работу с нескрываемой враждой. Ворчали:

— Что-же, пишите! Тут вам раздолье, тут политические на больничной порции сидят, — только для нашего брата белого хлеба не хватает.

Перед обедом пришел к двери карантина другой староста «коллектива», — уже не молодой, полный, с физиономией добродушного барина, с проседью в волосах и в бороде. Это был московский присяжный поверенный В. А. Жданов. Он принес нам махорки, чаю, сахару. С надзирателями он обращался, как снисходительный ласковый начальник с подчиненными.

Странные порядки!

Но чуть ли не на второй день у нас вышло столкновение с администрацией этой необыкновенной тюрьмы.

На поверке мы потребовали возвращения подкандальников, отобранных при приемке партии, и расковки тех, кто уже отбыл кандальный срок и был закован только для дороги. Старший надзиратель грубо отказал. Кашин что то ответил ему, — и старший забрал его в карцер. Вызвали помощника начальника, и я принес ему жалобу. Выслушав, помощник распорядился взять в карцер и меня. Тогда товарищи послали депутацию из четырех человек к началь-

нику для об'яснения, — начальник отправил в карцер всех четырех. Оставшиеся в карантине политические хотели, было, об'явить голодовку, но прибежали Саур и Жданов и об'яснили, что это — недоразумение, которое они немедленно уладят путем переговоров. И, действительно, в тот же день часть прибывших была раскована, другие получили подкандальники. Но освободить нас из карцера начальник наотрез отказался, ссылаясь на престиж власти.

В карцере было абсолютно темно. Но воды на полу не было: это не был каменный мешок, как в Екатеринославе, а обыкновенная камера, только без окон.

Мы провели в ней с неделю. При освобождении из карцера, на корридоре, меня встретил Саур, принявшийся горячо доказывать, что недоразумение произошло по нашей вине: мы, дескать, не должны были действовать помимо существующей организации, а кроме того, старосты ничего не могли сделать для нас, так как столкновение произошло в карантине, не принадлежащем к числу камер «коллектива».

Я внутренне посылал его ко всем чертям: после недели темного карцера «коллектив» казался мне учреждением довольно двусмысленным.

В ближайшие дни это впечатление рассеялось, и я превратился в горячего патриота александровской организации политических.

* *

Я не был свидетелем зарождения «коллектива» и плохо помню, что рассказывали мне о возникновении его старожилы Александровского централа. Кажется, возник «коллектив» в 1908 или 1909 году. Первоначальная идея его сводилась к выделению политических в особые камеры. Политические добились этого, главным образом, благодаря энергии и настойчивости Н. А. Снегульского («Н. Саур»). Это был молодой газетный работник эсэр, приговоренный к смертной казни за участие в восстании Ростовского Гренадерского полка в ноябре 1905 г. и получивший замену виселицы бессрочной каторгой.

«Н. Саур» был талантливой натурой, — писал стихи, рисовал, самоучкой играл на скрипке и был чрезвычайно занимательным рассказчиком. Но было в нем нечто хлестаковское: в разговоре он легко увлекался и тогда уже сам не замечал, что соответствует действительности, а что относится к области «нас возвышающих обманов».

Смотритель централа, с которым Снегульский вел переговоры о выделении политических, проникся исключительным уважением к блестящему каторжанину-вечнику и решил, что он — «самый главный среди революционеров», и что «у него большие связи при дворе». Не знаю, поддерживал ли его Снегульский в этом мнении, но разубеждать смотрителя он, во всяком случае, не пытался.

Политических собрали в отдельные камеры, предоставили им отбирать своих из вновь приходящих партий и передали в их руки тюремную библиотеку.

С прибытием в централ Жданова положение «коллектива» еще более окрепло. Известный московский адвокат Жданов был приговорен к каторге за какую-то экспроприацию, в которой принимал участие... его рысак. Он считал себя партийным человеком, социал-демократом. Но, на самом деле, он был типичным московским барином-демократом. С одинаковым увлечением он спорил с товарищами об эмпириомонизме, толковал с цыганами-конокрадами о лошадях и играл в шашки с надзирателем. В тюрьме его любили, и он умел, как никто, улаживать недоразумения с администрацией.

Жданов и Снегульский вели, в первый период существования «коллектива», все переговоры с начальством. Внутренняя же работа по сплочению политических, по уста-

новлению основ общежития лежала, главным образом, на Е. Тимофееве [1]).

Летом 1910 года в «коллективе» числилось 150—200 человек, распределенных в 5 или 6 камерах. Принимали в «коллектив» с разбором: не имели доступа в организацию ни «подаванцы», ни эксисты, ни лица, запятнавшие себя неблаговидным поведением.

Среди арестантов, стоявших вне организации, раздавались порой нарекания против нее. Говорили, что «коллектив» создает для части заключенных привеллигерованное положение, подслуживается начальству и т. д. Все это был чистейший вздор.

Правда, в камерах «коллектива» было лучше, чем в других камерах. Но это потому, что политические поддерживали у себя чистоту, не ссорились, соблюдали тишину.

Правда и то, что администрация относилась к «коллективным» камерам иначе, чем к уголовным. Но проявлялось это в том, что надзиратели не позволяли себе кричать на политических и обращались с ними на «вы».

Добились же политические этих «льгот» тем, что настойчиво требовали вежливого обращения с собою и сами в сношениях с начальством соблюдали сдержанность и корректность.

В остальном, в «коллективных» камерах было так же тесно и душно, так же голодно, как в других отделениях централа, и так же свирепствовали там паразиты...

И все же многих политических александровский «коллектив» спас и физически, и морально. Особенно много сделал он для темных, малоразвитых людей, — рабочих, крестьян, солдат-повстанцев. «Коллектив» вырывал их из под влияния уголовной среды, давал им возможность читать, заниматься, учиться.

Когда я прибыл в Александровский централ, в местной библиотеке было несколько тысяч книг, собранных усилиями политических. Между прочим, здесь был особый отдел без №, известный под названием «отдел точка» (.). Это была гордость «коллектива»: здесь были собраны нелегальные книги, начиная от «Капитала» Маркса до «Записок революционера» Кропоткина.

В политических камерах велись систематические занятия. Проходили иностранные языки (главным образом, по Туссэну), занимались в кружках русским языком и арифметикой, устраивали рефераты по политическим и общественным вопросам.

Был большой спрос на преподавателей, которые могли бы руководить занятиями. Интеллигентов в «коллективе» было много, но они предпочитали уходить в одиночки и в небольшие камеры, так что в общих камерах оказывалась нехватка в руководителях кружков. Рабочие и крестьяне ворчали на это, и чтобы удовлетворить их — как раз перед нашим приходом — им было обещано: поместить к ним всех интеллигентов из следующей партии. Так я попал прямо из карцера в 12-ую камеру, которая считалась в «коллективе» самой демократической.

* * *

В 12-ой камере помещалось больше 50 чел., а временами и до 70-ти чел. Камера была огромная, с нарами вдоль четырех стен, с длинными столами и лавками посередине.

В камере действовала «конституция», — так называлось установленное заключенными расписание часов.

Были часы «полной тишины», были часы «занятий», наконец, были «часы свободы», когда каждому предоставлялось делать, что ему вздумается, — «хоть на голове ходить».

[1]) Он был в 1906 г. приговорен к 5-ти годам каторги за принадлежность к партии социалистов-революционеров и должен был выйти в 1911 году, но перед самым освобождением судился вторично по обвинению в том, что из централа руководил иркутским комитетом эсэров. Суд увеличил ему срок каторжных работ еще на 10 лет, и его освободила — увы, не надолго — лишь революция 1917 года.

Этот порядок, хоть в некоторой мере, смягчал убийственное действие общего заключения на нервы и психику.

Камера имела двух старост — политического и экономического. Первый ведал сношения с администрацией, со старостами «коллектива», с библиотекой, с аптекой. На втором лежали хозяйственные заботы.

Политическим старостой у нас был студент-медик социал-демократ Марков, заботливый товарищ и милый человек. Экономические старосты часто менялись, так как никто не соглашался оставаться дальше 1 — 2 месяцев на этом хлопотливом — хотя и почетном — посту.

Между заключенными были распределены обязанности по поддержанию чистоты в камере. Были «дежурные уборщики», подметавшие камеру и мывшие столы после обеда; «дежурные по бачкам», резавшие хлеб и мывшие посуду; «водоносы», ходившие за водой и за кипятком и выносившие из камеры нечистоты; специальные «дежурные по полу», выступавшие на сцену по субботам, когда в камеру выдавались швабры и песок для мытья пола. Наконец, был еще «дежурный по самовару», матрос Яша Щенин, в свободное время сочинявший вирши по поводу выдающихся событий в жизни камеры.

В камере была установлена «полная коммуна»: все передачи поступали к хозяйственному старосте и делились поровну, порой на кусочки, еле заметные невооруженным глазам. Сахар выдавался к каждому чаепитию счетом: по 1, иногда по 1½ куска на человека. Эта строгая уравнительность была предметом гордости нашей коммуны, так как в других камерах дележ не проводился с такой последовательностью.

Впрочем, передачи с'естными припасами получались не часто. Существеннее была выписка продуктов из тюремной лавочки. И здесь соблюдалось полное равенство, все покупалось по общему камерному бюджету.

Бюджет устанавливался общим собранием на месяц вперед. Кроме получений отдельных заключенных, в него входили суммы, которые присылал московский «Красный Крест».

Нашей мечтой был бюджет в 2 рубля в месяц на здорового и в 3 р. 20 к. на больного. Но во вторую половину 1910 года до этой суммы мы поднялись лишь один раз, а обычно имели по 1 р. 60 к., 1 р. 40 к. и даже 1 р. 10 к. в месяц. Позже дела «коллектива» немного улучшились.

Основной расход составляли «добавочные порции» в постные дни.

Дело в том, что кормили заключенных в централе круглую неделю плохо, а по средам и пятницам в особенности: в эти дни, в ознаменование поста, нам вместо баланды давали мутную воду. Добавлять каждый день к казенному пайку не было средств. Поэтому установился такой порядок: в скоромные дни довольствоваться тем, что дают, а в постные прикупать из лавочки хлеба, колбасы или какой нибудь соленой рыбы, — на 5—6 коп. на человека.

Эти жалкие «дополнительные порции», вместе с чаем и сахаром, требовали от 65 до 90 коп. в месяц. А далее шли почтовые расходы, мыло, иголки и нитки, общий расход на прачечную и — самый сложный вопрос коммунального хозяйства — махорка и спички.

Возникали вопросы: должны ли расходы на табак ложиться на всю коммуну, или только на курильщиков? И еще: распределять ли табак между курильщиками поровну, или ставить его открыто на стол, чтобы каждый мог курить, сколько пожелает? Сделали опыт решения этого вопроса по принципу — каждому по потребностям. Но запаса махорки, расчитанного на целый месяц, хватило лишь на неделю. Пришлось перейти к системе индивидуальных кисетов. За то до конца сохранили обычай покупать табак за счет общекамерного бюджета: этим скреплялась солидарность между курящими и некурящими.

С первого же дня, камера потребовала у меня рефератов по политической экономии. Я просил отсрочки, ссылаясь на необходимость почитать, освежить в памяти предмет. Марков принес мне из библиотеки кучу книг. Общее собрание постановило освободить меня от работ по камере, чтобы ничто не отвлекало меня от подготовки к рефератам. И неделю спустя я начал читать курс по вопросу, которым занимался в университетские годы, а именно по теории ценности в связи с историей народного хозяйства.

Почему то эта специальная тема заинтересовала камеру. Завязались прения. Рамки рефератов раздвинулись. От вопроса о ценности я перешел к теории заработной платы, затем к учению исторического материализма. Втечение двух или трех месяцев рефераты у нас шли не реже двух раз в неделю, а порой и чаще. В промежутке между моими лекциями бундовцы устроили доклад с прениями по национальному вопросу. В другой раз, по желанию анархистов, мы посвятили ряд вечеров беседам о Л. Толстом.

Гулять выходили на огромный двор. Не было в нем ни деревца, ни травинки. Но за тюремной оградой виднелись покрытые лесом горы, и под их зеленым кружевом стены казались менее высокими, менее суровыми.

Как то сразу ударила зима, — выпал снег, начались морозы.

Заключенные не имели ни теплого белья, ни зимнего верхнего платья: холщевая рубаха, такие же подштаники, портянки, суконные штаны, бушлат, коты, рваные варежки — и это все. В виде снисхождения, администрация смотрела сквозь пальцы на то, что некоторые арестанты сшивали себе из портянок подобие носков и переставляли пуговицы на бушлате . . .

В таком одеянии приходилось выбегать во двор при температуре 30 — 40° ниже нуля. Отмораживали себе руки и ноги. Но не помню, чтобы кто нибудь схватил воспаление легких или другую серьезную простудную болезнь.

Многие из заключенных страдали ревматизмом, многие были поражены туберкулезом, но почти все приобрели эти болезни еще в российских тюрьмах, где гигиенические условия были много хуже, чем в Александровском.

Вообще, после зверств и хулиганского озорства Екатеринослава, Александровский централ, несмотря на его переполненные камеры, и царивший в них голод, казался идеалом благоустройства. Недаром и губернское начальство то и дело привозило сюда «знатных иностранцев», с гордостью показывая им «образцовую» тюрьму.

* * *

Очень своеобразны были в Александровском отношения заключенных и администрации.

При мне смотрителем тюрьмы был Снежков, человек без образования, но очень не глупый и по природе не злой. Он никогда, даже в пьяном виде, не позволял себе грубостей по отношению к арестантам, — в особенности, по отношению к политическим, в которых видел людей, «пострадавших за идею». Политические каторжане с некоторым цензом, — бывшие депутаты, присяжные поверенные, журналисты, инженеры, — положительно импонировали ему; с ними он был подчеркнуто внимателен, — недоразумение, происшедшее у нас в «карантине», было в этом отношении исключением, не идущим в счет.

Слабостью Снежкова были «умные разговоры» с приезжавшими в Александровское родными заключенных. Он жаловался им на свое положение, говорил о том, что он, Снежков, лишь исполнитель закона, что он рад возможности соблюдать закон, не отягчая без нужды положение осужденных. Если при этом он бывал выпивши, то увлекался настолько, что начинал плакать от умиления перед собственным благородством . . .

Помощники смотрителя были бесцветные. Интереснее других был заведывавший хозяйством Шеметкин, еле грамотный, но ловкий человек и убежденный вор. Ему никак не удавалось подготовиться к экзамену на классный чин, и он не раз обращался к нашим старостам с просьбой помочь ему по «этому, как его там, с и н к с и к с и с у» и по «андебре». В конце концов, он экзамен все таки сдал.

— Никаких синксиксисов не спрашивали, рассказывал он, вернувшись с экзамена в Александровское, а спрашивали только, чтобы было угощение.

Почти все надзиратели в централе были из александровских крестьян-домохозяев. То и дело соприкасаясь в селе с поселенцами, они привыкли и на каторжан смотреть по-человечески.

Но было среди них сильное течение против «коллектива»: считали, что организация политических ограничивает права надзирателей, стесняет их. Ворчали на Снежкова, как на п о л и т и ч е с к о г о смотрителя...

Вообще, служилое население Александровского делилось на две партии: на сторонников и противников Снежкова. Во главе оппозиции стоял тюремный врач Пляскин, тупой и озлобленный чиновник-неудачник. Его поддерживали офицеры местной воинской команды, считавшие, что Снежков распустил централ.

Из Александровского непрерывно летели в Иркутск доносы. В этой «кампании» участвовали и каторжане из камеры «скрывающихся» («сучьего кутка»): они тоже бомбардировали губернское начальство доносами о том, что централ, мол, находится в руках у политических, что тюрьмою управляет Саур-Снегульский.

Тюремным инспектором в Иркутске в это время был Гольшух, маленький, кругленький человек, формалист, педант и, по долгу службы, черносотенец. Со Снежковым он был в открытой ссоре, стремился выжить его со службы и прилагал все усилия к тому, чтобы уличить его в незаконных поблажках политическим и доказать существование в Александровском незаконной организации политических.

«Коллектив» вынужден был перейти на нелегальное положение. Снежков с к р ы в а л существование его, объясняя начальству выделение политических в особые камеры соображениями удобства надзора. А одно время — в интересах конспирации — в каждую из «коллективных» камер было помещено даже по 5 человек уголовных (по выбору наших старост).

Но было два «вещественных доказательства», по которым губернское начальство могло уличить «коллектив»: это «отдел точка» в библиотеке и самовары в политических камерах.

Об «отделе точка» я уже говорил. Что касается до самоваров, то они появились в «коллективе» еще при предшественнике Снежкова. Это были обыкновенные самовары из оцинкованной жести в 2 — 3 ведра емкостью. Заключенные ставили их после вечерней поверки и, благодаря этому, имели чай перед сном. Никому, казалось бы, это не мешало, но такой порядок не был предусмотрен тюремной инструкцией, и вот, началась переписка: на каком основании выданы государственным преступникам самовары? Снежков легкомысленно ответил, что никаких самоваров в централе нет. Инспектор решил вывести его на чистую воду, — это представлялось ему тем более легким делом, что сам он раньше служил в Александровском тюремным врачом и прекрасно знал, в каких камерах находятся знаменитые самовары.

Завязалась игра в кошки-мышки. Тюремный инспектор старался нагрянуть в централ врасплох и поймать политических за вечерним чаепитием. Но Снежков имел в Иркутске друзей, предупреждавших его об опасности. И каждый раз перед появлением инспектора самовары исчезали из политических камер и отправлялись в надежное место, на чердак. Туда же Саур и Жданов относили наиболее криминальные книги из тюремной библиотеки.

Несмотря на эти меры, война между смотрителем тюрьмы и инспектором окончилась бы, вероятно, победой инспектора, но Снежков нашел могущественного покровителя в лице иркутского генерал-губернатора Князева.

Л. М. Князев, пожилой человек, с белой головой, красивым лицом, умными глазами и полными величавой простоты манерами, был назначен в Иркутск в 1910 г. У этого старика, поседевшего на службе в суде, сохранилось удивительно живое, отзывчивое сердце. На посту генерал-губернатора необ'ятной области, он мечтал об искоренении злоупотреблений, об облегчении участи обездоленных. А среди обездоленных, в его представлении, первое место занимали ссыльно-поселенцы и каторжане.

Снежков, при первом же приеме у генерал-губернатора, завоевал симпатии Князева своим человечным отношением к заключенным и, в частности, к политическим.

Генерал-губернатор был посвящен в тайну существования «коллектива» (быть может, за исключением вопроса о политических книгах в библиотеке) и энергично защищал установившиеся в Александровском порядки против тюремной инспекции, жандармского управления, главного тюремного управления и даже Министерства Внутренних Дел, — ибо борьба, загоревшаяся вокруг коллективных самоваров, дошла до самых вершин бюрократической лестницы, до высших ступеней потербургского Олимпа!

В 1911—12 г. г. гонения против «коллектива» прекратились, благодаря развитию художественной мастерской. В этой мастерской, организованной Сауром, Гоцем и Е. Тимофеевым, производились выжигания по дереву, инкрустационные работы, выделывались шкатулки, бювары. Эти изделия сделались предметом гордости не только александровской, но и губернской администрации. Снежков хвалился ими перед Князевым. Гольшух козырял ими перед Главным Тюремным Управлением. Все были довольны, и политические каторжане получили возможность спокойно читать книги из «отдела точка» и пить чай перед сном.

В это время упрочилась также при Александровском централе политическая «вольная команда».

* * *

Начало «вольной команде» при каторжных тюрьмах Сибири было положено еще Сперанским.

Стремясь к колонизации Сибири возродившимися для честной жизни уголовными преступниками, Сперанский установил такой порядок отбывания каторги, при котором суровость наказания смягчалась постепенно, и осужденный мало по малу возвращался в условия свободного труда: сперва срок «испытания», — кандалы и острог; затем, острог без кандалов; далее, работа вне тюремной ограды под воинским караулом; еще позже, отпуск на вольные работы; наконец, разрешение жить вне острога, в собственной избе, на постройку которой казна давала каторжнику лес и прочие материалы. Впоследствии этот план был частью извращен, частью позабыт. Но при сибирских каторжных тюрьмах уцелели «команды» рабочих, обслуживавших тюремное хозяйство, — огородников, водовозов, конюхов, плотников и т. д., а также писарей, музыкантов.

В забайкальской каторге долгое время существовала «вольная команда» и для политических. Но в Александровском до 1910 года политических в команду не выпускали.

Князев, вступив в управление краем, обратил внимание на это незаконное отягчение наказания политических и запросил мнение по этому вопросу Снежкова и Гольшуха. Снежков оказался сторонником перевода политических в команду, Гольшух высказался против этой меры, сославшись на возможность развращающего влияния политических на местное население и, в частности, на солдат. Генерал-губернатор согласился со смотрителем тюрьмы.

В виде первого опыта, в «вольную команду» были переведены депутаты-втородумцы д-р А. К. Виноградов и

П. Аникин. Вслед за ними, в декабре 1910 года, выпустили из централа В. А. Жданова, долгосрочного каторжанина-эсэра Друганова и меня.

Предполагалось, что в январе в «команду» будет переведено еще несколько десятков человек. Но тюремная инспекция подняла по этому поводу такой шум, что Князев должен был отказаться от дальнейшего расширения команды, и в течение ряда месяцев число политических в команде возрастало очень медленно. Только летом 1911 года было выпущено разом свыше 70 человек в виде артели для уборки сена на арендованных тюрьмою лугах. Но эта мера была тотчас же опротестована из Петербурга. В 1911—12 г. г. в «команде» было, в общей сложности, человек 40 политических. Большая часть их содержалась в рабочих бараках. «Вольнокомандовцами» считались политические, жившие вне бараков и пользовавшиеся правом отлучки в деревню. Таких было, в лучшие времена, человек 15.

Кроме названных выше лиц, в эту группу входили: А. Р. Гоц, ветеринар-аграрник В. Христофоров, втородумец социал-демократ В. А. Анисимов, эсэры А. Кругликов и Б. Иохельсон, слесарь-механик Хаевский, меньшевик А. Горнштейн, большевик Теодорович.

В некоторых отношениях существование команды принесло пользу всему «коллективу»: так, командовцы наладили правильные сношения централа с волей, организовали доставку в тюрьму сперва политических «бюллетеней», затем газетных вырезок, а позже и целых газет. В частности, я лично посвящал этому делу много энергии и считался почтмейстером «коллектива».

В 1911—12 г. г. несколько человек из числа политических каторжан оказались в среднем положении между командовцами и некомандовцами: формально они не числились в команде, но администрация отпускала их на полдня (а то и на целый день) в село к их семьям, жившим в Александровском, в централ же они возвращались к вечерней поверке. Так, на целый день приходил к своей

старушке-матери Саур-Снегульский. А позже, — кажется, с осени 1913 года, — администрация централа выводила партию политических на сельско-хозяйственные работы — в частности, на уборку картофеля. Они обедали в поле, под открытым небом, и возвращались в тюрьму лишь к вечеру.

* * *

Вернусь к положению первых вольнокомандовцев.

Переведя нас во «внетюремный разряд», администрация не знала, что дальше делать с нами: куда поместить, к какой работе пристроить? Разрешение этих вопросов было предоставлено нашей собственной изобретательности.

Сперва нас поселили при тюремной аптеке, в комнате, которая предназначалась, вероятно, для амбулатории или для заведующего аптекой фельдшера.

Но вскоре выяснилось, что пребывание политических при аптеке стесняет начальство в операциях со спиртом и вообще ставит нас слишком близко к жизни служилого мирка села Александровского. Мы принялись искать на тюремной территории такого уголка, где можно было бы устроиться, никому не мозоля глаз.

Централ с его службами и угодьями занимал огромное пространство. Это был целый городок.

На самом краю его, за конным двором и бараками, подле школы, оказался свободный домик. Мы предложили Спешкову перевести нас в это укромное убежище.

Место было чудесное: выступ холма над прудом; вдали, на снежной скатерти, красные стены централа; с трех сторон тайга.

Вопрос о помещении был, таким образом, разрешен. Сложнее оказался вопрос о работе.

Жданов занялся нашей кухней и вкладывал в это дело всю душу. Друганов рисовал что то для художественной мастерской. У Аникина, кажется, был какой то урок.

Виноградов с утра уходил в централ, принимал там больных, лечил чахоточных только что входившим тогда в моду «туберкулином». Христофоров занимался ветеринарной практикой.

По приказанию Гольшуха, Снежков вызвал меня в контору и спросил, чем намерен я заниматься в рабочей команде.

Я ответил:

— Буду писать.

У меня была внутренняя потребность использовать выгоды моего нового положения для разоблачения преступлений, свидетелем которых я был в Екатеринославе.

Работая запоем, в январе я закончил обширный очерк, в котором изобразил горловское дело. Этот очерк летом 1911 года появился в «Русском Богатстве» с довольно значительными цензурными купюрами [1]). В феврале я работал над статьей, в которой хотел восстановить картину екатеринославских избиений. Этой статье не повезло: из за цензурных затруднений она пролежала в портфеле «Русского Богатства» два года [2]).

В конце зимы из казенного домика я перебрался в собственную избу.

* * *

Эта изба имела свою историю.

Когда поднялся вопрос о применении к политическим каторжанам статей о внетюремном разряде, моя сестра, приехавшая в Александровское для свидания со мной, подала Князеву заявление о том, что я хочу, на основании тюремного устава, поселиться в собственной избе, — как

[1]) «Суд победителей», «Русское Богатство», №№ 6-7 за 1911 г.

[2]) «После взрыва», «Русское Богатство», № 8 за 1913 г. Напечатание этого очерка было со стороны редакции «Р. Б.» актом большого гражданского мужества: журналу грозила конфискация, а может быть и привлечение к суду. И редакция сознательно пошла на риск.

это разрешалось политическим «внетюремного разряда» в зерентуйской каторге. Князев на это согласился. Но тюремная инспекция представила какие то возражения, и было решено, что я могу построить себе избу на тюремной земле за свой счет, но при условии, чтоб эта изба была подарена тюремному ведомству и перешла в полную его собственность, а я занимал бы ее лишь в качестве «пожизненного» — до окончания срока каторги — квартиранта.

После этого сестра купила для меня в деревне избупятистенник за 125 рублей. Но когда пришло время перевозить постройку, инспекция заявила, что подходящего места для нее на тюремной земле не имеется. После долгих проволочек все-таки отвели мне клочек земли на крутом косогоре за школой. Пришлось делать глубокую выемку в склоне холма, чтобы получить площадку, пригодную для постройки дома. Затем артель плотников-уголовных разобрала по бревнам купленную в деревне избу, перевезла ее и сложила вновь на приготовленной площадке. Сложили и печь особой системы, изобретенной в «коллективе»; я посадил у крылечка ряд лиственниц и перебрался в новое жилище.

Одно время вместе со мной в избе жило человек 5 вольнокомандовцев, потом я остался один, к лету 1912 года со мной поселился Хаевский, а после моего освобождения здесь было устроено отделение политической художественной мастерской.

В жизни александровского мирка эта скромная избушка играла заметную роль. Она служила предметом бесконечной переписки между Александровском и Иркутском.

За это время я перепробовал множество профессий: работал молотобойцем в кузнице, состоял писарем при цейхгаузе, давал уроки сынишке Шеметкина, измерял тюремный пруд и вычислял быстроту обмена воды в нем, составлял проект лесопильного завода, полол гряды с капустой, был косцом. А втечение полугода положение у меня было совсем странное: мой домик был переименован в б а р а к (не

помню уже, за каким номером), а я был записан «уборщиком» этого барака, с обязательством подметать мусор, приносить воду, колоть дрова, топить печь. В это время, кроме меня, в домике, не было других жильцов, так что вся моя обязательная работа сводилась к тому, чтобы ходить за самим собой! Оставшийся досуг я посвящал литературной работе, — писал о тюрьме [1]).

Несколько месяцев спустя после моего переселения в собственную избу, инспекция распорядилась повесить на наружной двери ее замок и запирать меня на ночь. Практически это меня не стесняло, так как через окно можно было выйти из домика с неменьшей легкостью, чем через дверь. Но вопрос имел принципиальное значение: политических выпускали в команду на честное слово; тюремный инспектор хотел показать, что нашему слову он не доверяет.

Тотчас же я написал заявление смотрителю:

«Повешенный на дверях моего домика замок показывает, что администрация, не веря больше слову политических, хочет иметь дополнительные гарантии против моего побега. Но слово политических не может быть дополнением к казенному замку, и потому отныне я считаю себя свободным от обязательства оставаться в команде. А так как запор на двери, при отсутствии решеток в окнах, явно не может мне воспрепятствовать покинуть команду, когда я того пожелаю, — то прошу либо убрать замок, либо сегодня же перевести меня обратно в централ».

Заявление произвело неожиданный эффект: в тот же вечер замок был снят.

Сильно докучали мне обыски, которые производились без счета. Один раз забрали ворох изрезанных газет. Хотя все прекрасно знали, что мы получаем в команде газеты, но этот провал вызвал целую бурю, и я на три месяца лишился права отлучаться в село.

[1]) «По этапу» («Р. Б.», 1911 г.), «Арестантские могилы» («Н. Заря», 1914 г.), «За железной решеткой» («Р. Б.», 1912 г.), «О каторге» («Право», 1912 г.) и др. очерки, из которых некоторые.

Оставалось утешение: гулять на опушке леса, за тюремными огородами. А леса кругом Александровского были изумительно хороши во все времена года: и зимой, под снежной ризой такой белизны, такой яркости, каких мне не приходилось видеть нигде, кроме Сибири; и весной, когда деревья еле-еле поддернутся зеленым пухом, а земля уже горит бессчетными огнями цветов; и летом, когда так чудесно сливается в тайге зной и прохлада, тишина и хор таинственных голосов; и осенью, с ее золотыми лиственницами, пурпными осинами, багряными кистями диких ягод...

* *
*

Независимо от чудесной природы, село Александровское представляло много любопытного и по своему быту.

Это было большое и богатое сибирское село с предприимчивым, «прожженным» населением, промышлявшим все больше вокруг централа. Часть крестьян служила надзирателями, другие продавали в тюрьму продукты своего хозяйства, сдавали комнаты служащим централа, не имевшим казенных квартир, и приезжавшим в село родственникам заключенных, промышляли извозом, торговали водкой, — так или иначе их существование было связано с тюрьмой.

«Высшее общество», аристократию села составляли чины тюремной администрации и офицеры местной воинской команды. За исключением Снежкова, это были либо безнадежно опустившиеся неудачники, либо совершенно темные люди. Но у них было смутное стремление к культурному лоску.

Помощник начальника жаловался мне:

— Скучно здесь. Совсем нет культурных развлечений, — хоть бы лотто завести в собрании!..

Псаломщик, пьяный вдрызг, бил себя в грудь и плакал:

— Поглядите на интеллигентное пьянство!

Этот псаломщик жил при школе и был моим ближайшим соседом. Я обучил его фотографии, он стал «придворным фотографом» политических и непременным гостем на всех семейных торжествах нашей маленькой колонии. И то обстоятельство, что он бывает у политических, создало бедному алкоголику-псаломщику такое заметное положение в селе, что о. благочинный поспешил рукоположить его в дьяконы.

Отношение к политическим в селе Александровском было двойственное: нас побаивались, как людей другого лагеря, но вместе с тем питали уважение к нашей «учености».

И, действительно, политические играли в Александровском своеобразную роль культуртрегеров, просветителей. Я уже упоминал об организованной политическими художественной мастерской. Позже политические устроили при централе прекрасную оранжерею, развели цветы. Организовали еще мастерскую для изготовления металлических кроватей. Виноградов поставил в тюрьме борьбу с туберкулезом. Саур писал декорации для торжества по поводу 100-летнего юбилея отечественной войны . . .

Да и независимо от этих осязательных результатов деятельности политиков, александровскому бомонду импонировали манеры политических, их умение держаться при приездах высшего начальства, употребляемые ими иностранные слова. Последнее, быть может, в особенности. Ибо александровцы тоже стремились говорить по интеллигентному, но никак не могли овладеть этой премудростью. Помню, как одна из начальствующих дам потребовала себе в аптеке «перепись огорода», об'ясняя, что это средство нужно ей, чтобы «волосы светлее росли». Насилу фельдшер догадался, что речь идет о «перекиси водорода» . . .

Определенно враждебно относился к политическим лишь тюремный врач Пляскин. Повидимому, источником его недоброжелательства к нам была озлобленность опустившегося человека: он считал себя т о ж е интеллигентом и

чувствовал обиду, когда замечал в своих сослуживцах и собутыльниках чрезмерное — по его мнению — уважение к политическим.

Особенно не взлюбил он Христофорова, с которым сталкивался в качестве заведующего конным двором, — в Александровске почему-то считалось, что конюшнями, больницей и аптекой должно заведывать одно и то же лицо. Чтобы указать Христофорову «его место», Пляскин отправлял к нему на «амбулаторный прием» своих кур, кошек, поросят, — вообще, животных, не имеющих значительной ценности, и лечение которых представляется ниже достоинства сознательного ветеринара. Христофоров отвечал тем, что прописывал пляскинским животным самые сложные и дорогие лекарства. Однажды, с гордостью показывая рецепт пилюле для докторской курицы, он об'яснял нам:

— Этих пилюль за 10 рублей не составишь, а курице вся цена 30 копеек.

* * *

Тюремное управление из году в год снимало у крестьян обширные покосы. Но дело велось бесхозяйственно, убыточно, — никак не удавалось убрать сено во время: нанимать вольных косцов было дорого, а арестантский труд оказывался мало производителен, требовал больших накладных расходов на стражу, и при применении его сенокос затягивался так долго, что половина сена загнивала и портилась.

Осенью 1911 года «коллектив» предложил Снежкову выполнить уборку сена силами политических. Были выработаны условия: политические сами определяют состав артели: администрация не вмешивается в ход работ; гарантией от побегов является честное слово отправляющихся на покосы и их товарищей, остающихся в централе.

Составили артель в 70—75 человек. Ядро ее образовали аграрники и крестьяне-латыши. Но наряду с опытными косцами ввели в артель и новичков, выразивших желание поучиться крестьянскому делу. Взяли в артель и меня.

Арендованные тюрьмою луга были разбросаны на большом расстоянии от Александровского: до ближайшего покоса было верст 30. Дорога шла по лесистым холмам и падям, мимо дышащих достатком деревень и приветливых заимок. Ослепительно хороша была переправа на пароме через Ангару.

Вечером добрались до места работ. Луга были необозримые, — во много сотен десятин. Кое где из нежно зеленого моря выступали островками купы деревьев и целые рощи. Переночевали под открытым небом и с утра принялись за постройку шалашей. Рубили молодые березки, втыкали их в землю в два ряда, связывали вершины, заплетали остов ветвями; так же выводили заднюю стену; покрывали все мелкими ветками, охапками папоротника, травой.

К вечеру работа была закончена. Ходили друг к другу, сравнивая, чей шалаш лучше.

Ночью, при лунном свете, наш поселок, с горящими посреди его кострами, представлял фантастически красивую картину. Надзирателей не было: они отпросились у нашего старосты в деревню, за пять верст «гульнуть маленько».

Поднялись на рассвете. Косы были отбиты еще накануне. Разделились на две партии и принялись за работу.

Я попал в партию, во главе которой стоял хохол Иваний, которого я знал еще с 12-ой камеры.

Это был корявый, невзрачный мужичонка, недоверчивый, немного озлобленный против «образованных господ» и проникнутый стремлением постичь всю «умственность». В камере он целые дни проводил за чтением, читал исключительно толстые книги, и требовал из библиотеки непременно «ту самую книгу, что Владимир Анатольевич (Жданов) читают».

Ему все казалось, что «образованные господа» не хотят дать ему, крестьянину, настоящую книгу.

Наиболее «умственные» места из книги Иваний списывал в особую тетрадь. Как то, застав его за книгой по истории древней философии, я спросил его:

— Вам все в этой книге понятно?

— Иного словца, може, я и не разберу, а куда вин гне, чего вин хоче, я понимаю...

А на другой день он подошел ко мне и спросил, что значит слово онанизм. Я об'яснил ему. Иваний слушал, кивая головой и подтверждая:

— Я так и понимал. Куда вин гне, я зараз смекнул.

— А где вам это слово попалось? поинтересовался я.

Иваний показал мне раскрытую книгу, — там шла речь об анимизме.

Так вот, этого самого мужика мы выбрали старшим над нами.

Иваний, гордый оказанным ему почетом, принялся с большим рвением обучать «образованных господ», как держать косу, как «забирать» ею, не задевая землю. Он оказался превосходным инструктором.

Вообще, работа шла успешно.

Вечером разразилась гроза с ливнем. Оказалось, что крыши наших шалашей бесполезны против разбушевавшейся стихии. Выбрались из шалашей и наслаждались дождем, как душем.

Когда гроза умчалась, развели костры, грелись, сушились у огня, вместе с надзирателями. А с утра снова принялись за работу, радуясь тому, как славно ложится под косой освеженная дождем густая трава.

Проработали весь день. Вечером приехали верхом помощник начальника и трое надзирателей, — будто бы, посмотреть на работу. Вслед за тем конные фигуры показались во всех концах огромного луга, — наш поселок был

окружен. Помощник начальника об'явил нашему старосте, что получен приказ вернуть политических в централ. Мы протестовали против того, что для выполнения этого приказа администрация высылает против нас чуть ли не полсотни вооруженных надзирателей: политические дали честное слово, и достаточно было прислать им с нарочным бумагу о возвращении в Александровское!

Помощник не мог понять нашего негодования и повторял лишь:

— Так оно вернее.

К вечеру пятого дня после отправки из Александровского наша артель, окруженная цепью надзирателей, вернулась в централ.

Снежков рвал и метал против приказа о возвращении политических, ругал Гольшуха, заявлял, что немедленно выйдет в отставку. Но приказ шел из Петербурга, — и даже Князев ничего не мог поделать против него.

Нашу артель рассортировали: одних в старые камеры, других в рабочие бараки. Я вернулся в свой домик на горе.

* * *

В 1911 году в Александровском появились семьи некоторых политических: Гоца, Кругликова, Теодоровича, Саура, Виноградова, Архангельского и др. Всего было семейств 10—15, временами и больше. Жизнь этой маленькой колонии была полна тревог и волнений. Относительное благополучие политических висело на волоске. Все зависело от колебаний боевого счастья в войне между Снежковым, игравшим на «гуманность», и Гольшухом, ставившим на «ущемление» заключенных.

Правда, был еще Князев. Но против него вели подкоп жандармы. И генерал-губернатор не раз говорил родственникам заключенных:

— Когда я хочу сделать что нибудь хорошее, всегда оказывается, что именно здесь власть моя ограничена...

Положение командовцев часто менялось. То и дело возникали слухи о полной ликвидации команды, о возвращении политических в централ, об отсылке их в другие тюрьмы. А среди командовцев иным оставалось еще 8—10 лет до окончания срока.

Это поддерживало в александровской колонии политических невероятную нервность.

* * *

Я вышел на поселение в конце 1912 года. Но после этого я много раз приезжал в Александровское проведать оставшихся в команде товарищей и друзей.

Вплоть до 1917 года положение здесь оставалось без больших перемен.

Саура уже не было[1]). Во главе «коллектива» стоял Е. Тимофеев.

Чиновный мирок Александровского жил своей привычной жизнью, только война между Снежковым и Гольшухом закончилась неожиданным примирением, о котором в селе ходили противоречивые слухи.

Попрежнему не прекращались разговоры о предстоящем разгоне команды...

И все же каждый раз, приезжая в Александровское, я отдыхал здесь душой, — столько товарищеской искренности, сердечности и идеализма чувствовалось в здешней колонии политических.

[1]) Он сошел с ума и умер в психиатрической больнице в Томске в 1905 г. См. воспоминания о нем Е. Тимофеева в 3-ем сборнике «Каторга и ссылка» (Москва, 1922 г.).

VIII. В ИРКУТСКЕ

Жилкино. — Сибирская ссылка. — Политические в Иркутстке. — Л. М. Князев. — С.-д. и с.-р. — Н. А. Рожков. — «Иркутское Слово». — «Новая Сибирь». — Редакторы. — Благотворительный спектакль. — «Сибирское Слово». — Попытки партийной работы. — На Лене. — Нелькан. — В тайге. — Начало войны. — «Сибирский журнал» и «Сибирское обозрение». — «Знание». — В порядке полицейской расправы. — Отголоски войны. — На Ангаре. — Перед грозой.

По окончании срока каторги (в конце 1912 г.) я был приписан, как поселенец, к Жилкинской волости.

Село Жилкино расположено на левом берегу Ангары, в 2—3 верстах от Иркутска. Здесь находится чуть ли не единственная святыня Сибири — Иннокентиевский монастырь с его белыми стенами, тенистым садом и высокой, видной издалека колокольней. Сюда тянутся со всех концов чающие исцеления богомольцы.

Рядом с монастырем жил при мне «китайский доктор», лечивший больных железной стрелой, пакетиками с порошками и заклинаниями. По большей части, больные, поклонившись монастырским святыням, отправлялись к китайцу. Другие — начинали с китайского доктора и от него шли к святителю.

Монахи ворчали, но выселить «язычника» не могли: у китайца были могущественные покровители в Иркутске, — в числе других ездила к нему губернаторша.

Село Жилкино пользовалось в округе плохой славой. Говорили, что здесь пристанище иркутских воров. Жилкинцы относились к этим слухам благодушно и опровергать

их не пытались. В первый же день, ходя из избы в избу в поисках комнаты, я только и слышал;

— Про нас, про жилкинских, мало ли что говорят. А ты погляди, другие то лучше ль . . .

Крестьяне жили не бедно: крепкие избы, на окнах тюлевые занавески и горшки с геранью, в горницах пол покрыт деревенским ковром, на стенах лубочные картинки, в простенке между окон зеркало, в углу швейная машина. Почти во всех избах торговали водкой.

Шел декабрь, стояли морозы в 30—40°. Но Ангара еще не замерзла. По утрам над рекой клубился туман, — не видно было ни противоположного берега, ни воды. Лишь слышен был шум течения, похожий на плеск морского прибоя или грохот водопада. После полудня туман рассеивался, открывалась река, за нею лесистые сопки, поля, деревушки, а дальше Иркутск, с выдвинувшимся вперед, над водой, белым генерал-губернаторским дворцом.

Речной туман миллионами алмазов убирал прибрежные леса.

Первые дни в Жилкине я был опьянен ощущением свободы и разлитой кругом красотой сибирской зимы. Затем стало скучно в деревне, и я отправился в город.

В это время Рожков затевал в Иркутске ежедневную с.-д. газету. Он предложил мне войти в состав редакции. Недели три я работал в газете, возвращаясь на ночь к себе, в Жилкино, за Ангару. Но рекостав застал меня в городе, пришлось там заночевать. А возвращаясь домой по неокрепшему льду, я провалился в полынью, и чуть не утонул.

После этого я перебрался в Иркутск, где и оставался до самой революции.

Впрочем, не все время я проводил в городе. За эти годы я исколесил значительную часть Иркутской губернии, побывал и в Якутской области, и у Охотского моря, и у границ Монголии. Эти скитанья позволили мне познакомиться немного с природой Сибири, с ее жизнью, с положением ссылки.

Конечно, далеко не все, что я видел за годы ссылки, может войти в настоящую главу моих воспоминаний. Но кое-какие штрихи мне хотелось отметить, так как без них мой рассказ был бы слишком неполон.

* *
*

Ссылка — как политическая, так и уголовная — сыграла огромную роль в заселении Сибири и наложила отпечаток на все стороны жизни края.

У сибиряка нет традиций, но нет и предрассудков. Он выше всего ценит свою независимость, умеет работать, умеет держать язык за зубами, умеет постоять за себя. Это — целостный тип, редко встречающийся в Европейской России, и правы, на мой взгляд, наблюдатели, отмечавшие сходство «чалдона» с американским фермером.

В Иркутской губернии не редкость крестьянский двор с десятком лошадей, с двумя десятками коров, с избой, сложенной из 12-ти вершковых лиственичных бревен, с 2—3 разбросанными по тайге «заимками». Справьтесь о происхождении такого двора, и вы узнаете, что отец или дед хозяина пришел в Сибирь в кандалах.

В Сибири нет иной народной песни, кроме песен, сложенных арестантами и бродягами. Рассказы о разбойниках заменяют здесь народную сказку.

Политическая ссылка дала сибиряку его политическое и религиозное вольномыслие, его настороженно-враждебное отношение к «начальству», она же в немалой мере помогла изучению Сибири и развитию сибирского областничества.

Из рядов ссыльных выросла и городская буржуазия Сибири, — «самоходы», попавшие в Сибирь по собственной воле, в поисках удачи и богатства, не играют в местной жизни значительной роли.

Казалось бы, при этих условиях, политические ссыльные должны были встречать в Сибири близкую, сочувствующую среду. Но, в действительности, Сибирь принимала ссылку послереволюционных лет хмуро и неприязненно: крестьяне-аграрники, осужденные за то, что стояли за «мирское дело»; рабочие-социалисты, партийные деятели-интеллигенты; железнодорожники, врачи, учителя, опаленные грозой 1905-го года, — все они были н и к ч е м у в стране, требующей людей с упрощенной психикой, крепкими нервами, сильными мышцами.

Сибирский крестьянин смотрел на политического ссыльного с точки зрения наживы: умелому работнику или человеку богатому — почет и уважение; а если ты не работник, да и денег у тебя нет, так какой в тебе прок?

Приспособиться к условиям жизни в Сибири политическим было нелегко, — особенно, в отдаленных от железной дороги волостях, в деревенской глуши.

Устраивались, входили в местную трудовую жизнь лишь немногие. Остальные бедствовали, перебиваясь промыслами, к которым местное население относилось, как к баловству: ловили рыбу, «белковали», собирали на продажу кедровые орехи.

Многие гибли в первые месяцы после выхода из тюрьмы. Гибли как то странно, нелепо. Из моих товарищей по 12-ой камере «коллектива», один вскоре после освобождения умер от угара, другой замерз в поле, отправившись налегке в соседнюю деревню, третий покончил с собой. Гибли и поиному, — отказываясь от своего прошлого, начиная пить, опускаясь на дно.

Политического ссыльного в Сибири можно было узнать с первого взгляда. Как то, в кругу товарищей, мы шутили, стараясь определить тот франмасонский знак, по которому мы узнаем друг друга. И нашли такой знак: это было н е с о о т в е т с т в и е.

В м е с т н о м человеке все так или иначе отвечало его положению: он был или богат, или беден; он одевался или по зимнему, или по летнему; в нем можно было узнать сельчанина или горожанина, купца, приказчика или рабо-

чего. А в политическом ссыльном всегда были перемешаны противоположные признаки: интеллигентское пенсэ и рабочая куртка; меховая шапка и пальтишко, подбитое ветром; полушубок и штиблеты, вместо валенок.

Помню, летом 1914 года я плыл в лодке по Лене с М. Веденяпиным. Мы с середины реки, за пол версты узнавали политических ссыльных на берегу.

Видя человека, сидящего с удочкой на месте, где не может быть рыбы, замечая стоящую над рекой неподвижную фигуру, мы направляли лодку к берегу. И ни разу мы не ошиблись.

Отмечу еще: для многих политических ссылка была тяжелее, чем тюрьма...

* * *

В Иркутске ссыльные жили лучше, чем в глуши. Прежде всего, здесь легче было найти заработок, — в городе был спрос на интеллигентский и полуинтеллигентский труд, и политических особенно охотно брали всюду, где от служащих требовалась честность.

Политических ссыльных в городе было много, — несколько сот человек. Служили в Городской Управе, в кооперативе Забайкальской железной дороги, на электрической станции, в театре, в банках, в торговых предприятиях. Многие давали уроки, некоторые работали при газетах.

Держались врозь, небольшими обособленными группками. Общей организации не было. Эта распыленность об'яснялась условиями городской жизни. В тюрьме, в общей камере, мы все были равны, и матрос Яша Щепин, лежа на нарах рядом со мной, чувствовал во мне товарища. А в Иркутске, обращаясь ко мне с просьбой узнать среди знакомых, не нужен ли кому честный и непьющий дворник, тот же Щепин уже смотрел на меня, как на барина.

Ссыльные-интеллигенты не чувствовали этой перемены и склонны были сохранять старые отношения с товарищами по заключению. Но среди рабочих замечалось раздражение против интеллигенции, сказывалась оскорбленная гордость, обида против восстановления социальных неравенств, которых не было на каторге, где все ходили в одинаковых бушлатах, носили одинаковые кандалы.

В 1914—1915 г.г. группа ссыльной интеллигенции в Иркутске предприняла попытку об'единить местных политических вокруг кассы взаимопомощи, но организация не привилась. Многие рабочие отказались участвовать в ней, заявив, что вся затея построена на лицемерии, так как не проведен принцип «полной коммуны».

При разброде иркутской ссылки, было все же в городе несколько человек, которые поддерживали связи со сравнительно широкими кругами товарищей и как бы об'единяли их. К ним обыкновенно обращались за советом и помощью политические, приезжавшие в Иркутск из дальних волостей.

Приходилось хлопотать о переводе из глуши на линию железной дороги, о разрешении проживания в городе.

Инспекция и жандармы старались «очистить» Иркутск от политических и все время выселяли кого-нибудь. Нужно было, обороняясь от их прижима, обращаться к губернатору или к генерал-губернатору.

Хлопоты велись, чаще всего, через иркутских общественных деятелей и обывателей, вхожих к высшему начальству и поддерживавших вместе с тем сношения с ссылкой. Порой пускали в ход директора Русско-Азиатского Банка В. Витте, иногда прибегали к посредничеству пожилой губернской дамы М. Янчуковской. Постоянно хлопотал за кого-нибудь И. И. Рункевич, социал-демократ, еще до революции 1905 г. попавший в Сибирь и занимавшийся здесь торгово-промышленными делами, но сохранявший тесную связь с ссылкой.

Нередко ссыльные и сами ходили к генерал-губернатору со своими делами.

* * *

Нравы в высших чиновничьих кругах Иркутска царили патриархальные. Состав администрации был, в общем, неплохой. Правда, жандармы были здесь именно таковы, какими полагалось быть представителям этого ведомства; в тюремной инспекции процветал черносотенный карьеризм; прокурорский надзор и суд отличались свирепостью. Но наряду с этим, в губернском правлении и в составе советников генерал-губернатора было несколько порядочных и прогрессивно настроенных людей. Во главе же всей администрации края стоял Л. М. Князев.

Я уже упоминал о нем, говоря об Александровском централе. Но здесь я хотел бы привести еще один штрих для характеристики этого подлинно хорошего человека.

В начале 1913 года я обратился к генерал-губернатору за разрешением переехать из Жилкина в город. Сделав на моем прошении пометку «удовлетворить», Князев стал расспрашивать меня об Александровском и о Снежкове, а в заключение разговора сказал:

— Позвольте мне теперь, не как генерал-губернатору, а как старому человеку, дать вам добрый совет. Из встреч с вашими товарищами я вынес впечатление, что политические ссыльные считают, что отбытое наказание закрепляет за ними право свободно исповедывать те убеждения, за которые они были осуждены. Боже упаси меня посягать на чьи бы то ни было убеждения, — но я хотел бы указать вам, что такая точка зрения не может быть принята государственной властью . . . А кроме того, тут жандармы, с их шпионством, доносами, — они ищут повода, чтобы привязаться. И повод, чаще всего, дает им ваша доверчивость, неосторожность. Письма, бумажки . . . Если вы делаете то, что подсказывает вам совесть, по крайней мере, будьте осторожны, не давайте материала жандармам.

Я поблагодарил генерал-губернатора за добрый совет и хотел уходить, но он задержал меня и прибавил:

— Еще одна просьба к вам. Вы, разумеется, знаете Брешко-Брешковскую . . . Очень почтенная женщина. Жандармы ее особенно ненавидят, перехватывают все ее письма . . . Так надо предупредить ее. Она очень много пишет, и слог у нее такой . . . поэтический . . . Но в жандармском все перепначивают: она пишет о цветах, а там решают, что это говорится о бомбах, и все в этом роде. Ей следует быть осторожней.

Разумеется, в период господства озорной реакции такой человек не мог долго удержаться на высоком посту. Жандармы интриговали против него, обвиняя его в послаблениях политическим и евреям. И, в конце концов, они добились своего: Князева убрали и на его место прислали из Петербурга Пильца, ничтожного чиновника-карьериста[1]).

* * *

Среди политических ссыльных в Иркутске отчетливо выделялись две группы, почти что два лагеря: социал-демократы и социалисты-революционеры. Антагонизм между этими группами тем больше бросался в глаза, что в других местах ссылки, в волостях и в Александровском, никто не вспоминал о партийных делениях.

Социалисты-революционеры в Иркутске были гораздо теснее связаны с местной жизнью, чем социал-демократы. Среди каторжан и поселенцев эсэров было много коренных иркутян и вообще сибиряков. Близко к ним стояли старые народники, уже ассимилировавшиеся с местной обывательской массой. Более или менее определенно эсэрствовали

[1]) Непосредственным поводом отставки Л. Князева послужила его солидарность с архиепископом иркутским Иннокентием, который был удален со своего поста за непочтительные отзывы о Распутине.

иркутские адвокаты, в кругу которых эсэровство служило выражением свободомыслия и прогрессивности, подобно тому, как в Европейской России показателем передовых взглядов адвоката была его принадлежность к партии Народной Свободы. Симпатии к эсэрам можно было заметить также среди местной еврейской буржуазии.

Само собой разумеется, это доморощенное эсэровство было не первого качества, но все же в местной общественности установилось отношение к ссыльным эсэрам, как к своим, а к эсдекам — как к чужим.

Что касается до с.-д. части ссылки, то у нас были, главным образом, связи с теми кругами, которые не входили в понятие городского «общества», — с рабочими и приказчиками. Но эти связи не могли оправдать, в глазах местной интеллигенции, то пренебрежение, с которым третировали мы не связанные с нами, «обывательские» круги.

Вообще, если эсэры в Иркутске сливались с обывательской средой, то эсдеки держались по отношению к этой среде с раздражавшим ее высокомерием. В частности, и на «областничество» мы смотрели свысока, и к местным газетам относились, как к нестоющим внимания провинциальным листкам.

* * *

Вдохновителем и руководителем социал-демократических выступлений в Иркутске был Н. А. Рожков. Я должен сказать здесь о нем несколько слов.

Рожков — человек больших знаний, больших научных запросов. Он постоянно читает, следит за наукой, жадно бросается на изучение каждого нового вопроса. В глуши ссылки он копается в местных, всеми позабытых архивах. Год спустя он с таким же интересом принимается за вопрос о формах землевладения в Сибири или увлекается вычислениями будущего грузооборота проектируемой железной дороги. Без работы он не остается ни одного дня.

Вместе с тем, это — человек чуждый педантизма, простой, общительный, жизнерадостный, любящий посмеяться и посмешить товарищей, и пользующийся для этого неистощимым запасом скабрезных анекдотов.

Маленький, кругленький, румяный, как наливное яблочко, с глазами щелками, с прыгающим пенснэ над трясущимся от смеха носом, в засаленном пиджаке — таким был профессор Н. А. Рожков в Иркутске.

Работать с ним было приятно. От него веяло общественным идеализмом и воистину неистощимой энергией.

Но при непреодолимой страсти к политике, политиком он был из рук вон слабым: о чем ни говорил он, в нем чувствовался образованный, умный человек, но стоило ему заговорить о политике, — и это впечатление рассеивалось. Как то, в пылу полемики, Мартов назвал его «головотяпом». Это определение не было лишено остроумия: Рожков, действительно, склонен был «тяпать», и никогда по ходу его мысли нельзя было предугадать, «тяпнет» ли он в сторону самого свирепого большевизма или в сторону крайнего ликвидаторства.

В провинциальном городке, каким был Иркутск, появление Рожкова было целым событием. Он расшевелил публику, создал вокруг себя определенную атмосферу...

Роль его была в этом отношении почтенная.

Но, увы, в политике он оставался м-ром Пиквиком. Почти все его начинания оканчивались каким нибудь скандалом. Это не значит, что Н. А. Рожков любил скандалить, — нет, он лично был уступчив и незлобив, как голубь. Но так как голубиная кротость не сочеталась у него, в вопросах политики, со змеиной мудростью, то он часто попадал не в ту дверь, и общественная деятельность его напоминала американскую фильму с нагромождением неожиданных столкновений, потасовок и нелепейших положений.

Кажется, Рожков сам привык к тому, что судьба преследует его начинания: он принимал сыпавшиеся на

него неудачи, как Епиходов в «Вишневом Саду». Но от политики не отставал, к великому горю его жены, твердившей:

— Николай Александрович не газетчик, а профессор.

Рожков возражал на это:

— Терпеть не могу профессоров, — это самые тупые и самые скучные люди.

И тут же рассказывал какой нибудь неприличный анекдот.

* * *

В Иркутске Н. А. появился в 1911 году. И уже с 1-го января 1912 года он приступил к изданию еженедельной газеты «Иркутское Слово».

Ближайшим его сотрудником в этой газете был Н. Чужак (Насимович). Он заведывал литературно-художественным и театральным отделом, писал фельетоны, отзывался на местные злобы дня. Писал он хорошо, порой даже очень хорошо — с талантом, с огнем, — но вносил в свои писания много личной озлобленности, желчность неудачника. В числе псевдонимов, которыми он пользовался, лучше всего подходил к нему один: «Волк». Действительно, на все он отзывался по волчьи, — ворча, скаля зубы, порой кусаясь в язвительных фельетонах.

Я был в то время в Александровском, в команде. Но Рожков и меня привлек к участию в газете. Сговорились, что я буду давать в «Иркутское Слово» политические фельетоны. Это не был мой жанр, но Рожков сумел уговорить меня, что без этого отдела газета не может существовать, что заменить меня решительно некем и т. д., и т. д., — и я уступил.

Сотрудничал я в «Иркутском Слове» два месяца, давая в каждый номер по статье. А на третий месяц моя очередная статья попала в руки не то жандармов, не то тюремной администрации. Загорелось дело об участии каторжан в противуправительственной печати. Снежков, перепугавшись, грозился вернуть в централ всех командовцев, и я должен был дать обязательство, что до окончания срока каторги (мне оставалось еще 9 месяцев) не буду сотрудничать в газетах.

Из александровских каторжан работал еще в «Иркутском Слове» Саур, — он дал в газету несколько недурных стихотворений и рассказов на тюремные темы.

«Иркутское Слово» представляло собой листок понедельничного типа, с преобладанием литературно-фельетонного материала, но с неожиданно выскакивавшими научно-марксистскими статьями. Велась газета в резко полемическом, задорном тоне, и, в общем и целом, довольно неудачно. Но был один момент, когда она сыграла крупную роль: она первая подняла вопрос о положении рабочих на ленских промыслах, и когда на промыслах вспыхнула забастовка, закончившаяся памятной апрельской бойней, «Иркутское Слово» сделало все, что было в его силах, чтобы привлечь общественное внимание к разыгрывавшимся в бодайбинской тайге событиям.

В июне «Иркутское Слово» прекратило свое существование, задавленное штрафами в административном порядке.

* * *

Осенью 1912 года Рожков затеял издание ежедневной газеты.

Когда я вышел на поселение, все приготовления были уже закончены.

«Новая Сибирь» должна была, по мысли Рожкова, удовлетворить ту потребность, которая проявилась во время ленской забастовки: она обращалась к новой Сибири, к Сибири пробуждающегося пролетариата.

В редакцию вошли Рожков, Чужак и я. Чужак попрежнему занимался литературой и театром. Мы с Рожковым вели

политическую часть газеты. Но строгого разделения труда в редакции не было. Так, Рожков с увлечением писал о пожарной команде и заменял музыкального критика, а мне приходилось нередко возвращаться к маленькому фельетону, не говоря уже о том, что на нас же лежали и корректуры.

Весь труд в газете был бесплатный. В виде исключения, гонорар выплачивался лишь полицейскому хроникеру да конторщику.

Материальные дела газеты шли плохо. Типография брала за набор, печать и бумагу около 100 рублей за № (считая в эту цену и редакционное помещение — в углу типографской конторы, за шкафом). Далее шли почтовые расходы, телеграфное агентство, 30 рублей в месяц конторщику, 45—50 рублей за полицейскую хронику и т. д. Расходы составляли, в общей сложности, до 4.000 р. в месяц. А доходы покрывали, на лучший конец, половину этой суммы. Получался хронический дефицит. Но Рожков не падал духом и утешал нас:

— Это ничего, — в начале всегда туго идет.

Его жена, сидевшая над перепиской адресов и всеми фибрами души ненавидевшая газету, возражала ему:

— Дальше будет еще хуже. Для кого вы стараетесь? Никому вы не нужны. Я бы эту дурацкую газету давно закрыла.

Рожков выходил из себя, краснел, как пион, и кричал по-французски:

— Taisez-vous! Vous dites des bêtises!

В разгар спора из за перегородки доносился скрипучий, козлиный голос хозяина типографии:

— Разрешите вам счетец представить...

Рожков бросал уничтожающий взгляд на жену и произносил трагически:

— Voila! C'est de votre faute!

Что касается до содержания газеты, то велась «Новая Сибирь» не блестяще. Нас давили цензурные условия и материальные затруднения. Наиболее острые, наиболее интересные темы были для нас закрыты. О других вопросах приходилось говорить эзоповским языком, ходя кругом да около.

Статьи писались наспех, за общим редакционным столом, в перерыве между правкой двух листов корректуры. Читали статьи сообща, но тоже наспех: пока автор читал скороговоркой свое творение, другие члены редакции пробегали корреспонденцию или чиркали типографские гранки.

Информация хромала. Привлечь сторонних сотрудников не удавалось. Товарищи, рассеянные по глухим местам ссылки, относились к газете без энтузиазма.

Выезжали мы, как и «Иркутское Слово», главным образом, на полемике: воевали не только с иркутскими газетами, но и чуть ли не со всей сибирской печатью. И, как бродильное начало, газета имела значение: среди рабочих у нее были не только верные читатели, но и почитатели.

* * *

Источником постоянных неприятностей был для нас вопрос об ответственном редакторе.

Сперва, редактором-издателем газеты числился рабочий Евдокимов, партийный человек, относившийся вполне сознательно к своему положению. Но вскоре ему пришлось сесть в тюрьму взамен штрафа. Под газетой появилась подпись какой то мещанки, которую отрекомендовал Рожкову хозяин «Коммерческой типографии». Она жила в том же доме, в подвальном помещении, торговала квасом, за исполнение редакторских обязанностей брала по 5 рублей в неделю, но неожиданно была приговорена губернатором к 3 мясяцам тюрьмы за... тайную продажу водки.

Обязанности редактора-издателя перешли после этого к печатнику Маркачеву. Это был совершенно спившийся человек, не имевший собственного угла и проводивший в типографии дни и ночи, — за исключением тех часов, когда

он сидел в питейном заведении. Днем, обыкновенно, он спал на обрезках бумаги, под машиной. Это место называлось у нас «редакторским кабинетом».

По утрам наш конторщик забирал почтовые повестки, чернильницу и перо и лез под машину «с докладом к г. редактору». Маркачев, протерев глаза, подписывал приготовленные на повестках «доверенности» и снова заваливался спать.

Вечером редактор-издатель выползал из своего логовища, усаживался за редакционный стол и пускался в литературно-политические разговоры с «выпускающим».

Разговор кончался обыкновенно просьбой:

— Может быть, одолжите двугривенный? Я бы пропустил перед работой...

Я никогда ему не отказывал. И, принимая монету, Маркачев говорил:

— Вот, спасибо. Видно сразу, что сознательный товарищ. А Чужака я терпеть не могу: не товарищ, а газетный паразит какой то. Никогда не дает.

Однажды редактор-издатель с таинственным видом сказал мне:

— Я вас буду просить, товарищ, вы бы полегче насчет правительства. Очень прошу вас, — один месяц попридержитесь, а потом — что хотите дуйте, я препятствовать не буду...

Я спросил его, с чего это напала на него такая осторожность. Маркачев об'яснил:

— Вчера я ртутное лечение начал, так доктор приказал, чтобы без перерывов. Иначе, говорит, пользы не будет.

Приходилось и с этим считаться!

Но как ни старались мы соблюдать требования осторожности, ясно было, что «Новая Сибирь», долго не протянет. Нужно было подумать о запасном названии и о новом редакторе-издателе.

В это время вышел из тюрьмы Евдокимов. Он взялся переговорить с типографскими рабочими и присмотреть среди них подходящего человека и через неделю сообщил нам:

— Нашел одного. Соглашается. Звать его: Петр Зенькевич.

Придумали название новой газеты, — «Молодая Сибирь», — и Рожков сел писать заявление в губернское правление по установленной форме.

С этой бумагой послали Зенькевича к нотариусу для засвидетельствования подписи, после чего мы предполагали по почте отослать его заявление в губернское правление.

Засвидетельствование подписи стоило 3 рубля 75 копеек. Передавая деньги новому редактору-издателю, Рожков настойчиво убеждал его:

— Вы, товарищ, никуда по дороге не заходите. Отсюда прямо к нотариусу, а от нотариуса прямо сюда. Обещаете?

А когда Зенькевич ушел, он сказал со вздохом:

— Чувствую, что пропьет.

Но Зенькевич денег не пропил. Два часа спустя он вернулся в типографию и вручил нам бумагу с засвидетельствованной подписью.

Заметив, что подпись идет как то вкось, снизу вверх, я принялся разбирать каракули. Написано было:

«страла Пьетра Занк».

С удивлением спросил редактора, что это значит. Он об'яснил:

— Нотариус приказал звание поставить, а я Стрелкового Забайкальского полка... стрелок, значит.

Встал вопрос, посылать ли бумагу в таком виде, или составить заявление заново. Рожков решил:

— Деньги уже истрачены, а в другой раз он еще хуже подпишет.

Бумагу послали.

Неделю спустя в типографию явился околоточный с повесткой, приглашавшей Зенькевича в губернское правление по делу о поданном им такого то числа заявлении.

Евдокимов принялся обряжать редактора, стараясь придать ему возможно благообразный вид. Я дал ему свой крахмальный воротничек и галстух, кто то из сотрудников одолжил пиджак. Осмотрели в последний раз Зенькевича, — вид у него был вполне приличный и лицо бойкое, с закрученными усиками.

Вернулся он из правления гордый, сияющий.

— Теперь все пойдет.

— Зачем вас вызывали?

— Для разговору. Бумагу подписать дали. Я все написал. Они очень довольны остались.

— А что вы подписывали?

— Разное писал, — здесь да там . . .

Мы догадались, что с него взяли подписку о соблюдении цензурных циркуляров, — это, само по себе, показывало, что Зенькевич будет «утвержден» в звании редактора издателя.

Прошла еще неделя. На четырнадцатый день после подачи заявления снова явился в типографию околоточный. Слышим, как он объясняется за перегородкой с хозяином типографии:

— Нет, мне не Зенькевича, а настоящего редактора.

Рожков вышел к нему, принял пакет и расписался в разносной книге.

В пакете была бумага:

«Такого то числа в иркутское губернское правление поступило заявление от стрелка Забайкальского Стрелкового полка Петра Зенькевича о намерении его выпускать ежедневную газету под названием «Молодая Сибирь» по такой то программе . . .

«Вызванный в губернское правление Петр Зенькевич на предложенные ему письменно вопросы дал нижеследующие письменные ответы:

«1. Где вы получили образование?

« — Полуцил образава на ваяслужб.

«2. Занимались ли вы до сих пор литературным трудом и где именно?

« — Занимался. Хлебопасцем до ваяслужб.

«3. Выписываете ли вы какие нибудь газеты и журналы и какие именно?

« — Зачем уписат узде продаж.

«4. Какого направления будет издаваемая вами газета?

« — По этим делам Сибирь понима[1]).

«5. Знакомы ли вы с правами и обязанностями редактора и издателя повременного издания?

« — Я законы порядоцки понима.

«6. В чем будет выражаться ваше участие в редактируемой и издаваемой вами газете?

« — Принима усю газет на себ.

«7. Имеете ли вы представление о государственном устройстве Российской Империи? Что такое Государственная Дума и Государственный Совет и где они находятся?»

Эти вопросы оказались не под силу нашему редактору-издателю, и в ответ он смог лишь написать:

« — Гос Дус Питебуке».

Тогда ему поставили последний вопрос:

«8. Как будет называться ваша газета?»

Редактор ответил простосердечно:

« — Позабыл».

И расписался собственноручно:

«Страла Пьетра».

После этого его подвергли еще устному экзамену, а именно:

---

[1]) Смысл этой фразы остался для нас не ясен. Повидимому, Зенькевич хотел сказать, что вопрос о направлении газеты он представляет решать своим сотрудникам.

«предложили ему прочесть несколько строк из «Губернских Ведомостей», чего сделать он не смог, с трудом разобрав лишь заголовки и сославшись на то, что шрифт текста слишком мелок для его глаз».

Далее в полученной нами бумаге следовали рассуждения о том, что, хотя закон не устанавливает образовательного ценза для редактора-издателя повременного издания, но по смыслу закона редактором может быть лишь такое лицо, которое в состоянии выполнять труд редактирования, то есть, читать поступающие от сотрудников рукописи, при надобности изменять их и т. д. В данном же случае очевидно, что «стрелок забайкальского стрелкового полка» такой то редактором быть не может, и что его участие в предприятии ограничивается готовностью нести ответственность, то есть, подвергаться взысканиям за действия других лиц, каковое заместительство законом не предусмотрено.

На основании изложенного губернское правление постановило Петру Зенькевичу разрешения на издание газеты не давать.

Позвали Евдокимова:

— Как это вы нас не предупредили, что ваш редактор не умеет ни читать, ни писать?

Евдокимов сконфуженно оправдывался:

— Я думал, раз он при типографии состоит, должен быть грамотным...

— Да какую работу он выполняет в типографии?

— Пол метет, бумагу переносит, на прессе колесо вертит...

Наши адвокаты предлагали подать в сенат жалобу на губернское правление; указывали, в частности, что правление не имело права подвергать редактора экзамену. Но мы решили не подымать истории, которая, скорее всего, закончилась бы появлением в российском законодательстве

«раз'яснения» об условиях, которым должен удовлетворять редактор повременного издания.

* * *

Вскоре после описанной неудачи «Новая Сибирь» прекратила существование.

Материальное положение газеты становилось день ото дня более безнадежным. Сборы среди сочувствующих уже не могли покрывать ее дефицит. Об'явления сокращались, подписка не возрастала. Мы задолжали типографии, а средств для уплаты долга не предвиделось.

Помнится, к этим невзгодам присоединились еще штрафы, наложенные на газету генерал-губернатором по настоянию жандармов за статьи о забастовке приказчиков у Второва.

При таких условиях, каждый день мы расходились из редакции, не зная, выпускаем ли последний №, или предпоследний. Наконец, наступил день, когда нам пришлось об'явить типографии, что дальше вести газету мы не в состоянии. Но тогда к нам явилась депутация от наборщиков, с преложением набрать 2—3 номера газеты бесплатно, — из сочувствия. Это было для нас большой моральной поддержкой. С удвоенной энергией принялись за поиски средств и остановились на мысли поставить в пользу газеты спектакль в городском театре.

Дирекция театра отнеслась к нашему предложению сочувственно.

Сговорились, что театр отдает нам — на льготных условиях — ближайшую премьеру, и принялись распространять билеты.

Я лично продавал билеты в нашей типографии, — наборщики взяли кресла в первом ряду партера, девченки-фальцовщицы во втором.

Случайно губернатор заинтересовался премьерой и решил в этот вечер поехать в театр. Но его предупредили, что «со спектаклем что то неладно».

Представление началось при необычном зрительном зале: в передних рядах сидели рабочие «Коммерческой типографии» и социал-демократы ссыльные.

Жандармы немедленно конфисковали в кассе выручку. А на другой день Рожков получил проходное свидетельство из Иркутска.

* * *

Первое время после закрытия «Новой Сибири» я не очень скучал по отсутствию газетной работы.

Весной я получил от петербургского большевистского издательства «Прибой» предложение написать брошюру о безработице и локаутах. С удовольствием принялся я за эту работу, возвращавшую меня к вопросам, которыми я занимался в период Совета Безработных.

Лето и осень я был занят другой литературной работой: иркутская еврейская община поручила мне и А. Горнштейну написать исследование по истории евреев в Иркутске. Исследование разрослось в об'емистый том и потребовало от нас много труда и времени.

Но к зиме и во мне, и в других товарищах пробудилась потребность в более «боевой» общественной работе. В России намечалось некоторое оживление, в Петербурге появились партийные издания, распутинщина сметала плоды долголетних усилий столыпинщины, гремел Кассо, развивалась бейлисиада...

Нельзя было молчать.

У нас созрел план: выпустить еженедельную газету, не считаясь с цензурными рамками. Закроют на 1-м номере, — жалеть не будем. Не закроют, — так выпустим еще 2—3 номера. К участию в деле были привлечены не только бывшие сотрудники «Новой Сибири», но все товарищи, которые могли писать в газете, или способствовать ее распространению. Из участников помню: втородумцев С. Н. Салтыкова и В. Анисимова, латыша Дукура, грузина-меньшевика Беню Чхиквишвилли. Ближайшее участие принимал в редакции также Чужак.

Во время подготовки к печати первого № «Сибирского Слова» в городе произошло одно событие, живо взволновавшее местную интеллигенцию: архиепископ Серафим выступил в соборе с изуверской проповедью, посвященной делу Бейлиса.

Эта проповедь вызвала выражения протеста из среды наполнявших собор молящихся, часть прихожан покинула храм. Князев, узнав о проповеди Серафима, настоял на том, чтобы «Епархиальные Ведомости» ничего не печатали о ней.

В городе только и было разговоров, что о выступлении черносотенного архиепископа. Но писать об этом местные газеты не решались.

Случайно оказалось, что один из наших сотрудников, Беня Чхиквишвили, в день проповеди зашел из любопытства в собор посмотреть на архиерейское служение, и ему удалось восстановить на память речь преосвященного.

Архиепископ, ссылаясь на дело Бейлиса, говорил, что «теперь весь мир знает об употреблении евреями христианской крови». Далее шли размышления о том, что употребление крови младенцев не единственное преступление проклятого Богом племени, что вся жизнь евреев состоит из злодеяний. Отмечалось, что евреи не дали человечеству ни одного крупного таланта и вообще не способны ни к наукам, ни к искусствам, ни к ремеслам, так как занимаются лишь «гешефтами». Проводилась паралелль между еврейскими и православными купцами:

«Кем построен блистательный храм, в коем мы пребываем? Благочестивым православным купцом. А что было бы, если бы купец сей был жидом? Не построил бы он

сего храма, а прокутил бы деньги где нибудь заграницей или истратил бы их на поганую синагогу».

Мы решили поместить эту проповедь полностью на первой странице газеты с приличествующими комментариями.

«Такого то числа преосвященный Серафим произнес, мол, в соборе проповедь о деле Бейлиса. К сожалению, храм не мог вместить всех, кому интересно было бы слышать архипастыря. Желая помочь нашим читателям познакомиться с его суждениями, мы...» и т. д.

Проповедь преосвященного пропечатали целиком: от «во имя Отца и Сына и Святого Духа» до «Аминь». А в виде послесловия к ней я написал несколько строк в церковно славянском стиле, выражая скорбь по поводу того, что благочестивый архипастырь не знает св. Писания, называет «погаными» еврейские дома молитвы и нарушает заповедь Господню «не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна».

Появление 1-го № «Сибирского Слова» произвело в Иркутске впечатление разорвавшейся бомбы. К 12 часам дня в типографии не оставалось ни одного экземпляра. К вечеру отдельные номера продавались в городе за 5—10 рублей.

Серафим бросился к губернатору, требуя закрытия газеты и всяких скорпионов против редакции. Губернатор поехал к генерал-губернатору и прочел ему вслух нашу передачу «Слова преосвященного Серафима» и редакционное послесловие. Князев слушал, кивая головой:

— Верно, так он и говорил... Мне теми же словами передавали... Верно!

На требование о закрытии газеты Князев ответил:

— Закрыть газету за то, что она совершенно правдиво передала проповедь, произнесенную в соборе, я, по совести, не могу. Пусть суд разберет это дело.

У иркутских судей совесть была гибче, чем у генерал-губернатора. Моментально привлекли редактора-издателя и составили постановление о конфискации №.

Но далее дело приняло неожиданный оборот. Необходимо было засудить обвиняемого, а состава преступления не было. Дело тянулось 2 года, доходило до сената и закончилось приговором к 3-месячному тюремному заключению «за распространение о должностном лице заведомо ложных и порочащих его сведений». Признаки такого преступного деяния суд усмотрел в нашем утверждении, что архиепископ Серафим нарушил заповедь «не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна»!

Последующие №№ «Сибирского Слова» не имели большого успеха. В частности, не удалась наша попытка оказать через эту газету влияние на выборы в Городскую Думу. На 3-ем или 4-м № газета была закрыта — не помню уже, за какую статью.

* *
*

Помимо литературных выступлений, ссыльные социал-демократы много раз пытались поставить в Иркутске партийную организацию.

Казалось, были на лицо все условия для создания такой организации: настроение среди местных приказчиков, рабочих и железнодорожников было оппозиционное, все они уже кое-что слыхали о партии; в руководителях тоже недостатка не было.

Но в Иркутске не было больших фабрик и заводов. Рабочие были распылены по мелким мастерским ремесленного типа. Еще более распылены были приказчики. Что же касается до железнодорожников, то они представляли особый, замкнутый мир и неохотно сближались с другими пролетарскими группами.

Это ставило довольно узкие рамки партийной работе в городе.

В том же направлении действовал патриархальный уклад местной жизни. «Злобы дня» Иркутска были серые, незначительные, — вокруг них не мог развиться пафос рево-

люционной работы. Здесь экономическая забастовка приказчиков в магазинах Второва была огромным событием, — о ней говорили чуть ли не целый год. Здесь выборы в правление кооператива давали повод для ожесточенной борьбы между эсэрами и эсдеками. Атабеков в Черемхове сделал центром партийной работы вопрос об устройстве детской площадки. А. Рожков и И. Чужак, в эпоху «Иркутского Слова», умудрились завязать с народнической печатью резкую полемику по вопросу о том, являются ли экинюкоки свиными или собачьими микробами.

Стоило ли тратить силы на эти «малые дела»? Была ли, в данной обстановке, необходимость в создании подпольной партийной организации?

Единодушия в ответе на эти вопросы среди ссыльных не было. Многие товарищи относились к организационным попыткам скептически, считая, что в Иркутске партийные кружки будут без всякой пользы вариться в собственном соку.

Что касается до меня лично, то я считал все же необходимым создание партийной организации, которая включала бы и рабочих, и интеллигенцию и связывала бы ссылку с родственными ей по настроению элементами местного коренного населения. В пролетарских кругах ссылки эти планы встречали больше сочувствия, чем среди партийной интеллигенции.

И еще одна черта: все наши легальные литературные предприятия — «Иркутское Слово», «Новая Сибирь», «Сибирское Слово» и имевшие несравненно большее значение сборники, выпущенные нами несколько позже, уже во время войны, — наши литературные предприятия велись, главным образом, меньшевиками, которые были представлены в иркутской ссылке сильнее и ярче, чем большевики; но к организационно партийному строительству большевики проявляли больше рвения, чем меньшевики. Таким образом, в нашем «литературном центре» преобладало одно фракционное направление, а в возникавших, рассыпавшихся и возникавших вновь партийных кружках — другое течение.

До поры до времени неудобства такого положения не очень бросались в глаза: каждый вел ту работу, к которой чувствовал себя наиболее склонным, а некоторые — в числе их и я — поспевали работать и здесь и там, связывая литературный кружок с рабочими и полурабочими ячейками. Но после того, как произошел известный раскол в с.-д. фракции Государственной Думы, и отмежевание от меньшевиков стало основным лозунгом большевистской работы, взаимоотношения между фракционными течениями в Иркутске изменились.

Вообще говоря, общественное мнение с.-д. кругов ссылки было против раскола. Не сочувствовали расколу и местные рабочие. И еслибы сторонники «размежеваний» поставили прямо вопрос: за единую партию или за раскол? — наверное, мало кто пошел бы за раскольниками. Но так они вопроса не ставили, а направляли все усилия на использование той бытовой разобщенности ссылки, о которой я упоминал выше. Началась демагогическая кампания за создание чисто-рабочего социал-демократического союза, без интеллигенции. При этом большевики-интеллигенты, как инициаторы этого плана, включались в союз, а меньшевики-интеллигенты оставались за бортом. Серьезно бороться с этой затеей меньшевики не пытались, — одни потому, что, вообще, не придавали значения подобным планам, другие потому, что не видели зла в создании партийных кружков, хотя бы узко фракционного характера.

Таким образом, в Иркутске сложилось своеобразное положение: хотя настроения рабочих и широких кругов ссылки были отнюдь не в пользу раскольнической политики, но именно в руках сторонников этой политики оказались под конец почти все организационные связи с рабочими кружками.

Новому направлению организационной работы я решительно не сочувствовал, да и не мог ему сочувствовать при той позиции, которую я занял во фракционной полемике по поводу раскола с.-д. фракции Государственной Думы. С самого начала я был противником этого раскола и послал даже в петербургскую «Правду» статью под заглавием «В защиту общего знамени». Редакция переслала рукопись в Краков, и оттуда я получил от Ленина дружеское письмо, которым «Ильич» пытался вернуть меня в лоно большевизма.

Письмо начиналось замечанием: «по всему видно, что автор находится в плену у меньшевистски-сволочной компании». А заканчивалось рядом добрых пожеланий, из числа которых запомнилось мне одно: «почаще плюйте на меньшевиков».

Меня это письмо не убедило, и с этого времени началось мое организационное удаление от большевизма.

* * *

Весной 1914 года я решил предпринять поездку по Сибири.

Наметил маршрут: на лошадях до Лены, затем вниз по реке до Якутска; оттуда по Алдану и Мае, на Восток до Нелькана, тем путем, каким в XVII веке пробирались казаки к Великому океану, а дальше пешком через Джугджурский хребет к Аяну на Охотском море.

Разрешение на путешествие я получил без затруднений, несмотря на донос жандармов Князеву о том, что я еду в Якутскую область организовывать ссыльных для предстоящего «выступления».

Легко добыл я и средства на поездку: через редакцию «Русского Богатства» условился с «Русским Словом» о посылке в газету путевых очерков и получил аванс [1]).

[1]) Впоследствии мои очерки не увидели света: не до них было газете осенью 1914 г.

Перед самым моим от'ездом из Иркутска пришел ко мне с.-р. М. Веденяпин [2]) и предложил ехать вместе со мной. Веденяпина я знал очень мало. Но это один из тех людей, которых нельзя не полюбить с первого взгляда. Достаточно видеть его мужественное, суровое лицо, освещенное ласковыми голубыми глазами, чтобы почувствовать в нем человека со стальной волей и золотым сердцем. Я был рад иметь такого спутника. Дня два потребовалось на окончательные сборы, и мы двинулись в путь.

До Качуга (верст 200 или 250) мы ехали на почтовых. В Качуге купили за 6 рублей лодку и поплыли по Лене.

Река просыпалась от зимнего сна. Десятками, сотнями чернели на ней лодки с приискателями, плывущими вдаль с мечтой о золоте, скрытом на берегах Бодайбо и Витима.

Добравшись до Усть-Кута, бросили лодку и пересели на пароход.

На остановках спускались на берег, разыскивали политических, расспрашивали их о местных условиях жизни. Картина повсюду была одинаковая — серая, безотрадная: нужда, тоска, ссоры.

Только в Якутске застали сплоченную организацию ссыльных.

Странный город. Дома — избы из бревен чуть ли не в аршин в поперечнике, с заборами похожими на тюремные пали. На улицах пустынно, безлюдно. Лишь изредка проедет якут на тележке, запряженной парой коров.

Было начало июня. Ночью было светло, как днем. Можно было читать без огня.

В Якутске я встретил Ногина («Макара»). Старый партийный работник-большевик, он, как и я, был в то время сторонником единства партии, осуждал политику раскола, много и горячо говорил о вреде, который приносит эта политика рабочему движению.

[2]) Один из осужденных по московскому процессу социалистов-революционеров в 1922 году.

Много интересного рассказывал Ногин о жизни края, о нравах местного чиновного мирка, о духовенстве, о положении инородцев. Мы отправились с ним в ближайшее скопческое село (Покровское), где жила Лидия Субботина[1]), опростившаяся по-толстовски, вышедшая замуж за мужика-аграрника и принявшаяся за крестьянский труд.

Якутские ссыльные социал-демократы устроили собрание, на котором я прочел доклад о текущем моменте, о перспективах нового под'ема, о необходимости восстановления единства партии.

Мы с Михаилом спрашивали у товарищей, нет ли чего любопытного по близости. Нам посоветовали с'ездить полюбоваться северным полярным сиянием.

— А это далеко?

— Не очень, всего 2.000 верст.

У нас не было времени для такой прогулки, — лето на Севере короткое, необходимо было спешить, чтобы вернуться в Иркутск до конца навигации.

* * *

Уже в Якутске каким то странным диссонансом казалась кучка ссыльных, говорящих о Государственной Думе, о рабочем движении в России и в Европе, о партии.

Но дальше пошла уже совершенная глушь.

Ничто не изменилось здесь с XVII века, когда первые русские люди шли этой рекой, пробираясь к теплому морю. На тысячи верст ни жилья. А из лесу там и сям выходят инородцы-тунгусы, палят в воздух из ружей, приветствуя пароход. Тут же, на прибрежном песке, происходит первобытная торговля: порох, свинец, мука, масло идут в обмен на пушнину.

[1]) Работница петербургской с.-д. военной организации в 1907 г. осужденная по делу с.-д. фракции 2-ой Государственной Думы.

Доехали до Нелькана, — крайний пункт, до которого доходят пароходы на Мае.

Десяток бревенчатых домиков, почерневшая от времени часовенка, пара остроконечных тунгусских «урас», два амбара над самой рекой, кругом ни лугов, ни пашен. За полоской земли с постройками и прильнувшими к ним огородами — сплошная стена темных пихт и елей.

Это — своего рода торговая «фактория». Живут здесь купцы, промышляющие доставкой чая с Охотского моря через Джугджурский хребет и сплавом его вниз по Мае и Алдану до Лены.

Проливные дожди задержали нас здесь на несколько дней, но мы не теряли времени даром: от местных людей мы узнали, что летом путь через Джугджур представляет большие трудности, что сообщение между Маей и Охотским морем поддерживается лишь в зимнее время на оленях, — нужно было основательно приготовиться к дальнейшему путешествию, изучить дорогу, выправить карты.

Заодно приглядывались к жизни поселка.

Царил здесь купец Филиппов. Он держал в своих руках половину сплава, состоял бессменно церковным старостой и попечителем школы, вел крупную торговлю спиртом, каждый год ездил в Якутск, а в молодые годы бывал и в Иркутске.

Комнаты у него были убраны по-городскому: шерстяные портьеры, мягкая мебель, гнутая качалка, висячая лампа, а на самом видном месте, на столе под лампой, граммофон с огромным, пестро раскрашенным рупором.

Впрочем, граммофоны были в Нелькане у всех, — у священника, фельдшера, мелких промышленников, подрядчика и даже у одного тунгуса. Но у Филиппова пластинок было больше, а кроме того он выписывал «Ниву», и неразрезанные №№ ее стопками лежали у него на этажерке.

Купец и его жена угощали нас пирогом с рыбой, заводили «музыку», занимали нас разговорами.

Хозяйка рассказывала о том, как ездила она четыре года тому назад в Якутск к сестре. Неизгладимое впечатление произвел на нее кинематограф.

— Всего лучше было, как машину показывали. Рельсы видать, станция, вагоны . . .

Изумилась, узнав, что я ездил по железной дороге, и что это совсем не страшно.

— А я в жизнь не привыкла бы. На стене видать, что люди в окна глядят, смеются. Да я думала, это актеры, обученные, виду не показывают, что боятся.

Жаловалась на жизнь в Якутске:

— У нас-то, слава Богу, — тихо. А в Якутске суетня, беготня, несутся кругом, сломя голову. Больна я там сделалась от волнений. Мне и доктор говорил, — вам нервы не позволяют в городе жить . . . Пропадешь там на улице, затолкают, с ног собьют, а то и лошадьми покалечат.

Натерпелась страху бедная женщина и в кинематографе.

— Темно, народу много, и не знаешь, что за люди кругом. Может, он и добрый человек, а ты дрожишь, как бы он в карман к тебе не залез . . . А то по голове сзади хватит, — кто его знает? . .

Филиппов, стесняясь необразованности жены, пояснил:

— Глушь сказывается. Всего то она в Якутске боялась, а через Джугджур верхом проехать с работником — ей не страшно. Когда прошлым летом медведь к нам в коровник вломился, а оттуда во двор вылез, а меня в ту пору дома не было, — не перетрусила.

Хозяйка смеялась:

— Что мне медведь сделает?

Были мы с Михаилом и у других нельканских обывателей. Повсюду угощали нас граммофоном, водкой и оленьей строганиной.

Один из купцов, желая показать, что он человек с «понятием», пустился с нами в разговор о международной политике. Он спросил меня:

— А скажите, пожалуйста, война кончилась или нет?

— Вы о второй Балканской войне? догадался я: Так мир ведь давно заключен! После Бухарестского договора там все тихо.

Купец неодобрительно покачал головой:

— Порт-Артур, значит, того — тю-тю . . .

Я не сразу сообразил, в чем дело:

— Ведь война шла не из за Порт-Артура!

Но купец возразил уверенно:

— Не скажите! Войну то, конечно, англичане устроили. Япония, однако, больше о Порт-Артуре хлопотала.

— Вы о нашей войне с Японией?

— Натурально. Какая еще война?

— Так та война уже девять лет, как кончилась! В Портсмуте мир был подписан. Неужто вы не слыхали?

— Слыхать-то слыхал, да не верил . . .

Жена купца — молодая женщина тунгусского типа вмешалась в разговор.

— Вот, видишь, обратилась она к мужу, Николай правду говорил. Он и Пармут называл, он все знает.

— Кто это Николай? заинтересовался я.

— В работниках у нас живет кореец православный, по нашему говорит. Я его вам позову.

Вошел в комнату кореец, стройный и ловкий на вид, с круглой, коротко остриженной головой, с бронзовым лицом. Не дожидаясь расспросов, принялся рассказывать о Порт-Артуре, о Цусиме, о том, как плавал он на джонке матросом, как служил потом сторожем в Охотске, как попал на Маю.

Купец вставил:

— Семь лет он у нас работает и все говорит, что война кончилась. Да я не верил ему; думал, нарочно он врет, чтоб мы за врага его не считали. А раз вы то же говорите, значит, так оно и есть . . .

* * *

С Маи мы пошли тайгой к Охотскому морю. Путь был не далекий, около 300 верст, но предстояло пробираться через болота, переходить множество речек, пересечь Джугджурский хребет, не очень высокий, но крутой и трудно проходимый.

Купили лошадь, нагрузили на нее наши пожитки, запас сухарей и консервов, и двинулись по запущенному «русско-американскому тракту». В тайге пристал к нам тунгус, Петр Карамзин, возвращавшийся в Аян из Амги, где он пролежал зиму в белой горячке.

Описывать здесь наше путешествие не буду [1]). Скажу только, что до моря мы не дошли. На половине пути, когда мы были уже на Челясине у подножья Джугджура, у нас случилось несчастье. Накануне переход был исключительно тяжелый. Мы выбились из сил, не приняли необходимых мер предосторожности, и ночью у нас убежала лошадь. Утром бросились искать ее по следу, и нашли лишь труп ее на мели посереди Челясина: она утонула, сбитая с ног силою течения.

Стали соображать, что делать дальше: итти к морю или возвращаться? Решили вернуться.

Я предложил возвращаться водой: по карте выходило, что Челясин несет свои воды в реку Уй, которая впадает в Маю выше Нелькана.

Из лежавших на берегу сваленных весенним половодьем деревьев срубили плот.

Петр не сочувствовал нашей затее и повторял:

— Челясин — дрянь дело. Много русский мальчик умирай. Аян ходить надо.

Мы расстались с ним, — он пошел налегке в Аян, а мы поплыли вниз по Челясину.

Река шла петлями, порой разбегаясь множеством рукавов, порой собираясь в один поток. Временами плот

[1]) Я описал его в очерках «В Тайге», которые первоначально печатались в Читинском «Забайкальском Обозрении», а позже вышли в Петрограде отдельным томиком.

кидало, как щепку, било о берега. Но при помощи длинных шестов мы довольно успешно управляли им.

С гордостью вспоминаю водовороты и пороги, которые мы прошли в этот день. А к вечеру плот остановился, — мы уперлись в «пробку», — затор из поваленных друг на друга бревен, коряг, деревьев.

Утром поднялись на плотину. Насколько хватал глаз, кругом громоздились бревна, сплетающиеся, как венцы разрушенных башен. Казалось, вокруг нас развалины огромного города. Реки не было видно. Лишь слабо журчала вода где-то в глубине, под развалинами.

Приходилось бросить плот, перетащить багаж через затор, а на чистом месте рубить новый плот. Но сказать это было легче, чем сделать.

Плотина не имела конца. Там и сям она прерывалась песчаными островками, проросшими ветлой; затем снова шел бурелом, а под ним во все концы текли невидимые ручьи . . .

С неделю бились мы здесь, пока не вышли на открытое течение реки. Принялись рубить новый плот. Но работа шла плохо. За это время наша провизия пришла к концу. Мы страдали от голода. Я ослабел настолько, что не мог держать топор в руках. Веденяпин тоже чуть не валился от усталости.

Вдобавок, плот срубили неудачно, пришлось бросить его и снова итти искать место, с которого можно было бы продолжать путь.

Эти дни мы питались исключительно ягодами, да еще Михаилу посчастливилось подстрелить куропатку.

Срубили третий плот, но оказалось, что взяли на него сырые, тяжелые деревья. Когда оттолкнули его от берега, он опустился на дно.

Вылезли из воды, в полном отчаянии сели на прибрежную гальку, нагретую солнцем. И вдруг я заметил над линией леса характерную двойную вершину гольца Киваги, мимо которого мы проходили дней 10 тому назад.

Схватился за карту, прикинул компас. Теперь мы знали, где находимся и куда итти: верстах в 30 от нас, к Западу, должна была проходить тропа, соединяющая Нелькан с Аяном.

Бросили багаж, взяли лишь ружье, котелок и топор и пошли прямиком через чащу леса.

Вышли мы из тайги похудевшие, осунувшиеся, как после тяжелой болезни, но гордые тем, что побывали в сердце неприступной тайги.

На всю жизнь осталась у меня память об этом путешествии и о братской заботливости, с какой помогал мне Михаил в те дни, когда я уже не надеялся выбраться из леса.

* * *

В Якутск мы прибыли в 20-ых числах августа. Уже было известно о сараевском убийстве и об австрийском ультиматуме. Пахло порохом в воздухе.

Все кругом говорили о войне.

Но я был настолько оглушен тайгой, что в первые дни слабо реагировал на политические новости, не мог осмыслить развертывающийся клубок событий . . .

Несколько дней спустя, на Лене, нам уже пришлось наблюдать картины мобилизации и проводов призывных. Война началась. И если кое-где в городах Европейской России население встретило ее кликами «ура» и коленопреклоненной молитвой за царя, в Сибири ее встречали проклятиями.

Вернувшись в Иркутск, я узнал, что почти все ближайшие товарищи проводили лето в Усольи: там были Церетели, Рожков и др. Поехал и я туда.

Как в якутской ссылке, все разговоры вращались здесь вокруг вопроса о войне. Но вопрос ставился уже не в плоскости гаданий о том, чем кончится война, а в плоскости тактических задач, встающих перед международным социалистическим движением.

Именно так, с первого дня, ставил вопрос Церетели, плохо разбиравшийся в карте военных передвижений, не разделявший охватившей обывателей страсти «полки разводить», но настойчиво, упорно искавший в газетах хоть беглых указаний, по которым можно было бы определить позицию, занятую по отношению к войне социалистическими партиями Запада.

Сквозь двойную ограду заграничной и российской цензуры до нас не доходило ни слова о выступлениях социалистических «меньшинств». Но Церетели, путем сопоставления различных косвенных указаний, приходил к заключению, что такие «меньшинства» существуют, и в них видел спасение Интернационала и ключ к разрешению мирового кризиса, — если только эти меньшинства сумеют завоевать симпатии и доверие широких рабочих масс, увлекут их за собою и из партийной оппозиции превратятся в руководящее партийное большинство.

Припоминаю мои настроения первых месяцев войны. Я был решительным противником войны, возмущался манифестациями казенного патриотизма и проповедью ненависти к немцам, считал основной задачей социалистов в России антивоенную пропаганду. Но в то же время у меня было сильное желание попасть на фронт для ближайшего ознакомления с «ликом войны» и для агитации в пользу мира; я подумывал даже о том, чтобы пойти на фронт добровольцем, и отказался от этой затеи лишь потому, что для ссыльно-поселенцев единственным средством попасть на фронт было обращение на высочайшее имя.

Не сразу согласился я с Церетели в его критике социалистических большинств Западной Европы. Первые недели войны меня прельщало такое об'яснение грехопадений международного социализма:

«Все правы, так как всем кажется, что они защищаются».

Церетели же считал политику, принятую социалистическими партиями воюющих стран, в корне ошибочной и надеялся лишь на то, что совершенные этими партиями ошибки будут вскрыты критикой, осознаны рабочими массами и их руководителями и исправлены.

По отношению к внутренней политике, меня увлекала формула «патриотического интернационализма». Мне казалось, что социалисты должны выступить в России под флагом патриотизма, не боясь и не избегая этого опошленного черносотенцами слова: нужно, исходя из интересов русского народа, доказывать, что война, при любом исходе, означает для него великое бедствие, и на этом основании вести агитацию за мир[1]).

Церетели считал такое обоснование антивоенной агитации недостаточным. Раз вступив в круг войны, говорил он, Россия не может выйти из него одна. За сепаратный мир ей пришлось бы заплатить страшную цену, и социалисты не могут толкать ее в эту сторону. Усилия должны быть направлены к достижению прочного мира, сохраняющего за страной возможность дальнейшего свободного развития. А такой мир может быть подготовлен лишь усилиями международной демократии. Таким образом, национальным интересам России отвечает лишь интернационалистическая постановка вопроса о мире, соответствующая принципам социализма и интересам всемирного рабочего движения.

Мое соединение терминов «интернационализма» и «патриотизма» Церетели и другие члены усольского кружка считали неудачным.

Между тем, я все острее чувствовал потребность высказаться, выступить публично против отвратительного шовинистического угара. И, вернувшись в Иркутск, я засел за памфлет против войны, которому дал название «В дни мирового пожара».

Брошюра мне не удалась. В ней не хватало научного анализа причин мирового конфликта и отсутствовали живые краски в изображении ужасов войны. Тем не менее, иркутские товарищи, которым я читал свою рукопись, нашли мое произведение весьма замечательным. Церетели, наоборот, остался холоден и, явно стараясь смягчить свой отзыв, заметил:

— Основная мысль здесь настолько хороша, что она заслуживает лучшего выражения и обоснования.

Свой памфлет я переработал и отослал в Петроград, где издательство Ясного пыталось издать его. Но военная цензура задержала брошюру.

* * *

В тот же вечер, когда я читал Церетели свою рукопись «В дни мирового пожара», у нас зашел разговор о том, что следовало бы всей нашей группе выступить со сборником статей, дающим ответ на поставленные войной вопросы.

Сборнику решили придать форму 1-го № журнала, составляя его так, чтобы заранее итти на конфискацию и закрытие.

Кстати у нас было готовое разрешение на еженедельный «Сибирский Журнал», взятое на имя одной партийной работницы И. Ф. Тарадановой, выразившей заранее готовность сесть в тюрьму после 1-го №.

В редакцию вошли Церетели, Рожков и я, но Рожков вскоре уехал в Читу, и выпуск № оказался на нас двоих.

[1]) Другими словами, я склонялся к непосредственной активной антивоенной политике социалистов в каждой отдельной стране, не дооценивая необходимости международной подготовки условий для такой политики. Мне кажется, что это мое настроение было родственно настроениям Ф. Адлера и его единомышленников, которые в другой политической обстановке делали ту же ошибку.

В 1-ый № дали статьи: Церетели, Рожков, Вайнштейн[1]), Вайнберг, Чужак и я. Я написал редакционную передовицу, статью о международном положении под заглавием «Все против всех» и еще несколько заметок. Рожков писал о внутреннем положении России. Чужак дал блестящий разбор военной ура-патриотической поэзии. Но гвоздем № явился фельетон Церетели («Квирильского»), посвященный тактике социалистического Интернационала.

К сожалению, у меня нет под рукой этого №-ра, а восстановить на память содержание его статей было бы для меня слишком трудно: с тех пор прошло девять лет, и за эти годы приходилось так много писать, говорить и думать о затронутых в «Сибирском Журнале» вопросах, что, передавая теперь содержание журнала по памяти, я рисковал бы смешать наши взгляды ноября - декабря 1914 г. со взглядами более позднего времени.

Постараюсь отметить здесь лишь наиболее характерные черты выдвинутой нами тогда платформы.

Посреди шовинистических завываний всей русской прессы «Сибирский Журнал» подымал знамя борьбы с войной.

Вопрос о войне он ставил интернационалистски и социалистически, обращая взгляд к организованному пролетариату всего мира и в нем указывая силу, призванную спасти человечество от того хаоса, к которому толкают Европу силы империализма.

В нашем обращении к социалистическому пролетариату, голос которого в то время заглушался гулом орудий и кликами ненависти, был подлинный пафос: ибо была у нас горячая вера в правильность указываемого пути.

[1]) С. Л. Вайнштейн («Звездин») член Исполнительного Комитета петербургского Совета Рабочих Депутатов 1905-го года, приговорен по делу Совета к лишению прав и к ссылке в Сибирь, бежал с места ссылки, арестован в 1911 г. в Баку и получил за побег 3 г. каторги. Вышел на поселение незадолго до войны. Играл выдающуюся роль в революции 1917 г., а в 1923 г., после многократных арестов, был выслан за границу, где и умер, в Берлине.

И еще одна вера об'единяла и воодушевляла сотрудников «Сибирского Журнала», — вера в Интернационал. Мы были бесконечно далеки от того злорадного шельмования «социал-предателей» и «изменников социализма», которому позже предавались многие поборники интернационализма. Для нас старый Интернационал, несмотря на все ошибки, совершаемые его вождями и входящими в состав его массовыми партиями, оставался высшим достижением всемирного рабочего движения. И мы со всей решительностью отвергали мысль о том, что 2-ой Интернационал должен быть признан банкротом, что остатки его должны быть отметены борющимся пролетариатом в сторону, и что дело об'единения социалистического пролетариата должно быть начато заново.

Мы оставались интернационалистами и в вопросе об условиях желательного мира, выступая за соглассительный демократический мир, за мир без аннексий и контрибуций, — не помню впрочем, была ли уже тогда, в 1914 г., выставлена нами эта формула, ставшая 3½ года спустя платформой российской революции.

В основных своих чертах программа «Сибирского Журнала» вполне соответствовала господствовавшим среди с.-д. ссылки антивоенным настроениям. Но в нашем журнале антивоенные настроения не только получили теоретическое обоснование и связное выражение, но вместе с тем приобрели большую четкость, освободились от характеризовавших их в некоторых кругах неясностей и преувеличений. Так, напр., «Сибирский Журнал» с исчерпывающей ясностью отделил «интернационализм» от «пораженчества», этого национализма навыворот, который был так силен в России во время русско-японской войны и нередко примешивался к антивоенным настроениям и в 1914 г.

Заслуга выработки программы «Сибирского Журнала» принадлежала, главным образом, Церетели. Он был нашим политическим редактором.

А на мне лежала организация издания и литературное редактирование журнала.

Отмечу еще, что издание подготовлялось с исключительной тщательностью, — мы все относились к предстоявшему выступлению, как к большому, ответственному делу. И когда появился 1-ый № «Сибирского Журнала»[1]), нам не пришлось жалеть о затраченных на него усилиях.

Журнал имел огромный успех и обратил на себя внимание не только в России, но и в интернационалистически настроенных кругах социал-демократической эмиграции в Европе[2]).

Само собой разумеется, что № был тотчас же конфискован, против редактор-издательницы И. Ф. Тарадановой было начато преследование, и сама она была арестована.

Между тем, успех пробудил в нашем кружке стремление продолжать кампанию.

1 января 1915 г. мы выпустили № 1 нового журнала «Сибирское Обозрение». Состав сотрудников был тот же, что в «Сибирском Журнале». Но к нам прибавился Дан, находившийся в то время в Минусинске и приславший нам оттуда небольшую статью.

Темы «Сибирского Обозрения» тесно примыкали к темам «Сибирского Журнала» и представляли как бы дальнейшее их развитие. В этом втором сборнике мы выясняли, между прочим, наше отношение к лозунгу сепаратного мира и отгораживались от сторонников замены 2-го Интернационала об'единением социалистических меньшинств.

Впечатление, произведенное на обывательскую среду нашим вторичным выступлением, было менее ярко, чем впечатление от «Сибирского Журнала»: на этот раз не было сенсационности «нового слова».

[1]) Он вышел из печати 10 декабря 1914 г., в виде тетрадки об'ема «Нивы», — 16 стр. в 2 столбца.

[2]) Очень сочувственно отметил его Л. Мартов в «Нашем Слове».

«Сибирское Обозрение» постигла судьба «Сибирского Журнала», — № 1 был конфискован и редактор-издательница его Ромас получила год тюрьмы.

Немедленно мы принялись подготовлять третий сборник. Ф. Дан должен был дать для него статью по международной политике. Я писал о внутренней жизни воюющих государств, при чем доказывал, что война, при всех условиях, означает глубокую социальную и политическую реакцию. Церетели опять разбирал вопрос о социалистическом Интернационале. К участию в № привлекли еще Карахана, около этого времени очутившегося в Иркутске в качестве административного ссыльного и давшего нам пару библиографических заметок.

Сперва думали выпустить сборник не позже начала февраля. Но вскоре выяснилось, что это и невозможно, и нецелесообразно: мы не хотели, чтобы наш новый сборник был простым повторением «Сибирского Журнала» и «Сибирского Обозрения», хотели сказать в нем что-то новое, осветить новые факты, откликнуться на новые вопросы. Приходилось поэтому ждать, пока накопится необходимый матерьял, пока выдвигаемые жизнью вопросы приобретут более отчетливые очертания.

Время шло; статьи, написанные под горячую руку, в январе-феврале, становились устаревшими, их приходилось перерабатывать или писать заново.

В это время пришли известия об опытах военно-государственного «социализма» в Германии, появился в Петрограде «Современник» Суханова с антивоенными, интернационалистическими статьями, выдвинулся на передний план русской жизни вопрос о военно-промышленных комитетах. Вставали новые темы, рамки предположенного сборника раздвигались, приходилось думать уже не о тетрадке журнала, а о целой книге.

Особенно тщательной разработки требовал вопрос о «прогрессивном блоке», — необходимо было сочетать беспо-

щадную борьбу против шовинистической военной политики блока с поддержкой его действительно прогрессивных тенденций в области внутренней политики.

Между тем я искал редактора, вел переговоры с типографиями. Но дело плохо подвигалось вперед: типографии теперь боялись связываться с нами. Это препятствие оказалось непреодолимым. Одно время подумывали мы перенести издание в Читу, но и из этого ничего не вышло.

Третий сборник так и не увидел света[1]). Часть подготовленного для него матерьяла удалось все же использовать для выходившего в Самаре интернационалистского социал-демократического «Нашего Голоса». Помню, на столбцах этого органа появилась обширная статья Церетели и одна или две мои статьи.

После этого я сделал попытку перенести свою литературную работу, направленную против войны, на страницы петроградского «Современника», куда меня звал Н. Суханов. Послал туда большую (в 2 печатных листа) статью «Заколдованный круг», — но эта статья была задержана военной цензурой[2])..

Зимой я работал над серией «Писем о войне», которые помещал в основанном Рожковым «Забайкальском Обозрении» (в Чите).

---

[1]) Из опубликованных матерьялов видно, что жандармы вплоть до июля 1916 г. следили за нашими литературными планами (см. «Социалистическая печать во время войны», «Красный Архив», т. II, стр. 212).

[2]) Около этого времени я получил от В. Л. Бурцева — из Петрограда или Москвы — письмо с предложением, принять участие в задуманной им кампании, имевшей целью вызвать подавански-добровольческое движение среди политических ссыльных и каторжан в Сибири. Проявление «патриотизма» со стороны революционеров должно было, по мнению Бурцева, не только вдохнуть мужество в нашу армию, но и побудить правительство об'явить общую амнистию. Я ответил отказом. Но Бурцев не терял надежды привлечь меня к своей затее, и мне пришлось в довольно решительной форме об'яснить ему, насколько чуждо и враждебно мне его ура-патриотическое настроение.

Но эта была подцензурная работа и от нее оставалось чувство связанности, неудовлетворенности.

* * *

В начале 1915 года у нас оказалась в Иркутске легальная трибуна для устной интернационалистической пропаганды. Еще в 1913 г. в городе открылось рабочее просветительное общество «Знание», основанное, помнится, М. А. Цукасовой. Руководили обществом наши партийные рабочие и приказчики: Сечкин, Лебедев, Молозовский. Поставить как следует классные занятия и лекции им не удалось, и потому деятельность общества стала развиваться по линии наименьшего сопротивления, начались «вечеринки» с танцами.

Собиралось человек 100—150 рабочих, иногда и больше. В качестве гостей приходили и ссыльные. Вечеринка открывалась литературно-музыкальной программой. Затем, начинались политические речи, говорили о войне, о задачах рабочего движения, об Интернационале. Речи продолжались до полуночи, после чего политики очищали место танцующим парам.

Не всем нравилось такое соединение приятного с полезным. Но мы утешали себя тем, что танцы легализуют наши сходки в глазах полиции. А молодежь, приходившая в «Знание» для танцев, ничего не имела против интернационалистических речей, так как во время их забиралась в укромные уголки и ворковала там о своих делах, далеких от политики.

Я был одним из постоянных ораторов «Знания». Выступали здесь также молодой поэт В. Пруссак, П. Старостин и др.

Несколько раз пытались оппонировать нам местные оборонцы. Но сочувствие публики было не на их стороне.

Равным образом, не имели большого успеха и непримиримые большевики, считавшие позицию «Сибирского

Журнала» недостаточно революционной (Ф. Васильченко и др.).

В конце 1915 года «Знание» было закрыто полицией.

Еще раньше жандармы обратили внимание на меня лично.

* * *

В начале весны ночью явилась ко мне полиция с обыском. Судя по тому, что спрашивали, где держу я деньги и денежные документы, повидимому, этот обыск был связан с политическим «Красным Крестом».

Красно-крестовских материалов у меня не нашли, но забрали кучу всяких бумаг: оттиски моих статей из «Русского Богатства», «Вестника Европы» и др. журналов, мои изданные в Петрограде брошюры, перечеркнутые военной цензурой гранки памфлета «В дни мирового пожара», разные рукописи и, наконец, по одному экземпляру «Сибирского Слова» и «Сибирского Обозрения».

Почему то меня не арестовали сразу, а пригласили придти через два дня в жандармское за бумагами. А когда я пришел туда, мне показали всего-на-всего одну бумагу — о моем заключении под стражу — и отправили меня в губернскую тюрьму.

Здесь, в одиночке, я с месяц ждал допроса. Наконец, в тюрьму приехал ротмистр-хлыщ Константинов. У меня произошло с ним довольно резкое об'яснение. Жандарм грозился «упечь» меня по 129 ст. за издание в Петрограде брошюры «Безработица и локауты», причем упирал, главным образом, на ее заключительные строки:

«Безработица появилась вместе с капитализмом и вместе с капитализмом исчезнет. Только по исчезновении частной собственности не будет в мире ни безработных, ни голодных, ни нищих».

— Что это значит? восклицал ротмистр: Долой частную собственность!? Долой капитализм!? Долой существующий строй!? 129-ая статья!

Я же доказывал ему, что не дело иркутского жандармского управления разбираться в печатаемых в Петрограде книгах. Ротмистр прервал допрос, весь зеленый от злости.

Прошло еще с месяц, и меня освободили.

Вскоре после этого я встретил на улице моего александровского приятеля Ивана Кашина, заведовавшего в то время конторой бульварной газеты «Иркутская Жизнь», одним из ближайших сотрудников которой был некий Марк Волохов, стоявший весьма близко к иркутскому жандармскому управлению. Кашин сообщил мне:

— Ротмистр Константинов на днях пьянствовал с Волоховым и жаловался на тебя, говорил, что ты над ним в глаза издевался. Грозил расчитаться...

Но угрозы ротмистра мало меня трогали. Лето я провел, странствуя в Прибайкальи. Побывал в Аршане и в Ниловой Пустыне (у монгольской границы) и дорожными впечатлениями вознаградил себя за весну, проведенную в одиночке.

Часть этого времени я странствовал в обществе Ватина (Быстрянского). Он был настроен непримиримо большевистски и не одобрял моей дружбы с меньшевиками. Но политическое разномыслие не мешало нашему доброму согласию во время прогулок.

Наиболее примечательной особенностью Ватина было уменье к любому случаю жизни найти цитату из Маркса.

Помню, были мы с ним в Тункинских горах под Аршаном. Вышли к горному ручью. Ватин предложит выкупаться. Разделись. Я попробовал воду, — она оказалась холодной, как лед, и я отказался от купанья. А Ватин уже плескался в ручье, над водой торчало его посиневшее от холода лицо. Я сказал ему:

— Вылезайте скорее, — замерзнете.

Он ответил, стуча зубами:

— А зна-а-аете, что ска-а-а-азал Ма-а-аркс? Всту-у-упив на путь во-о-osстания, на-а-адо итти до-о-о ко-онца...

Вернувшись из странствований, я поселился в Усолье.

Пробыл здесь недели две. Вдруг меня вызывают в сельское полицейское управление, — бумага от исправника: «задержать ссыльно-поселенца Войтинского и доставить его в губернскую тюрьму».

О причине моего вторичного ареста я ничего не знал. Правда, в Петрограде против меня было возбуждено два литературных дела (за «Луч света средь мрака» в «Просвещении» и за «Арестантские могилы» в «Нашей Заре»), но если бы мой арест был связан с этими делами, я был бы записан за судебным следователем, а между тем из тюремной конторы мне выдали справку, что я числюсь за инспекцией.

Месяца через полтора после моего ареста, в тюрьму приехал помощник тюремного инспектора Степанов. Я обратился к нему с вопросом о положении моего дела.

Он ответил:

— Ваше дело уже рассмотрено. Два года тюрьмы.

— Это какое-то недоразумение. Не могли же меня судить и приговорить заочно!

— Почему же нет? Ведь вы юрист, знакомы с нашим архаическим законодательством... Ваше дело в порядке полицейской расправы пустили. Присутствие обвиняемого тут не требуется.

— Но, может быть, обвиняемому позволительно будет узнать, за что именно его осудили?

— Это тоже по закону не требуется, но я скажу вам: там какая-то брошюра была, я сам ее видел, синенькая такая... О безработице, что-ли... Больше заявлений не имеете?

Помощник инспектора удалился. Я с трудом сообразил, какую штуку сыграла со мной полиция.

Дело в том, что в русском законодательстве существовало положение об упрощенном и ускоренном («в порядке полицейской расправы») рассмотрении дел о проступках ссыльно-поселенцев, влекущих, по общим законам, нака-

зание не свыше одного года тюрьмы. Такие дела не передавались в суд, а после производства полицейского дознания, поступали на усмотрение исправника, от которого зависело подвергнуть виновного телесному наказанию (до 100 ударов розгами) или тюремному заключению сроком до 2-х лет. Приговор не подлежал обжалованию, немедленно вступал в силу и приводился в исполнение полицейской властью. Лишь в том случае, когда наказание превышало 1 год тюрьмы, требовалось утверждение приговора губернатором. В этом порядке разбирались, обыкновенно, дела о мелких кражах, совершенных уголовными ссыльными. Но ротмистру Константинову первому пришла в голову мысль «пустить» в том же порядке литературно-политическое дело.

Я мог себе представить, как все произошло.

Закончив дознание по моему делу, жандармы передали его прокурорскому надзору. Прокуратура, не найдя оснований для привлечения меня к судебной ответственности, сделала распоряжение о моем освобождении. Узнав об этом, ротмистр Константинов бросился к своим приятелям — исправнику и тюремному инспектору — и упросил их решить дело помимо суда. Таким то образом исправник и приговорил меня к 2 годам тюрьмы за изданную в Петрограде научно-популярную брошюру!

Я немедленно написал генерал-губернатору прошение, в котором остановился на разборе понятия «полицейской расправы» и на выяснении того, как могла попасть к исправнику моя брошюра, в которой ни Петроградская, ни Иркутская прокуратура не нашла состава преступления.

«Исправник, писал я, может, по закону, решить в качестве судебной инстанции дело о краже хомута ссыльно-поселенцем; но ему не принадлежит право надзора за деятельностью судебной палаты, и он не является апелляционной инстанцией, к которой могло бы обращаться жандармское управление с жалобой на заключения прокурорского надзора».

В заключение я просил Князева вытребовать к себе дело.

В канцелярии генерал-губернатора мое прошение попало в руки одного старого советника (Батаревича), состоявшего постоянным подписчиком «Русского Богатства» и знакомого с моими статьями в этом журнале. Старик поспешил представить Князеву доклад, и в тот же день в тюрьму пришло приказание о немедленном моем освобождении.

* *

Зимой 1915—16 г. г. докатилась до Иркутска волна беженцев. И с нею влилось в местную общественную жизнь то новое, что давно уже всколыхнуло жизнь России по ту сторону Урала.

Создалась сеть попечительств, заботившихся о беженцах. Оживилась деятельность местного отдела Союза Городов.

В этих организациях принимали участие и ссыльные. Социал-демократы вели работу в духе интернационализма, подчеркивая, что помощь жертвам войны ничего общего не имеет с поддержкой военной политики царизма. Среди социалистов-революционеров обнаружились два течения: Гоц стоял во главе интернационалистского, «циммервальдского» направления; обывательские элементы партии били в барабаны оборончества.

Гоцу удалось, между прочим, забрать в свои руки газету «Сибирь», и он открыл на столбцах ее кампанию против шовинистического угара, стремясь привить читателям здравый взгляд на войну, как на великое безумие и великое бедствие. Выделялись в газете военные обзоры за таинственной подписью «Г. Ш.» («Генеральный Штаб»?). Автором их был Е. Тимофеев, с начала войны погрузившийся в военные науки и успевший приобрести солидные и разносторонние познания в этой области.

В связи с войной, оживилась в Сибири деятельность кооперативов. Благодаря влиянию ссыльных, и здесь господствовали радикальные настроения с уклоном в сторону интернационализма.

Вообще, несмотря на усилия кадетов и части народнической интеллигенции, в Иркутске не было военного воодушевления. Скорее можно было отметить в обывательской среде пораженческие настроения. Известия об отступлении русской армии встречались почти со злорадством.

Среди иркутских рабочих антивоенные настроения проявлялись особенно резко. Были слухи о таких же настроениях в казармах и о солдатских беспорядках, закончившихся, будто бы, расстрелами.

На второй год войны в иркутском музее была устроена выставка военной литературы, лубочных картинок, боевых трофеев. Устраивал выставку местный общественный деятель, образованный и толковый экономист Серебренников. Он просил меня помочь ему перевести на русский язык французские и английские подписи в выставляемых иллюстрированных журналах. Я предложил пополнить выставку диаграммами. Серебренников выставил кучу диаграмм, доказывавших перевес союзников над Германией. А я изготовил антивоенные диаграммы, выяснявшие разорительность и бесплодность войны. Во время выставки у моих картонов все время толпились солдаты. Несколько раз я подходил к ним, об'яснял значение раскрашенных столбиков, кругов, ломанных линий. Солдаты слушали с пристальным вниманием. Благодарили меня за об'яснения, жаловались:

— А нашего-то брата кругом дурачат...

* *
*

В 1916 году я женился и провел лето с женой далеко от Иркутска. С месяц жили в Аршане, затем предприняли продолжительную поездку на лодке по Ангаре.

И в этой глуши давала себя чувствовать война.

Деревня обезлюдела, не хватало рабочих рук, заимки были покинуты, поля лежали не обработанными. Крестьянки расспрашивали о войне: с чего она началась? скоро-ль будут мириться?

Ненавидели, проклинали войну. И меньше всего думали о том, кто кого побьет.

На ангарских порогах, в Братском Остроге, мы застали довольно многочисленную колонию ссыльных. Были среди них и бывшие каторжане — александровцы.

Устроили общее собрание, просили меня прочесть доклад.

Настроение колонии было бодрое: все ждали близких перемен. Никто не мог отчетливо определить, чего он ждет, на что надеется. Но чего то все ждали, к чему то все готовились.

И в этом настроении кучки безымянных, незаметных ссыльных, в далеком, потерявшемся среди бесконечной тайги селе, чувствовалась несокрушимая сила духа революции.

Помню, об этом думал я, стоя перед покосившейся, почерневшей от времени бревенчатой башней, давшей имя Братскому Острогу: в этой башне томился некогда непреклонный протопоп Аввакум . . .

* * *

На фронте осенью 1916 г. было затишье. Странное затишье ожидания наступило и в иркутской общественной жизни.

Попытки партийной работы замерли.

Полтора десятка товарищей, пытавшихся поставить большевистскую организацию и издавать подпольную газету, были выданы провокатором и арестованы. Большая часть наших рабочих и приказчиков была призвана на военную службу и отправлена на фронт. В числе других ушли на фронт приказчик Комаров, с которым мне предстояло полтора года спустя встретиться при весьма трагических обстоятельствах в Пскове, и наборщик Сечкин.

В Петрограде разыгрывалась протопоповщина, приближался к кровавой развязке распутинский фарс. Иркутск жил слухами. Из рук в руки ходили нелегальные листки: речь Милюкова, письмо Гучкова, протокол встречи представителей Государственной Думы с Протопоповым, еще какие то речи, письма, протоколы.

Все чаще назывались имена Милюкова, Гучкова и Керенского, как вождей образовавшейся в Петрограде патриотической оппозиции.

Но была целая пропасть между настроениями оппозиционных кругов Петрограда и теми настроениеми, которые господствовали в радикальных кругах Иркутска, в частности, среди ссыльных.

Там, в Петрограде, все велось под лозунгом войны; против правительства и придворной камарильи выдвигалось обвинение в неумении и нежелании довести войну до победного конца. А мы главное преступление правительства видели в том, что оно втянуло Россию в войну, для нас основным требованием было заключение мира.

Патриотический пафос прогрессивного блока, включивщего в свои ряды душителей свободы, черносотенцев-погромщиков, не заражал нас. К «единому фронту», который выдавался газетами за высшее достижение освободительного движения в России, мы не принадлежали . .

В январе я неожиданно встретил на Большой улице Сечкина. Он был в полной солдатской форме, в папахе. Увидя меня, он обрадовался, бросился целоваться.

— Я думал, что вы на фронте, сказал я ему.

— Как же, как же, все время в окопе просидел. Только вчера приехал, а через неделю обратно.

— И что же там, в армии?

— Скоро мир, а может быть, и революция.

Он говорил громко, не стесняясь прохожих. Я остановил его:

— Могут услышать . . .

— А мне что? Наплевать! Вы бы послушали, что у нас, в окопах, говорят. Иной офицер все до слова слышит, а нам все равно. Пускай попробует донести! Первая пуля ему!

Сечкин был настолько возбужден, что у меня шевельнулась мысль, не пьян ли он.

Свернул с ним в боковую тихую улицу, стал расспрашивать его подробнее о настроениях на фронте. Не мог узнать сдержанного, осторожного рабочего-меньшевика, так все кипело теперь в нем.

Он говорил об измене командного состава, о царе, о царицах, об ужасах артиллерийского огня, об убитых и изувеченных и все повторял:

— Скоро конец! Солдаты у нас прямо говорят, — если к весне мира не будет, на Петроград пойдем . . .

Вечером я рассказал товарищам о своей встрече с Сечкиным, передал его слова о фронтовых настроениях. Товарищи слушали недоверчиво, — казалось неправдоподобным, чтобы подобные настроения были широко распространены в армии.

Может быть, случайно попался такой полк, такой участок фронта? . .

Но если существуют *такие* участки, *такие* полки, то не означает ли это, что близок 12-ый час революции?

Уже давно живя в смутном, тревожном ожидании чего то, в близость революции мы все же не верили, как не верил в близость ее никто в России.

Незаметно поднялся прибой, незаметно сгустились в небе грозные тучи. Уже грохотали вдали раскаты грома, уже пенились волны в потрясенном войной народном море, а буря, неизбежная, долго жданная буря все еще казалась далекой . . .

Берлин
Ноябрь 1922 г. — март 1923 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Замеченные опечатки:

Стр. 61, после 9 строки выпала строка: вызывая нароставшее с каждым днем раздражение против

Стр. 121, 8 строка сверху напечатано привлекли, следует читать привлекла.

Стр. 143, 5 строка снизу напечатано Октяббристы, следует читать Октябристы.

Стр. 211, 23 строка сверху напечатано знал, следует читать узнал.